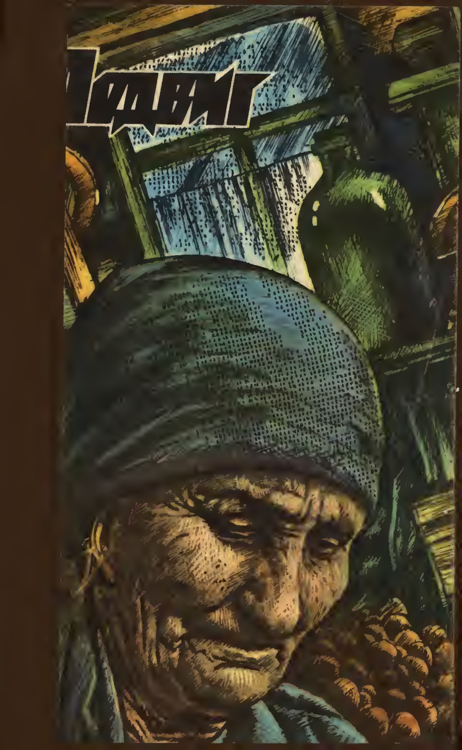

библиотека

ГЕРОИКИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

приложение к журналу
"сельская молодежь"

3

Ч. АЙТМАТОВ . В

А. ИВАНОВ

К
Е
С
П

издательство цк влксм "молодая

В. КОЖЕВНИКОВ

К. СИМОНОВ В. ЛИПАТОВ

Е. НОСОВ А. БЫСТРОВ

С. ДИКОВСКИЙ

П. НИЛИН В. ЦЫБИН

я гвардия" москва 1976

Ч. АЙТМАТОВ

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

повесть

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе, — просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать

полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...

Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад, через равнину.

А над аилом, на бугре, стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить, — то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника, — но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугор к тополям. А потом стоять под деревьями и долго до упоения слушать шум листвы»

В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные — у них свой особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по веткам, словно незримый огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.

Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются

на малейшее дыхание воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.

Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка...

В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, вроде бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стан встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше — а ну, кто смелее и ловчее! — и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.

Нас поражало величие земли. Затаив дыхание мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали насколько хватал глаз и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.

Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил здесь эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?

Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» — ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи,

может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя, — воробьев разгонять!»

Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называют «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен? Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то здоровенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была, название одно. Ох и интересные же времена были! Тогда кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя — тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось...»

Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом * и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень **. И конь его был похож чем-то на хозяина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет. И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове. Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так...

Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил ехать, не мог же я в такой радостный день для нашего аила усидеть дома. Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных жда-

* Мираб — лицо, ведающее оросительной системой.

** Кетмень — сельскохозяйственное орудие типа мотыги.

ли, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.

— Надо бы, конечно, съездить, — невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна. — Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже было начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.

Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна была на торжественных собраниях, и встречали ее, наверно, всегда и с радостью, и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошеные слезы.

После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности — очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное ков-

рами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? — спросил директор.

— Да, — ответил парень. — Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшена. Алтанай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?

Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:

— Уехал.

— Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит, — недовольно проговорил кто-то.

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.

— Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя, на Украине это было, и остался там жить, всего лет пять как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет...

— А все-таки зайти бы ему сейчас... Ну да ладно. — И хозяин махнул рукой.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена. — Один из почтеннейших людей аила поднял бокал. — А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита. — Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.

— А ведь и правда было так, — отозвалось несколько голосов.

Кругом засмеялись.

— Что уж там говорить? Чего только не затевал тогда Дюйшен. А мы-то ведь всерьез считали его учителем.

Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:

— Ну а теперь люди выросли на наших глазах. Академик

Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в аиле новую среднюю школу, одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени!

Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговором, не замечали ее состояния.

Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор — туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате — у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.

Я подошел к Алтынай Сулаймановне.

— Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета, — сказал я ей.

— И я об этом же думаю, — вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: — Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.

По ее увядающему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски, горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях, и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, недокричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг! Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на

неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным, — просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.

На станции я все-таки спросил ее:

— Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо... Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте...»

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

Это было в 1924 году. Да, именно в тот год...

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.

Еще осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в

казённой шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.

Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и, быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам», — но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.

— Слушай, сынок, — начал он заикающейся скороговоркой, — раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллой?

— Я не мулла, аксакал, я комсомолец, — быстро отозвался Дюйшен. — А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.

— Ну, это дело...

— Молодец! — раздались одобрительные возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу, с вашей помощью, конечно, вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?

Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговорам, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывая сквозь зубы.

— Ты постой, парень, — проговорил Сатымкул, прищуривая

глаз, словно бы прицеливаясь. — Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?

— Как зачем? — растерялся Дюйшен.

— А верно ведь! — подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!

Голоса притихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? — спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окружавших его людей.

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!

Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой:

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и словно выстрел отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.

— Мы бедняки, — уже тихо проговорил Дюйшен. — Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей...

Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что... Мы не против закона.

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе...

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! — оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.

Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно прицеливаясь:

— Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять... Только у нас их нет. А у кого табуны есть — те в горах.

Дюйшен хотел что-то ответить резкое, но сдержал себя и негромко сказал:

— Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.

— А-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле: — Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот...

С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись другие. А Дюйшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься...

Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, беги домой! — И я кинулась догонять ребят. — Ишь ты, и они уже повадились на сходки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это никак учитель Дюйшен несет вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга. Учительское дело тоже, видно, не из легких.

— А ты как думал. Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак.

— А послушаешь его речи, так куда там!

— Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода Советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, и все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.

Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпанный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам:

— Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зиму заготовить, да ничего — курая много вокруг. А на пол постелем побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?

Я была старше своих подруг и поэтому решилась ответить.

— Если тетка отпустит, буду ходить, — сказала я.

— Ну почему же не отпустит, — отпустит, конечно. А как тебя звать?

— Алтынай, — ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле.

— Алтынай — хорошее имя. — Он улыбнулся как-то так хорошо, что на сердце потеплело. — Ты чья будешь?

Я помолчала: не любила, когда меня жалели.

— Сирота она, у дяди живет, — подсказали подруги.

— Так вот, Алтынай, — снова улыбнулся мне Дюйшен, — ты и других ребят веди в школу. Ладно? И вы, девочки, приходите.

— Ладно, дяденька.

— Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.

— Нет, мы пойдем, нам надо домой, — застеснялись мы.

— Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.

Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.

— Стойте, девочки! — крикнула я своим подругам. — Давайте высыпем кизяки в школе, все больше топлива на зиму будет.

— А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!

— Да мы вернемся и насобираем еще.

— Нет уж, поздно будет, дома заругают.

И, уже не ожидая меня, девочки заторопились домой.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.

Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.

Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийнякот. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно

ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!..»

Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.

Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны.

И прибежала домой, запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала? — подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону. — И это все, что ты собрала за весь день?

Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.

— Ах ты, черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе! — Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове. — Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу...

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткиных побоев, нет — к ним мне было не привыкать, —

я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу...

Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки мне хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам бог! А бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! — шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.

Она что-то промычала в ответ, а дядя, тот даже головы из ямы не поднял.

Это не смутило Дюйшена. Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу:

— Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся съежилась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И, как в тот раз, у меня потеплело на сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздраженно отозвалась тетка. — Ей не до учебы. Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюйшен вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве! Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна. Советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тетка: — Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.

— Эй, баба, — гаркнул он, выбираясь из ямы. — С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку, хочешь учи, хочешь изжарь ее. А ну, убирайся со двора!

— Ах так, она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я? — заголосила было тетка.

Но муж цыкнул на нее:

— Сказано — все!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.

Когда мы первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную на полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать, — объяснил Дюйшен.

Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.

— Это Ленин! — сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеновским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне каза-

лось в ту тихую минуту, что он в самом деле думал о моем будущем.

Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой, плакатной бумаге, — он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры, — говорил Дюйшен. — Буду учить вас всему, что знаю сам...

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю и сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело. Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, не слыханный и не виданный прежде мир.

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Алма-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря, большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что, когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы».

А через год Дюйшеи обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшеиа, мы мысленио сражались аместе с ним на фроитах с белыми. А о Леиине он рассказывал так взволиоаиио, слоаио видел его саоими глазами. Многое из того, что говорил, как я теперь понимаю, было сложенными а ииароде сказаииями о аеликом вожде, ио для пас, Дюйшеиовых учеников, все это представлялось такой же нстниной, как то, что молоко белое.

Однажды без асякой задней мыслн мы спросилн:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровалнсь?

И тогда иаш учнтель сокрушенно покачал голоаой:

— Нет, дети, я никогда ие видел Ленина.

Ои вииовато аздохнул — ему было иеловко перед нами.

В конце каждого месяца Дюйшеи отпраалялся по своим делам а аолость. Ои ходил туда пешком и возвращался через двa-три дня.

Мы по-настоящему тосковалн а эти дни. Будь у меня родиой брат, я н его, пожалуй, ие ждала бы с таким иетерпеннем, как ждала аозвращения Дюйшеиа. Тайком, чтобы ие заметила тетка, я то и дело аыбегала на задаоркн н подолгу глядела в степь иа дорогу: когда же покажется учнтель с котомкой за спниой, когда же я увижу его улыбку, согреааюющую сердце, когда же услышу его слоаа, приносящие виания.

Среди учеиикоа Дюйшеиа я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя мне кажется, ие только поэтому. Каждое слово учнтеля, каждая буква, показаниая им, — асе для меня было свято. И ие было для меня ничего аажиее иа саете, чем постигнуть то, чему учнл Дюйшеи. Я берегла тетрадь, которую ои дал мне, и потому выаодила буквы острием серпа иа земле, пнсала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожиой пыли. И не было для меня иа свете инкого ученее и умиее Дюйшена.

Дело шло к зиме.

До первых сиегов мы ходили в школу аброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало иевмоготу — ледяная вода обжигала иоги. Особеино страдали малыши, у них даже слезы наaертывались на глаза. И тогда Дюйшеи стал на руках переиоснть их через речку. Ои сажал одного на спниу, другого брал на руки н так по очереди переправлял всех учеииков.

Сейчас, когда я вспомииаю об этом, мне просто ие аерится, что именно так асе н было. Но тогда то лн по иевежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Осо-

беино богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа:

— Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!

И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!

И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.

Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!»

Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горячие слезы обиды. А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.

Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мостик через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи, а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?

В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег и вода была такая студеная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом ступала по дну, каза-

лось, усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, не разогнуться и начала медленно валиться в воду. Дюйшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием.

— Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся, — приговаривал Дюйшен. — Я и сам справлюсь...

Когда наконец переход был готов, Дюйшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озябшую, и улыбнулся:

— Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так! — И, помолчав, спросил: — Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?

— Да, — ответила я.

Он улыбнулся чуть заметно, уголками губ, как бы говоря про себя: «Я так и думал!»

Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки: значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, я была на седьмом небе, и Дюйшен понял мою радость.

— Ручеек ты мой светлый, — сказал он, ласково гладя меня. — И способности у тебя хорошие... Эх, если бы я мог послать тебя в большой город. Каким бы ты человеком стала!

Дюйшен порывисто шагнул к берегу.

И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.

О чем он думал тогда? Может быть, и правда в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюйшена: «Если бы учитель был моим родным братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею и крепко обнять его и, крепко зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»

Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра,

увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена.

В один из таких студеных дней — это было, как теперь помню, в конце января — Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного, прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли; почувствовали что-то неладное.

Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, а за мной все остальные. И в этот раз у подножия бугра, где за ночь намело много снега, Дюйшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого: мы взбирались гуськом на бугор — под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше по крутизне над ним горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше — в белом мутном небе темнела однокая черная туча.

Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.

Мы поднялись.

— Снимите шапки.

Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:

— Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.

В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому.

В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур, — в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание, торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в не ведомом никому промерзшем сарае, именуемом шко-

лой, н прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче, с рукой на повязке все так же смотрел на нас со стены. И все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.

Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:

— Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня...

Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз... Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю...

Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому же залютовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным, истошным воем.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели. А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову, чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрей. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель, на дороге?» Но не видно было ни души.

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.

Тетке надоели мои хождения.

— Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще! — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся ли учитель или нет. И от этого не находила себе места. То утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в аиле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне,

что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимается буран, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку.

— Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? — все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло: — Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старуха Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:

— Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой...

Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно, я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ниточка моя. Фу-ты, негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет, — отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки. — Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час: а к полуночи Картанбай устал:

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня.

Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка моя? Ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой разнесся над землей и застыл где-то в воздухе. Волк! И не один — их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила.

— Буран накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели:

— Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси, бог, Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий. — Картанбай всполошился, ища в темноте шубу. — Свет, свет давай, старуха! Да быстрей ты, ради бога!

Дрожв от страха, мы вскочили, и пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.

— Настигли, окаянные! — вскрикнул Картанбай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, и громко, нетерпеливо застучал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.

— Ружье! — выдохнул Дюйшен.

Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:

— Черную овцу — в жертву, белую овцу — в жертву! Да хранит тебя святой Бвубедин. Ты ли это?

— Ружье, дайте ружье! — повторил Дюйшен.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старики повисли на плечвх Дюйшена.

— Дайте палку!

Но старики взмолились:

— Никуда не пойдешь, никудв, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!

Я почувствовалв вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.

— Не успел, настигли у самого дома. — Дюйшен шумно перевел дыхание и швыриул в угол камчу. — Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали, оиа доскакала до аила и рухнула, квк сноп. Там оии и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главиое, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так коичилось. Теперь рвздевайся, садись к огию. Давай сапоги стяну, — суетился Картанбай. — А ты, старуха, подогрей что там у тебя есть.

Они сели к огню, и тогда Картанбай облегчеиио вздохнул:

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?

— Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.

— Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гиал прикладом в дорогу.

— Я обещал детям вернуться сегодня, — ответил Дюйшен. — Завтра с утра нвчием звниматься.

— Эх, дурень! — даже привскочил Картвнбай и от негодования замотал головой. — Ты послушай только, старуха: ои, видишь ли, обещанье двл детям, этим соплякам! А если бы в живых не оствлся? Дв соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?

— Это мой долг, моя рвботв, Караке. Вы о другом сквжите: обычно пешком ходил, в тут, черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волквм на съедение...

— Да не об этом речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! — осерчал Картанбай. — Век был безлошадиым и теперь не пропаду. А будет стоять Советская власть, наживу еще...

— Дело говоришь, старик, — отозвалась набрякшим от слез

голосом Сайкал. — Наживем еще... На-ка, сынок, хлебай, пока горячее...

Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:

— Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышлеными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет...

— Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела Советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потом школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил...

— Да, к слову... — перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: — Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы мы с тобой его ни оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови — от отцов к сыновьям.

— Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем...

Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни буранной ночи на дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:

— Кто это всхлипывает за печкой?

— Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет, — сказала Сайкал.

— Алтынай? Откуда она? — Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо: — Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?

А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами.

— Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая... А ну, глянь на меня...

Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость, как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.

— Да никак сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы: — А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей...

И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..

С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялнсь, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня:

— Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты... Нашла себе забаву в школу ходить... Но погоди, я тебя приберу к рукам...

По правде говоря, я не очень-то принимала близко к сердцу теткины угрозы: не в новость же — всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.

— Ты еще лохматая девчонка, — смеялся Дюйшен. — Да к тому же, кажется, рыжая!

Его слова меня нисколечко не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая я буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят как звездочки и лицо открытое.

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали по пути с базара или на мельницу.

Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки: «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обеднеешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ послышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кошме скатерти сидел, как пень, краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.

Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей!

Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.

— Доченька, — сказала она, — там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. А на душе стало неспокойно. Я невольно насторожилась.

Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой», — решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.

Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы всей гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня:

— Постой, Алтынай. — Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо: — Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собралась сделать со мною тетка.

— Я сам за тебя отвечу, — сказал Дюйшен. — А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он. — Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать тебе. — Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся. — Помнишь, в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез. Смотрю, приводит — кого бы ты думала? — знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, — говорит, — пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе как одной овцой не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже

не можем: волкам отдали...» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся: «Ты, — говорит, — подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной что захотят; и никто в аиле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.

Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело, — сообщил он, загадочно улыбаясь. — Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная...

Деревца были ростом с меня, молоденькие сизоствольные топольки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались...

— Погляди, как хорошо! — засмеялся Дюйшен, отступая назад. — А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди...

И я сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и доброты в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне

мнра. И я внутренне рваиулась к Дюйшеиу, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились такнм... Я хочу обиять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произиестн этн слова. А может быть, надо было...

Но тогда мы стояли иа бугре под ясным небом, среди зеленеющих весеиних предгорий, каждый мечтал о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тетка ие ищет меия. Может, она позабыла обо мне, может, решила оставить в покое? Но Дюйшен, оказывается, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход, — сказал ои, когда мы возвращались в аил. — Послезавтра я поеду в волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет, — ответила я.

Хотя я и не представляла себе, какой он такой город, но для меия оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизии. То я страшилась неизвестиости, ждущей меия в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

И на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя иа уроке, н от иеожидаииости вздрогнула, когда за стеиами иашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапио, и кони мчались так стремительио, словио вот-вот растопчут иашу школу. Мы все насторожнлись, замерли.

— Не отвлекайтесь, заиимайтесь своим делом, — быстро сказал Дюйшеи.

Но тут дверь с шумом распахнулась, н иа пороге мы увидели мою тетку. Она стояла со злорадиой, вызывающей улыбкой на лице. Дюйшеи подошел к дверям:

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй ты, бездомиая! — Тетка рваиулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу.

— Здесь только школьиицы, и замуж выдавать еще иекого! — твердо н спокойио сказал Дюйшеи.

— Это мы еще посмотрим. Эй, мужикн, хватайте ее, волочите сучку!

Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешились с коней еще двое с увесистыми кольями в руках.

Учитель не двинулся с места.

— Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами? А ну, прочь!

И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена.

— Вы не имеете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки.

— Я же говорила! — взвизгнула тетка. — Он сам давно уже с ней снюхался. Приманил сучку задарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел краснорожий, замахиваясь камчой.

Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня, не бейте учителя!

Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в аил! Убегай, Алтынай! — и захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюйшен попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Сади по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена.

— Учитель!

Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле.

— Учитель!

Но мне зажали рот и перебросили поперек седла.

Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и

грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седло, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове:

— Дождалась, дождалась! Вот как, вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец...

Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюйшен. Избитый до полусмерти, окровавленный, он бежал с булыжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте! Отпустите ее, отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюйшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, и только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река да слышались голоса ночных пастухов, сторожнивших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону... О, если б я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними ее, — приказал краснорожий.

Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой, корявой рукой.

— Усмири свою напарницу, втолкуй ей. А нет — все равно разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще с щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их взгляде поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам — она была свободна...

Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!.. В эту ночь, пятнадцати лет от роду, я стала женщиной... Я была моложе детей этого насильника...

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания так же, как мой учитель Дюйшен.

Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тода я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако, сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была также притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопения, беспробудного храпа, только бы не оставаться здесь, умереть — так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токол — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто, в какие гиблые времена выдумал его! Что может быть унизительнее положения подневольной второй жены, рабыни телом и душой? Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Исступленно, остервенело скребла я землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руку, уже рассвело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчался табун на водопой, фыркая, прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина.

Значит, аил готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу, на но-

вое стойбище, а затем на все лето в глубину гор, за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе — бежать оттуда во сто крат труднее.

Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем?.. Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, и ничего не сказала, молча продолжала делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось, вроде бы ничего в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его помочь ей собираться в дорогу. Он храпел, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы былн свернуты, юрта осталась раздетой, н я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают волов н лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и как что-то спросили у них, направнлись в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, а потом присмотрелась и оторопела. Это был Дюйшен, а двое других — в милицейских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни жива ни мертва и не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня — жив мой учитель! — и в то же время пустота зияла в душе: я погибшая, опороченная...

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяла с краснорожего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протер глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от направленных на него милицейских наганов. Дюйшен схватил его за ворот, тряхнул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сволочь! — прошептал он белыми губами. — Теперь угодишь куда следует! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающимся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубнл ее?.. Врешь, прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на этом конец!..

Красноролему дали надеть сапоги, связали ему руки н взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом.

Когда мы двииулись, сзади раздался дикий, нечеловеческнй вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисью шапку.

— За кровь мою выпитую, душегуб! — орала она истошиым голосом. — За черные дии мои, душегуб! Не отпущу тебя живым!

Наверно, сорок лет не подинмала она головы. А теперь прорвалось все, что накопилось, все, что накнпело у нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в труслнво согнувшегося мужа навозом, камнямн, комьями глнны, всем, что попадалось ей под руку, н выкрикивала проклятья:

— Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя! Пусть кости твои останутся в поле, чтобы ворон выклевал твои глаза. Не приведн господь увидеть тебя еще раз! Сгинь с моих глаз, сгинь, чудовище, сгинь, сгинь, сгинь! — прокрнчала она, потом умолкла, потом с воплем кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих развевающихся по ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились иа коиях догоиять ее.

Как после кошмариого сна, гудело у меня в голове. Прншибленная, угнетенная, ехала я иа коне. Дюйшен шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милнцнонеры уехалн далеко вперед. Дюйшен приостаиовил лошадь н первый раз посмотрел на меня измученными глазамн.

— Алтынай, я ие сумел уберечь тебя, прости меня, — сказал он. А потом взял мою руку и поднес к своей щеке. — Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедем, — сказал он наконец. — Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волостн. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся. — Он достал из кармана кусочек мыла. — На, Алтынай, не жалей. А хочешь, я отойду в сторону, попасу лошадь, а ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, н ннкогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула себе на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый брызжущий поток.

— Унеси, вода, с собой всю грязь и погань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода! — шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им, памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету... Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...

А через два дня Дюйшен повез меня на станцию.

Оставаться в аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Караке. Они суетились, плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, детка, — сказал он, — светлого пути тебе. Не робей, живи по наказу учителя Дюйшена — и не пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-что понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед...

Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах. Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала, такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюйшен

пристально смотрел мне в глаза, руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя, — сказал он. — Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет... Может, ты станешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеешься... Пусть будет так, пусть будет так...

Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь, — дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку. — Будь счастлива, Алтынай. И главное — учись, учись...

Я ничего не могла ответить: слезы душили меня.

— Не плачь, Алтынай. — Дюйшен вытер мне глаза. И вдруг вспомнил: — А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом.

— Ну, давай попрощаемся! — Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб. — Будь здорова. счастливого пути, прощай, родная... Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на повязке и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-а-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души...

Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни...

Прощай, учитель, прощай, моя первая школа, прощай, детство, прощай, моя первая, никому не высказанная любовь...

Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о которых расска-

ывал он. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт!

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы, сколько раз я была в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжелые минуты я мысленно держала ответ перед моим первым учителем и не смела отступать. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом. Потому что мне пришлось начинать все с азов.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав... А может быть, были какие-нибудь иные причины? Сколько я перестрадала и передумала в ту пору.

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло: я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш аил.

О родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне наведаться к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображенную землю — выросли новые аилы, распахано много полей, построены новые дороги и мосты, — но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла «учителем», просто по имени.

— Дюйшен! — прошептала я. — Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал! Не забыл, значит, думал... Как это похоже на тебя!..

Увидев слезы на моем лице, паренек-возница встревожился:

— Что с вами?

— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой вот бричке в военкомат отвозил.

У въезда в аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще: я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям на бугор.

Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизоствольми деревцами! Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляют в ваших стволах?

Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна...

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. Арык у подножия деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле еще сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся, светлая вода в полном арыке чуть рябилась, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашеная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки, солдатки выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что все еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что сталось с Дюйшеном. Мои земляки, приезжая в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб, — предполагали они, — время-то идет, а о нем ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернется уж мой учитель, — думала я временами. — Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В сорок шестом году поздней осенью я ехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтовик, инвалид на костылях — смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход, проплыл за окном одинокий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте! — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с пломбы.

Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины. Кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшену. Сзади раздавались свистки кондукторов. Из вагонов выпрыгивали пассажиры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен бежал уже навстречу.

— Дюйшен, учитель! — крикнула я, бросаясь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы? — участливо спросил он по-казахски. — Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазин, меня зовут Бейнеу.

— Бейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда, Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина:

— Несчастная, мужа иль брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому, — пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну... — ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал:

— Идемте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идемте, гражданка, мы все понимаем, — сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то шел, опиажив голову, и, кажется плакал. И я плакала. И в этом мирном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных проводах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить. Побывала во многих странах... А вот в аиле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками, — это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть, я както отдалилась от него.

Бывают такие родники в горах: проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутненная, прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы... И подумает тот человек, что грех не знать такие места, надо и товарищам рассказать об этом. Подумает и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверно, и есть жизнь...

Я вспомнила о таких родниках недавно, после того как побывала в аиле.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркуреу. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала вам, там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно, я стыдилась самое себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям.

Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников.

Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала.

И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин? И слава богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину.

Молодежь не знает, каким учителем был Дюйшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюйшена погибло на войне, они были настоящими советскими воинами. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Каждый на моем месте должен был бы это сделать. Но я не бывала в аиле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его образ превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши.

Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения.

По возвращении из Москвы я хочу поехать в Куркуреу и предложить там людям назвать новую школу-интернат «школой Дюйшена». Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом.

В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречусь с учителем и поцелую его в седую бороду...

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мной картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного... Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего аила, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести ее до вас, мои современники, как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ни-

чего не получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрадных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко и сидит на ветке тополя, смотрит зачарованными глазами в неведомую даль.

Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых диких конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях...

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз? Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается. И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.

А. ИВАНОВ

ЖИЗНЬ НА ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ

повесть

1

Едва холодное солнце покатилось вниз, на зареченских лугах и дальше, на убранных пашнях, начали ходить туманы, поднимаясь над заболоченными местами, низинками. К вечеру гнезда их густели, наливаясь холодом, разбухали все больше. И наконец, беззвучно сомкнулись друг с другом. Мутная пелена над заречьем все тяжелела, ползла к реке, закрыла сперва противоположный берег, затем половину широкой, тихой, обессилевшей за знойное лето Оби, неотвратимо подступала все ближе к деревне, грозя раздавить своей невесомой тяжестью.

— Врешь, брат Татьян, — тихо вздохнул Павел Демидов. Он по обыкновению сидел у стены своей мазанки и глядел через реку на быстро тускнеющие зареченские дали.

— Об чем ты это, пап? — спросил у Демидова восьмилетний приемный сын Гринька, заходя во двор. Посиневшими руками он держал облезлый школьный портфель. — Кто врет?

— Туман-то! — кивнул Демидов в сторону Оби. — Ишь, шельма.

Гринька шмыгнул носом, потер под ним пальцем, подумал.

— А как он врет?

— Ну, грозит. Не чуешь?

Они еще помолчали. Гринька — маленький, в огромной отцовской фуражке, в новой суконной тужурке, купленной только нынче перед школой в сельмаге. Демидов — сухой, тощий, угловатый какой-то, нескладный: остро торчали выстав-

лепные далеко вперед его колени, из-под толстой телогрейки сстро выдавались плечи. Лет ему было уже за шестьдесят, он получал пенсию, но стариком назвать его было нельзя. Лицо он, хоть и редко, брил, вот и сегодня побрился, и крепкие, совсем не дряблые щеки поблескивали в неярком свете угасающего дня.

— Чую, — сказал Гринька. — Чем густее туман к вечеру, тем утренник крепче будет. Ты всегда так говоришь.

— Это так. А еще что чуешь?

— Боле ничего.

— А ты замри. Замри и слушай. Ну, чего слышишь?

Гринька, старательно наморщив лоб, постоял без движения.

— Ничего. Пес какой-то лает.

— Балда. Сучка это лает. Бригадира Митрофана. Еще?

— Вроде на задах грузовик проехал. Девчонки где-то, кажись, пищат.

— Колхозного конюха Артамона дочка это повизгивает, Клавка-то.

— Их там много хохочет, девок-то, — уточнил Гринька.

— И Клавка там. Там она. А сейчас гармонья Леньки-тракториста запиликает. Дурак он, Ленька. Гармонь у него дорогая, вся блестит, как в изморози, а играть не умеет. Так, будто лесину сырую пилит... Так-то он парень ничего, и чуб ладный.

Вскоре действительно донеслись тусклые, почти совсем задавленные расстоянием, нескладные звуки гармошки.

— Ну вот. А он грозит, — опять кивнул за реку, в сторону надвигающегося тумана, Демидов.

— А что ему грозить? — все так же непонимающе спросил Гринька. — И кому? И как это он может грозить?

— Балбес! — глаза Демидова сердито блеснули. — Ступай домой. Там картошки для тебя сварены. На подоконнике в крынке молоко... А я посижу тута еще.

— Пап, ты только в магазин к Марьке Макшеевой не ходи, — попросил Гринька, как просила всегда Надежда, неродная Гринькина сестра, вот уже два года работающая в Маршанихе на лесозащитной станции. И так же, как сестра, прибавил: — Не пей ты, пап, эту проклятую водку.

— Сгинь, чтоб тя! — прикрикнул Демидов. — Сказано, тут посижу. Никуда не пойду.

Гринька ушел и, ужиная в одиночестве, думал, что отец, как всегда, беспременно пойдет в магазин, едва мигнет «волчье око» (так называл сам отец, а за ним и вся деревня светящееся по вечерам низкое оконце в доме Марии Макшеевой, через которое она продавала водку «без сдачи», что у нее означало — четыре рубля бутылка). Пьяный отец был добрый, пожалуй, доб-

рее, чем трезвый, часто приносил ему купленные через то же окоице то дешевенькие конфеты или пряиики, то бутылку лимонада. И пока ие проходил хмель, все крутился по комиатушке, оправдываясь, что выпил вот, убеждал его, Грииьку, никогда в жизии не пить, часто гладил по голове и иногда, кажется, плакал. Но, боясь, что слезы заметит Грииька, встряхивал головой и, так же шагая из угла в угол, мурлыкал без коица одио и то же, страииое, непоиятиое:

А кто ж я такой? Просто так — имярек.
Я, братцы-рребятцы, чудиой человек...

И все же Гриньке не хотелось, чтобы отец каждый вечер был пьяи. Трезвого он любил его больше.

Прибирая со стола, Гринька думал: ои, отец, чудиой у иего, это правду он про себя поет. Три года иазад он взял его из маршанихииского детдома со странным условием:

— Тебя Вовкой кличут? Отиыие я тебя Гринькой звать буду.

— Я не хочу, — сказал Грииька, бывший тогда еще Вовкой.

— Это уж обязательно. Ииаче, сынок, не выйдет у нас ничего. Не возьму я тебя, хоть ты малец вроде иичего, с гвоздем парень. Другого выберу. — И, помолчав, выкурив в молчаиии длиииую самокрутку, старательно затоптав окурок в землю (они разговаривали в детдомовском саду), начал длииную, наполовиу иепоиятиую речь: — Сам я, сыиок, лесиик, деревья, зиачит, сторожу, за лесом ухаживаю, зверюшек всяких оберегаю. Сторожка моя в лесу стоит... А лес какой у меия?! Ого-го, брат! Вот лежу я в сторожке или иду по лесу — деревья шумят, шумят... Ты думаешь, оии просто от ветра шумят? Не-ет, сыиок. Оии это со миой разговаривают: какая, зиачит, радость у них или какая беда... Или, скажем, кто прошел, проехал мимо — такой-то, мол, человек, или плохой, или хороший. Ну, понятио, хороший — так и иди себе. А коли плохой — иет, брат, шутишь, погоди-ка! Вот так обо всем докладывают. Деревья, оии, сынок, и не деревья вовсе, а живые люди. Это лесина спилеииая — дерево, бревио, словом... А живем мы в сторожке с дочкой Надеждой. Она тоже у меня приемиая. Я ведь бобылем все жил, жеиы у меия никогда не было. А почему? Это, сыиок, такой вопрос, под старость только и сумеешь разобраться, может. А может, по глупости. Ну да ладно... Вот и иадумал я: присмотрю-ка с детдому я себе дочку. После воииы мно-о-го их было, детдомовцев, да... Больше, чем теперь. Ну и присмотрел... поиравилась одна, сопливая такая. Коиопатая, как ты. Люблю отчего-то конопатых я. Только ее Анной было звать. Аиька-встаиька, мужеиька достаиь-ка... Вот глупые слова, а отчего-то ударили мне

в голову, когда с ней, как с тобой вот, беседовал. Что ж, думаю, выращу ее, она муженька-то и достанет, а я опять один. Будешь, говорю, ты Надеждой теперь. Тебе, говорю, имя, а для моей жизни смысл. Вот так я ей сказал. Будто при новом имени не присмотрела бы она себе муженька и рано ли, поздно ли не ушла от меня. Вот ведь какой глупый я был, а? Как думаешь?

И Гринька припомнил, что он вдруг горячо воскликнул тогда:

— Почто же нет! Ты правильно... Раз ты ее берешь в дети, так и она должна!

— Вот-вот, угадал я — с гвоздем ты! Да только, брат, должна-то должна, а человек-то по-человечьи и жить обязан. По весне зацвесть радостью, как поле росными цветами, все лето — рожать, а после и озимь посеять. Семена свои, значит, после себя оставить. Это я вот один чудной человек... Да-а, хорошая она у меня, Надежда, дочка добрая выросла. Да только в Маршаниху вот теперь часто бегает то в кино, то на танцы. А там, у лесовода одного, парень — Валентином звать. Парень, скажу тебе, тоже ничего, с гвоздем человек будет, да, считай... Чуешь, словом, чем пахнет?

— Девки, они такие! — опять вырвалось у Гриньки, тогдашнего Володьки. — А я тебя никогда не брошу.

— Ага! Согласный, значит?

— Что ж тут хорошего, в детдоме-то? Только уж Вовкой я был, Вовкой пускай и останусь.

— Ну это невозможно. Просто никак, сынок, невозможно.

— Да почему?

Его будущий отец тогда опять помолчал, выкурил еще одну самокрутку.

— Надька-то замуж выйдет, уйдет к мужу, понятно. К Валентину ли, к другому ли кому... Девка выросла, говорю, что надо — красивая, гладкая, в бедрах сильная. Глаза у ней, Гринька, — ишь какое хорошее имя-то, сынок! — глаза у ней светлые, лучистые, блеснут — зажмуришься. Да что ж, — вздохнул он, — я свое исполнил, вырастил ее. Пущай она теперь свое исполнит. На земле должно быть как можно больше людей со светлыми глазами. Уйдет, а я опять один останусь. Один? Ан нет. Просыпаюсь я ночью, скажем, а в ушах у меня — гринь-гринь-гринь... Что это: оконные стекла от ветра, может, дребезжат? Нет, это сына так моего зовут. Иду я по лесу, а кругом — гринь-гринь-гринь... Кто это? Птицы, может, поют? Ну да, верно, они поют. А про кого? Про моего сыночка щебечут они... Нет, никак невозможно, чтоб Вовкой ты оставался...

...Гринька прибрал со стола, накрыл блюдечком крынку, из

которой наливал молоко. За окнами давно стояла плотная темень, такая плотная, будто стекла кто-то заклеил снаружи черной бумагой. Отца все не было.

Вздохнув, мальчишка разобрал свою постель, щелкнул выключателем и залез под одеяло, продолжая вспоминать недалекое прошлое. Ему жалко, очень жалко было расставаться тогда с прежним своим именем, но чем-то понравился ему этот пожилой человек, а несколько раз сказанное им непривычное слово «сынок» выжимало слезинки.

— А зайцев... их тоже ты оберегаешь? — спросил он тогда, опуская стриженую голову, чтобы спрятать глаза.

— Зайчишек-то? А как же. Самый беззащитный народ. Их вокруг сторожки моей прыгает как воробьев вокруг весенней лужи.

— Ладно, я согласный.

Он-то был согласный, но потом вышли большие осложнения, его долго не отдавали в сыновья этому человеку.

— Возраст, — говорил директор детдома, — у вас преклонный, товарищ Демидов.

— Что возраст? Я крепкий, на лесном духу настоянный, еще двадцать лет как заяц проскакаю! — доказывал его приемный отец тогда. — А коли что — дочерь Надежда его довырастит. Я вам приведу ее, поглядите, какова деваха.

И он привел ее. Она, высокая, решительная, и вправду с какими-то удивительно добрыми и лучистыми глазами, тоже что-то доказывала директору, потом несколько раз ходила, выхлопатывая разрешение, в различные районные организации. И выхлопотала.

В лесной сторожке Гринька прожил с отцом и Надеждой всего два года. Что и говорить — там было хорошо. Вот только зайцы вокруг дома не прыгали и вообще близко не подходили к жилью: боялись, видимо, собачьего духа, зато поблизости текла небольшая прозрачная речка, в которой они с сестрой ловили удочками жирных усатых пескарей, а по берегам собирали ежевику и смородину.

Надежда была озорница, беспрерывно хохотала, оглашая весь дом, весь лес звонким своим голосом, глаза ее, когда она смеялась, лучились еще больше. Только к вечеру они по обыкновению притухали. Сперва Гринька не понимал, в чем дело, а потом стал догадываться — беспокоится Надежда об отце.

И верно, отца вечерами долго не было, и довольно часто приходил он пьяный. Он никогда не шумел, не ругался и, если выпил очень много, сразу ложился спать. А иногда до света мерил шагами просторную кухню и мурлыкал свою песню.

Один раз Гринька слышал, как Надежда, плача, говорила ему:

— Не пей ты, папа, эту проклятую водку. Ну отучись. Ведь сын у тебя теперь малолеток, его на ноги ставить надо.

— Поставим, Надежда, поставим... Я пью, да разум не теряю.

— Как же! Прошлой зимой не замерз чуть. Кабы я не отыскала тебя в сугробе...

— Это было, доченька... Дурак я. Растревожил сильно уж меня тогда Денис Макшеев, Марькин муж, сдохнуть бы ему. Да это раз только и было. А так в контроле я завсегда.

— Да отчего ты пьешь ее, проклятую?

— Так, приучился.. Жизнюха-вилюха, не жил бы, да надо.

— В который раз ты про этого Дениса Макшеева... Что у тебя с ним произошло? Что это вы с ним не поделили?

И тут Гринька почувствовал, как отец посуровел, рассердился, чего с ним никогда не бывало:

— Замолчь! Чего пытаешь? Ум покуда короток, а туда же...

Надежда всхлипнула, и отец тотчас обмяк, начал виниться:

— Доченька... Дурак я, говорю... Я подберу себя. Брошу пить. Вот на пенсию скоро выйду... Гриньке в школу как раз. Да переедем в Дубровино, купим хатку какую-нибудь. И брошу. Какая в ней радость?

И вот уж больше года живут они в деревне. Надежда вышла замуж за своего Валентина, отец теперь не работает, получает пенсию. А пить так и не бросил...

Гринькины глаза слипались, сон заволакивал сознание. Засыпая, он опять подумал, что отец его непонятный и чудной. Туман у него Татьян, дождь он называет Дементием, вьюгу — Акулиной, а пасмурный день — Митрофаном. «Туман Татьян — понятно, похоже вроде. Дождь Дементий — тоже на одну букву. А почему вьюга Акулина? Или крепкий мороз Филарет? Ага, кажись, идет...»

Проснуться Гринька уже не мог. Откуда-то из другого мира, далекого и нереального, донеслось только до Гриньки знакомое:

А кто ж я такой? Просто так — имярек.

2

Уже несколько дней шел то дождь, то снег, землю расхлябило, люди с трудом выдергивали ноги из клейкой дорожной грязи. Небо было серым, низким и промозглым, мир сузился, перемокшие дома, казалось, съежились и потихоньку оседали вниз, в разжиженную землю. И еще казалось: небо над деревней никогда не распахнется больше, сроду не появится на нем солнце.

Тусклый короткий день был просто длинным сумеречным вечером.

Павел Демидов с толстой палкой в руке вышел за калитку, когда сплошная чернильиая темнота залила всю улицу. Кое-где светились окна, бросая желтоватые пятна в дорожную грязь, отчего грязь эта жирио лосиилась. Перед домом напротив росли густые деревья, свет из окои не доставал до улицы, запутывался где-то в голых ветках.

В конце улицы, как всегда, горело «волчье око». Демидов помедлил, вздохиул и пошел иа его красноватый огонек.

Окоище, через форточку которого Мария Макшеева принимала от ночиых покупателей деиьги и подавала бутылки, было задернуто занавеской. Демидов постучал в окно. За красноватой тряпкой качнулась тень, занавеска поползла в староиу, и Павел увидел за стеклом не Марию Макшееву, а усатое неиавистное лицо ее мужа Деииса.

— Сколько? — равиодушио спросил Макшеев, открыв форточку, не узнавая пока Демидова.

— Одной досыта будет... с твоих-то рук.

Рыжие брови Макшеева чуть переломились, ои поближе припряиул к стеклу, будто хотел проверить, ие ослышался ли, тот ли за окном человек, которому принадлежит голос.

— Давай деиьги.

Когда ои говорил, тускло поблескивали от электрического света два его вставиых металлических зуба.

Протянув с пятерки полную сдачу — Демидов был, наверное, едииствениым, кому Макшеевы продавали водку по ее настоящей цене, — Деиис хотел захлопиуть форточку, ио Павел суиул в створку грязный ксиец палки.

— Чего, чего еще?

— Не отравлеииая? Ты ведь грозил когда-то...

— Жри без опаски. Не сдохиешь.

— Марька-то где сама?

— Проваливай! Будет тут пьянчужка всякий... Убери, говорю, палку!

— Жена где, спрашиваю, твоя?

— А иа свидаиие к тебе побегла. А ты тут вот... — В голосе Макшеева была едкая насмешка. — Мне что, за участковым сбегать?

— Это уж сама Марька сделает, когда я, Денисий, придавлю тебя где-иибудь, как таракана сапогом.

Усы Макшеева от бешеиства задергались. Но бешенство его было бессильиое, ои сам это чувствовал. И иичего не говорил, только багровел все больше и больше.

— Придавлю и разотру, чтоб и праха от тебя на земле не осталось.

По-прежнему молчал Денис, стоял, уронив, как плети, обе руки. Лицо его теперь стало бледнеть, словно какой-то насос начал откачивать с лица всю кровь. А Демидов, понимая состояние Макшеева, безжалостно продолжал:

— Да только что мне участковый? Я жизнь свою использовал, так и так помирать скоро. Но сперва я тебя на тот свет спроважу. Да ты и сам, должно, чуешь, что твоя голова все ниже и ниже к плахе клонится. Чуешь али нет?

Макшеев лишь усмехнулся.

— Врешь, чуешь. Все живое это чует. Даже курица, когда ее ловят в курятнике, чтобы лапшу сварить.

— Не пугай. Пуганный я тобой.

— И правильно — бойся, — как бы не слыша его слов, продолжал Демидов, раскрывая форточку чуть пошире. — Я это давно бы сделал, да поджидал, покуда дети ваши подрастут. Малых не решился сиротить. А теперь что ж — обои твои дети обженились в городу, слыхал, на собственные ноги встали... А там пусть приходит за мной хоть сотня участковых. Тюрьма мне больше без надобности, на старости-то. Так что живым они меня не найдут. Гриньку Надежда к себе возьмет.

Демидов вынул палку из форточки, наклонился поближе к оконцу и сказал Макшееву, как говорят что-нибудь хорошее близкому другу:

— Конечно, не шибко удачливо ты, Денисий, судьбой своей распорядился.

Макшеев рывком захлопнул форточку, задернул занавеску. Но по тени Демидов видел, что он не отошел от окошка, стоял недвижно на прежнем месте. Усмехнувшись, Павел покачал на ладони холодную тяжелую бутылку и вдруг, размахнувшись, швырнул ее в бревенчатую стену дома. Бутылка раскололась звонко, но осколки просыпались почему-то беззвучно. Тень за занавеской вздрогнула, будто бутылка попала не в стену, а в самого Дениса, и окошко потухло.

Когда Павел Демидов шел к дому Макшеева, сеял редкий унылый дождичек, небо, видно, иссякало, выцеживало из себя последки. И вот теперь действительно сверху уже не капало, дул только влажный и тяжелый ветер, бессильный высушить крыши, голые мокрые ветки деревьев, суконную тужурку Демидова.

Павел шагал не к своей мазанке, а так, куда-то по какому-то переулку, неизвестно зачем. Полчаса назад ему сильно хотелось выпить, сейчас же ничего не хотелось. Многолетняя жизнь в ле-

су обострила его слух, приспособила его глаза хорошо видеть в темноте. И сейчас он услышал: кто-то хлюпает по грязи навстречу ему. А подняв голову, сразу различил, что это Мария Макшеева.

Мария, может, не узнала его, а может, не захотела узнавать — прошла было мимо. Он окликнул ее именем, каким звал в юности, каким звал иногда и теперь:

— Марька...

Она оглянулась, затем пошла еще быстрее, но, сделав несколько шагов, остановилась:

— Ну что, что?

— Да так я... — произнес Демидов, подходя. — Что мне с тобой?

— Гляди-ка, трезвый. — Глаза Марии во мраке чуть поблескивали, и Павел знал, что она глядит на него, как всегда, холодно и враждебно. — Когда ты от водки этой сгоришь только!

— Вот как Денисня твоего прижулькну где-нибудь.

— Зверь ты, зверь! Чем он тебе дорогу перешел? Что ты над ним висишь всю жизнь, как... Чем он-то виноват перед тобой? Это я пускай виновата, коли выбрала его, а не тебя. И хорошо, что не тебя! Ты ведь пьянчужка, бирюк лесной. Хватила бы я с тобой горюшка... — и Мария заплакала.

— Врешь ты, — сказал ей Демидов с тихим вздохом. — Все врешь. Все ты знаешь.

— Я тебя по-всякому просила — оставь ты нас в покое. У меня семья, дети, я... Что ж я с собой могла поделать тогда... коли не тебя, а его полюбила?

— Врешь, — повторил Павел. — За меня б вышла, коли б не посадили меня перед войной.

— Никогда! — воскликнула женщина.

— Ветру у тебя в голове много было, это верно, — как-то грустновато произнес Демидов. — Ладно, может, и не за меня. А от Денисня-то ушла бы даже и сейчас, будь твоя воля. Да нету. Запутал он тебя в грязных магазинных делах, завязил сперва в них, как муху в паутину... А теперь тюрьмой пугает. Вон полушалок на тебе и тот ворованный.

— Не трожь ты! — Мария отступила, ударила его по протянутой руке, будто боялась, что он сорвет с ее головы полушалок.

— Водку и ту заставил продавать ночами на рубль с лишним дороже. С меня только и берете настоящую цену. Куда он деньги-то складывает?

— Как я ненавижу тебя, паразита! — прохрипела Мария, отступая, будто изготавливаясь к прыжку.

— И это неправда, — произнес он с каким-то укором.

Мария зарыдала тяжко и глубоко, согнулась, уткнула лицо в концы полушалка. Он терпеливо ждал, пока она выплачется.

— Нет, это правда, — сказала она, вытирая глаза. — Я тебя возненавидела, по правде, с того дня, когда ты меня там... в лесу, в кровь исхлестал ружейиым ремием. И до смерти за это неиавидеть буду.

— Не ошибись гляди, глупая ты баба, — произнес Демидов.

— Ишь ты, как себя ставишь! Поглядите-ка на него! Еще протнвней ты мне после таких слов.

И оиа быстро пошла прочь, разбрызгивая резиновыми сапогами грязь. Павел стоял, опершнсь на палку, глядел ей вслед, будто ожидая, что оиа вериется.

И она вериулась. Оиа остаиовилась сперва, потом резко повернулась, торопливо подбежала к Демидову.

— Вот глупая я, ты произиес. А?

— Я это сказал.

— А почему?

— А ии бабы, ни человека из тебя ие выросло. А могло бы случиться.

В соседнем доме загорелось окно, свет из него упал прямо на Павла, а Мария осталась, отрезанная в темноте. Но Демидов увидел ее запрокииутое к нему лицо, действительно холодиое и враждебиое.

И все равно она была красивая, Мария. Она была на четырнадцать лет моложе Павла, ей подбиралось под пятьдесят, но время словно не трогало ее. Все такие же гладкие щеки с румянцем («И это не ветер нахлестал», — отметнл Демидов), свежие еще губы, которыми она когда-то целовала его жарко и ненасытио, такие же густые, без единой седиики волосы. Лишь вокруг глаз стали пробиваться морщинки, да и то едва-едва.

— Оставь ты нас с Денисом в покое, Пашеиька! — умоляюще заговорила вдруг она. — Мы старики уж, жизнь сызнова не начнешь... Уедь куда-нибудь, али мы с Денисом уедем, а ты за нами не тащись следом, дай нам пожить спокойно под старость хоть, не преследуй боле. Ты ригу колхозиую поджег, в тюрьму угодил, и пошла твоя жизнь наперемол. А Деиис при чем?

— Ты?! — вскрикнул Павел Демидов н тяжко задышал. — Денис, зиачит, ни при чем? Он ни при чем?! Ну, отвечай!

Он схватил ее за плечи и сильно затряс.

— Господи, в уме ли ты?! Я закричу, Павел!

Ои застоиал, отшвырнул ее от себя чуть не в грязь и быстро пошел, почти побежал...

3

Тяжелые чериые волиы хлестали в борта лодки. Демидов, сжав зубы, греб и греб, не обращая внимаиия, что весла опасливо потрескивают. В непроглядной черноте крохотиого речиого островка было не видно, но Павел чутьем чуял, что плывет правильио, что нос лодкн сейчас заскрежещет по гальке.

Потом он сидел под небольшим обрывчиком в затишке, смолил одиу за другой дешевенькие папиросы, слушал, как уныло посвистывает ветер в голых кустах, росших иа островке, хлюпает у ног осенняя обская вода.

Напротив островка вдоль берега была рассыпаиа деревня Дубровино, сейчас она угадывалась по редковатым огонькам. Среди этих огоньков Демидов безошибочно отыскал вновь горевшее «волчье око».

«Ты ригу колхозиую поджег... А Денис при чем?» Эти слова звучали в ушах Демидова, пока ои греб к островку, звучали и сейчас.

«При чем, — тяжко усмехиулся он. — Это можио бы тебе еще раз объясиить. Только что объяснять — и без того все помнишь ведь...»

Потом Павел стал размышлять, что его вот, Демидова, многие иазывают чудиым человеком. А ежели подумать, вся жизнь чудная. Земля вот большая, много на ней места. А бывает так, что двоим на ией тесно. Не разойтись им иикак. Да-а, людничеловеки... Много на земле всяких разных живых тварей, а красивше человека нету, с разумом потому что, с созиданием. А раз так, живи и не мешай другому, вон сколько иа земле благодати, найдешь свою, зачем другому дорогу переступать? Так нет же... И опять же, ежели с другой стороиы взять, ну ладно, сделал тебе зло кто-то. Не от большого ума, конечно. Пойми и прости, какое бы тяжкое оио, зло, ни было. Ты ж человек все же. А вот он, Павел Демидов, простить не может. Он и простил бы, ои и пить бы бросил — все бы сделал Павел Демидов, пойми люди, что он ни в чем не виноват перед собой, перед жизиью, перед людьми. А не поймут, ие поверят... Но это опять же с одной стороны. А с другой — понимать и прощать некому. Здесь, в Дубровине, его жизни никто не знает, кроме Дениса да Марии. Лесник и лесник, пьяница только, мол, да с Макшеевыми почему-то не ладит. Теперь, значит, на пенсии. Знали там, на Еиисее, в Красноярском крае. Да и там, в деревне Колмогорово, люди тоже переменились — кто уехал, кто приехал, а миогие и померли, ведь больше трех десятков лет прошло с тех пор, как... Кто теперь помнит там о нем,

Павле Демидове? Кому и зачем кричать: люди, я не виноват! Вот, допустим, можно бы крикнуть было этак на весь мир. И что же? Люди бы и впали в неодумь — полоумный, что ли, орет? И оно действительно... Так, значит, что ж, по таким-то рассуждениям вроде и простить ему, Денису Макшееву, можно? А я не прощаю, ношу эту обиду в себе, как курица яйцо. Отравляю ему и себе жизнь...

Так думал Павел Демидов, чувствуя одновременно, что он какой-то не такой уже, чем был даже вчера, что в нем происходит что-то непонятное, подбирается к его сердцу какая-то доброта, ненужная ему и вообще предательская. Гринька, когда вырастет, не одобрит, должно быть, такой доброты...

Огоньки на берегу становились все реже, гасли один за другим. А «волчье око» все продолжало гореть, прокалывало темень неприятно-красным светом. Демидов глядел на него, и в груди, и под черепом — везде вскипала у него кровь будто.

— Не прощу, нет... Не могу!

Он закрыл глаза, откинулся назад, ударился затылком о земляной обрывчик. Он очень плотно, до ломоты в веках зажмурил глаза, а все равно видел «волчье око», оно горело и горело...

4

Начало жизни Демидова складывалось не хорошо и не плохо. Он родился и вырос на берегу Енисея, реки малорыбной, зато неописуемо красивой. Отец погиб в партизанах — он был в отряде легендарного Каландарашвили, мать — тихонькая, маленькая, робкая, она все почему-то держала заскорузлые от работы руки под фартуком, точно стеснялась показывать их людям, — как и другие, вступила в Колмогоровский колхоз. И Демидов работал в колхозе, потом служил действительную, вернулся с нее в начале тридцатых годов.

— Теперь жениться бы те, Пашенька, — говорила мать несколько раз. — Я уж слаба стала.

С женитьбой как-то не получалось. А потом стал ждать, когда подрастет Мария.

Мария росла хохотушкой — этим и привлекла сперва его внимание. В четырнадцать лет она была уже стройной, грудастой, туготелой. В шестнадцать хорошо научилась целоваться, он, Павел, ее научил. Целовал ее, но и в мыслях никогда не было, чтоб тронуть, понимал: рано и ни к чему до свадьбы.

— А когда же свадьба-то? — спрашивала она частенько.

— Скоро. Подрасти еще. Порода чтоб крепше от нас пошла.

Когда Марии исполнилось семнадцать, в Колмогоровском сельсовете появился новый счетовод — Денис Макшеев. Он был примерно одногодок Павла, тоже отслужил давно действительную, ходил по деревне в полувоенном френче, синих галифе и хромовых сапогах. И еще — от него всегда пахло одеколоном. По тем годам это было невидалью в деревне — девок осуждали, если чем помажутся, а мужику-то и вовсе позор.

Откуда Макшеев родом, было неизвестно. Деревенские бабенки глухо поговаривали, что вроде из самого города Красноярска, где родитель его держал будто бы когда-то не то мучной лабаз, не то булочную. Но бабье есть бабье, к их сплетням никто всерьез не относился. Да и не было ни для кого нужды устанавливать родословную приезжего счетовода. Те, которые поставили его на эту работу, знали, наверное, кого ставят, им, значит, было виднее.

Однажды Павел застал на берегу Енисея Марию и Дениса. Денис что-то рассказывал, картинно красовался, поставив одну ногу, обтянутую плотно синей штаниной, на крупный камень. Мария заливалась смехом, сидя на носу лодки.

— Занятный он, — сказала она, когда Павел увел ее с берега.

Это было где-то в мае тридцать восьмого. По осени Демидов намеревался сыграть свадьбу, мать тихонько собирала к этому дню все необходимое.

— Хороша бабенка, да не планида ей горизонт увидать, — сказал как-то Денис Павлу, встретив его среди деревни.

— Как понять? — насторожился Павел.

— Ей муж-то надобен с кругозором. А в тебе какой интеллигент? Ты ведь, дядя, цветок июхаешь, а запаху не чуешь.

Демидов высоко себя не ставил, но и низко не опускал. И потом он был не какой-то робкий недоносок, он тут же схватил Макшеева за отвороты френча:

— Ты! Приподниму и опущу об землю. Только шмякнешь!

— Убери крючки, ну! — побагровел Денис, схватил Павловы руки за запястья, оторвал от френча. Он, Денис, тоже силенку имел. — Обломлю и в Енисей кину. Я, дядя, решительный. В кавалерии служил и лозу лихо рубил.

Они разошлись, красные, взъерошенные, оба чувствуя, что еще сойдутся.

— Зачем ты ему о свадьбе сказала? — спросил в тот же вечер Павел у Марии.

— А занятный он, — ответила она, как и в прошлый раз.— Да что он нам, ты не думай...

Но Демидов думал, потому что нет-нет да и заставал где-

нибудь Марию в компаиии счетовода. Оиа с хохотками уверяла, будто встретилась с ним случайно и только что.

А однажды произнесла с обидой за Макшеева:

— Ты его ие любишь, я вижу. А в нем интеллигеиту-то побольше, чем во всех деревенских парнях.

— Во-он как! Так ты что ж, за иего и выходи.

Мария зарыдала, прижалась к нему:

— Пашеиька! Я тебя, тебя люблю... А когда с иим, вроде бы не тебя, а его... Убереги меия от него! Я не зиаю как, только убереги. Ииаче быть греху...

— Ладно, — угрожающе произнес Демидов и пошагал в сельсовет.

В сельсовете они поговорили с Макшеевым тихо и мирио, как добрые товарищи. Из сельсовета вышли и пошагали рядом, плечо в плечо, по улице за деревню. Макшеев шел, грыз семечки и равнодушно плевался шелухой.

За Колмогоровом сразу начиналась тайга, оии отыскали глухую поляну, Макшеев снял френч, а Демидов пиджак и верхнюю рубаху. Каждый аккуратно свериул свою одежду и положил на траву.

Дрались они долго, молчаливо, в кровь, все больше наливаясь свирепой угрюмостью, изорвав друг на друге нательные рубахи. Договорились: пока одии из иих ие упадет без созиания. Лежачего, как известно, не добивают, но зато уж устоявшему на иогах достается Мария.

Устояли оба, только до дна выдохлись. У Демидова текла кровь даже из ушей, Макшеев выплюиул два передиих зуба.

— Будет, — прохрипел Денис, обтирая клочьями рубахи кровь с лица.

— Признаешь, что слабожильнее? — тоже с хрипом спросил Павел.

— Ни в жисть.

— Тогда погодь одеваться, лабазиик! До оконечности давай, как договореио.

Демидов качиулся было к Макшееву, ио тот поднял с земли увесистый еловый сук.

— Ты что?! Договорились — на кулаках только.

— Подходи... Я покажу, как договорились!

На всякий случай Демидов пошарил под деревом, тоже нащупал крепкую палку.

— Скажу те так, хамло навозиое, — тяжело дыша, проговорил Макшеев. — Лабазиик я али еще кто там, а Марии не видать тебе все одно. Отказывайся лучше добровольно. Ииаче

икать всю жизнь будешь. Это я тя заставлю, найду способ. Я, дядя, решительный.

— Жди, как же. Сиди дома и гляди в окошко, не идет ли Пашка Демидов, не ведет ли тебе Марьку за руку: вот, мол, возьми.

— Ну, я сказал, а ты слышал. И значит, судьбу свою добровольно выбрал...

...Не знал тогда Павел, что за человек Денис Макшеев, предположить и близко не мог, что за судьбу он ему уготовил.

Отполыхало лето, блекнуть стало небо, и вскоре густо посыпался древесный лист. Как-то допоздна засиделся Демидов у родителей Марии, обговаривая круг гостей, которых через неделю предстояло звать на свадьбу. Под конец попробовали самогонки, которую Марькина мать накурила для свадьбы. Кувшинчик принесла сама Марька, бледная какая-то, с опущенными глазами. Когда разливала по стаканам, пальцы ее подрагивали.

Прощаясь с Павлом, подняла все же свои густые ресницы. Зрачки ее сильно расплылись, были огромными, в широко распахнутых теперь глазах стоял ужас, какой-то немой крик.

— Ты что, Марька? — спросил Демидов.

— Пашенька... Давит отчего-то все у меня внутри... — Она припала к нему. Павел слышал, как бешено молотит в ее груди сердце.

— Устала, видно. Ты ляг поди...

— Я лягу, лягу... Еще, может, стаканчик выпьешь?

— Что ж, давай.

Когда Марька наливала этот стакан, дрожали у нее не только руки, но и спина.

— Пей... на здоровье.

Голос у нее был теперь чужой, незнакомый, и в глазах не стояло уже ни ужаса, ни беззвучного крика. Они были, ее глаза, бессмысленными, пустыми, до дна выгоревшими. Как ни пьян был Демидов, он все это заметил, еще раз спросил:

— Да что, в самом деле, такое с тобой?

— Ой Пашка! Женское сердце вещун, говорят... — выдохнула она, вжалась в стену. — А у меня такое чувство, будто последний раз видимся...

Последний не последний, но долго потом не пришлось им увидеть друг друга. Добрый десяток лет с гаком.

Самогонка оказалась зверь зверем, в голове у Демидова шумело, августовские звезды пошатывались на небе.

Когда он шел мимо колхозной риги, из-за хлебной скирды вышел Денис Макшеев.

— Ну вот... Долго я ждал такого случая.

— Отойди, я пьяный, — попросил Демидов.

— Это нам и сподручно, дядя, — проговорил, шепелявя, Макшеев и чем-то твердым ударил Павла по голове. Демидов качнулся и рухнул наземь.

Потом Макшеев безжалостно пинал его сапогами в голову, в грудь, в лицо. Павел только глухо и беспомощно стонал, пока не потерял сознание. Потерял он, видимо, его ненадолго, потому что, когда открыл глаза, Макшеев был тут же. Он будто по нужде сидел на корточках у хлебной скирды. И вдруг Демидов увидел: из-под руки Макшеева змейкой пополз огонек, начал лизать, разрастаясь, угол хлебного зарода. Даже в темноте было видно, как заклубился черный тяжелый дым.

— Ты! Ты чего делаешь?! — будто задыхаясь от этого дыма, прокричал Павел, попробовал приподняться на локтях. — Ты чего сделал?!

— А это не я... Это ты, дядя, сделал, — проговорил Макшеев и, хищно ощерясь, стал приближаться к нему от пылающей скирды. — И сейчас люди об этом узнают.

Голова Павла мотнулась и будто оторвалась. Опять потухающим сознанием Демидов сообразил, что Макшеев снова пнул его сапогом, снова, крича на всю деревню, призывая людей на помощь, принялся его избивать. Но боли Павел не чувствовал. Вспухло перед ним что-то большое, оранжево-красное, разрослось и лопнуло беззвучно...

За поджог колхозной риги (дотла сгорело несколько ржаных зародов, молотилка и две веялки) Павла Демидова осудили на десять лет. Что бы он ни говорил в свое оправдание, слова его звучали для всех как-то жалко, неубедительно — так уж все подвел Денис Макшеев, который, достигали до Павла отрывочные слухи, ходил теперь в героях за поимку поджигателя колхозного хлеба на месте преступления.

И покатилась жизнь Демидова колесом куда-то в пропасть, все глубже и глубже...

Срок он отбывал неподалеку от родных мест, строил на мерзлой земле рудник, что ли, какой-то. В сорок втором осенью попал на фронт, в штрафной батальон.

Но хоть и штрафной, а полегче все же стало, мир пошире открылся, вокруг штрафников — люди обыкновенные, какие живут на земле. Поставил перед собой задачу Демидов: хоть и несправедливо обошлась с ним судьба, а надо доказать, что он человек все же, человеком и останется.

Но, видно, недаром говорят: судьба — индейка, а жизнь — копейка. Досуха выпил он вроде горькую чашу, да самая горечь на донышке еще оставалась. И ее довелось выхлебнуть.

В первом же бою был он захвачен в плен.

Случилось это в ноябре под станцией Качалинская. В ту пору ходили слухи, что Красная Армия готовится к могучим боям, чтобы отбросить фашистов от Сталинграда. И бои эти, по всему видно было, начались.

Их штрафному батальону поставили задачу во что бы то ни стало преодолеть полузамерзшую реку Дон, достичь другого берега, зацепиться за него и любой ценой удержать.

— Форсировать-то будут в другом месте, а нас кинули, чтоб внимание немцев отвлечь, — сказал Демидову какой-то солдат из уголовников перед началом операции. — А на середке лед, говорят, совсем тонкий. Перетопнем ведь...

— Заткнись ты! — глухо кинул Демидов.

— Слушай, кореш... Я видел на занятиях, метко ты из винтовки лепишь, — не унимался рыжий. — А наше дело такое: до первого ранения, до первой крови.

— Ну? — насторожился Демидов.

— Вот тут в гомонце у меня пара кусков. И бока золотые.

— Что-что?

— Две тысячи, говорю, денег. И часы. Вот, возьми. И один кусок... Сейчас перед атакой артподготовка начнется. Отойдем в овражек, а? Лупанешь меня из винтовки по левой руке... Ведь так и так... Грохот будет, выстрела никто не услышит. И я тебе другой кусок... Уцелеешь коли, пригодятся...

— Давай, — сурово проговорил Демидов. — Все давай, и вторую тыщу.

На первых порах заключения Павел боялся всякой шпаны, а потом уяснил: эта сволочь силу уважает, подчиняется ей беспрекословно, и еще наглость. И он научился управляться с этим народом. Поэтому сейчас, получив часы и деньги, он не торопясь спрятал все в карман. Потом развернулся и тяжко, с придыхом ударил жестким кулаком прямо в широкоскулое лицо уголовника. Тот отлетел в снег, быстро вскочил, вытирая кровь с подбородка.

— Сука, — спокойно сказал Демидов. — Я тебе не по руке, в самую голову прицелюсь, ежели ты во время дела начнешь за спины других прятаться. И не промахнусь, не надейся. Впереди меня пойдешь. И гляди у меня!

По растерянным глазам уголовника Павел видел, что он сломал его, подчинил себе без остатка, хотя, конечно, понимал, что при удобном случае рыжий без колебаний пристрелит его. Но случай такой должен еще наступить, а Павел не лыком теперь шит...

Этот эпизод почему-то вселил в Павла уверенность, что он останется жив.

И остался, да лучше бы не оставаться.

При форсироваиии реки почти весь штрафбат полег на льду. От фашистской пули упал, опрокинувшись на спину, и рыжий уголовник, добросовестно бежавший все время впереди Павла. А тут и самого Демидова садануло в голову, она мотнулась, как когда-то от пинка Макшеева, больно заныли шейные позвонки.

Это было последнее, что почувствовал или запомиил краем сознаиия Демидов. Очиулся он где-то в тесном, воиючем бараке, услышал непривычную немецкую речь, сразу без удивлеиия и почему-то даже без досады понял, где очутился. «Ах, Макшеев Денисий, ну погоди!» — подумал ои только, как думал и прежде бессчетное количество дией и ночей, но на этот раз безразлично, как-то равиодушно, без злобы к нему. Виутри у Демидова словно ничего не было теперь живого, все онемело.

Таким оиемевшим, отупевшим, безразличным ко всему, что с иим происходило, он и остался на многие годы. Это, навериое, и помогло ему выжить. Немцы зиали, что он штрафник, считали за бывшего уголовиика, вербовали в какую-то власовскую армию, даже уговаривали. Демидов не знал, что это такое, но отказывался. Уговоры сменялись избиеииями...

Неожиданио от него почему-то отступились, отправили в концлагерь на территории Польши. Там он был уборщиком трупов, каждое утро собирал их по всему лагерю и свозил иа пегой лошаденке к крематорию.

Он возил их и возил до января сорок пятого года, к этому привыкли и узники, и сами иемцы. Он никогда ие брился, редко стригся, густо и безобразно заросший волосом, походил на старика, ни сами немцы, ни узники вроде уж и не принимали его за заключеииого, а считали вольноиаемым уборщиком трупов, к тому же полуидиотом.

Советская Армия захватила лагерь военнопленных стремительно и неожиданно. Даже в отдаленни боев никаких не было слышно, пролетали только в последнее время на большой высоте иад лагерем советские самолеты, и вдруг утром, перед самой зарей, в бараках послышался лязг железа. Узники высыпали на плац, и Демидов выскочил — за колючей проволокой, обтекая лагерь, грохоча гусеиицами и воя моторами, стремительно неслись куда-то танки. «Куда же они торопко так?» — подумал Демидов, убеждеииый, что это немецкие танки.

И вдруг один из них круто повернул, порвал, как паутину, туго натянутую колючую проволоку и остановился, поводя из стороны в стороиу длииным пушечим стволом, будто выбирая,

куда бы влепить снаряд. И Демидов увидел на его броне пятиконечную звезду...

...Утром, когда рассвело, Павел стоял, комкая лагерную шапку, в толпе воющих, плачущих от радости заключенных, ждал своей очереди к представителям Советской Армии, составляющим списки бывших узников.

— Погодите, это что за чучело? — спросил кто-то, едва Павел переступил порог. — Откуда такой?

— Я русский. Демидов по фамилии.

— Ты ж облик человеческий совсем потерял.

— Кто ж тут его сохраиил?

— Где в плен попал?

— На Доиу где-то. Из штрафников я.

— За что в штрафиики угодил?

— Осуждеиный был. За то, что будто бы колхозную ригу сжег.

— Как будто бы?

— Я не поджигал. Денисий Макшеев поджег. А я жеииться хотел на Марии. Оттого все и началось...

— Погоди, погоди, старик... Он полоумный, кажется.

— Нет, в уме покуда. И не старик, мне сорока нет еще. Вы послушайте...

Демидова выслушали терпелнво. Рассказывая обо всем, что с ним произошло, Павел видел, что ему не верили.

— Да, тут разобраться не так-то просто, — сказал офицер с двумя полосками на погонах. — И не наше это дело.

— Да чье бы ии было, все едино не разберутся, — обреченно махнул рукой Демидов. — Лучше уж посадите до конца срок отсидеть, который мне даден.

...И еще три года мыкался Демидов по какнм-то пересыльным пунктам, лагерям, по-прежнему безразличный к тому, что с ним происходит. Он только чувствовал: люди, занимающиеся его судьбой, не знают теперь, что с иим делать.

Наконец в сорок восьмом году Демидова выпустнли, обязав три года еще жить на поселении в том же северном районе, где был лагерь.

Но все проходит. Прошли и эти добавочные три года. Мог теперь ехать Павел Демидов куда угодно. А куда? Где жизнь доживать? Мать умерла еще до войны, получил он известие как-то. Мария, Денис Макшеев, родиое Колмогорово — все это было где-то уже в другом мире, будто за какой-то мутной бесконечной далью, преодолевать которую не было ни смысла, ни желания.

Демидов бы остался, наверное, до конца дней своих в неласковой северной земле, к которой как-то и привык за последние, относительно свободные годы, чем-то и стала дорога она ему, может, незавидной своей холодной судьбой, нелегкой жизнью, если бы не слова тамошнего районного начальника. Показались они Демидову самым горьким из всего, что ему довелось испытать.

— Вот ты хочешь у нас в районе остаться, — сказал ему тот человек. — А зачем ты нам такой?

— Какой такой?

— А вот такой. Не человек, а просто так... имярек.

— Имярек, значит?

— Вот именно. Зачем ты такой стране нашей? Людям нашим?

— Я ни стране, ни людям ничего плохого не делал. Может, и хорошего тоже. Так вы дайте возможность.

— Возможность? У тебя была и есть одна возможность — покончить с собой. Не понимаю, почему ты не воспользовался ею до сих пор.

Почернело у Павла перед глазами, потемнели оконные стекла в кабинете этого человека, будто враз в одну секунду залила непроглядная темень северный поселок.

Давным-давно, когда только-только осудили, дал зарок себе Павел — не пить больше сроду спиртного. Получив волю, исполнял свято клятву, не брал водки в рот и капли. А тут прямо из кабинета этого начальника пошел в магазин, купил бутылку, вылил в кружку и выпил в три-четыре глотка. Будто воду выглотал, не почуяв горечи. И с удивлением обнаружил — разжало сердце, отпустило туго натянутые по всему телу жилы.

И заплакал Павел Демидов. Все, что с ним было, переносил молча. А тут не выдержал.

«Не прощу, нет... Не могу!» — решил он в ту ночь, думая о Макшееве.

5

В родные места он приехал ранней весной, когда над Енисеем кричали журавли.

Но с какого боку приткнуться к жизни? Ни на что хорошее он уже не надеялся, отвык от хорошего. И, внутренне чувствуя, что пытает судьбу в последний раз, прямо с поезда пошел в райисполком.

— Объясни мне, значит, гражданин начальник, что я такое за человеческое чучело? В том смысле, стоит дальше мне жить

али в самом деле солнечным светом я не имею права пользоваться? — спросил он, зайдя почти без спроса у тонконосой секретарши в кабинет самого председателя райисполкома.

Фамилия у председателя была Агафонов. Толстый, неповоротливый, с заплывшей нездоровым жиром шеей, он, прихмуривая брови, с любопытством оглядывал посетителя.

— Начальник-то я начальник... видишь, раскормленный какой. А все-таки не гражданин, а товарищ... Из заключения, что ли?

— А для меня вся земля — тюрьма без решеток.

— Ишь ты, — усмехнулся тучный Агафонов. — Злой какой. А я вот стих однажды где-то читал: «Солнце светит всем — слепым и зрячим. В этом и величие его...» Это как?

— Слова-то можно по-всякому составлять.

— Н-да... — Агафонов все так же внимательно разглядывал Демидова. — Ну-ка, чучело себя замучило, рассказывай...

И впервые за многие годы почувствовал Демидов, что не вся земля в подлецах, слишком большая она для этого.

Он рассказал толстому Агафонову о своей жизни все, не утаил даже и малейшей подробности. Тот слушал не перебивая, только хмурился и мял кулаком жирный подбородок.

— Н-да... — опять произнес он, когда Павел кончил. — Что я тебе скажу, товарищ Демидов? Зло — оно само себя показывает, а добро еще увидеть надо.

— Это как же понять?

— А так... Я вот думаю: самое полезное для тебя сейчас будет пожить где-нибудь в стороне от людей один на один с природой. Пособлю я, скажем, бакенщиком тебе устроиться на Енисее. А еще лучше лесником.

— Значит, возле людей мне так и нету теперь места?

Вся удушливая горечь опять прихлестнула к самому горлу.

— А ты поверь мне, Демидов. Вот хозяйка хлеба из печки когда вынет — сперва в прохладное место их составит, полотенчиком чистым прикроет. Отдохнуть от жара. И отмякнет он, хлеб, духу земного наберет. А люди?.. Людей и в лесу много.

— Ты из крестьян, видать? — Горечь сама собой отхлынула от горла, только на Агафонова смотреть почему-то было неудобно, ощутил он ни с того ни с сего и какую-то вину перед этим человеком.

— Нет, я таежник в прошлом. И лесником долго служил. Вот сейчас как вспомню — заноет сердце от тоски. Лес, природа вообще — это высший разум, какой есть под солнцем. Научишься все это видеть и понимать — и обнаружишь в себе человека. А это для тебя еще задача, уж поверь мне.

Демидов и понимал и не понимал, о чем говорил Агафонов. Но чувствовал — надо ему верить. И неожиданно для себя произнес:

— Да-а, хороший ты, должно быть, человек.

— А это люди по-разному считают, — усмехнулся Агафонов. — Так что ж, позвонить насчет тебя в лесничество? Не подведешь меня?

— Ты мою жизнь всю слыхал. Меня вон сколько подводили, а я вроде никого пока.

— А ты поубавь-ка злости! — рассердился вдруг Агафонов, покраснел, как от натуги. — «Меня вон сколько»... А сколько? Все люди будто тем лишь и занимались. Один раз только, один подлец... Это надо тебе сразу, тут же понять!

— Он и раз, да досыта. Он, сволота, так и сказал: «Икать всю жизнь будешь». И вот наикался! Меня тоже понять надо.

— Значит, ты ему не простишь? Мстить собираешься? — Агафонов, взявший было телефонную трубку, положил ее на место.

— А он что, Макшеев, живой? — быстро произнес Демидов. — Ты знаешь его?

— Не знал бы, может, и небывалым посчитал все, что случилось с тобой.

— Где ж он живет-поживает?

— Там же и поживает, в Колмогорове. Женатый на этой твоей Марии.

Демидов сидел согнувшись, уперев локти в колени, лицо уронил в ладони, тяжко, с загнанным хрипом дышал. Агафонов не говорил теперь ни слова. Павел знал: он ждет ответа на свой последний вопрос.

— А ты... ты вот простил бы ему, доведись это с тобой? Ты не отомстил бы?

— Я? Простить — не знаю, не простил бы, кажется. А мстить, мараться об него побрезговал бы. Себе дороже.

— А я себя дорого теперь не ценю! — со злостью выкрикнул Демидов.

Они помолчали, будто каждый размышлял теперь про себя, что же им делать, как разойтись. Наконец Демидов произнес с трудом, не глядя на Агафонова:

— И дети у них... у Макшеевых, имеются?

— Двое, кажется, сын и дочь.

Демидов еще посидел немного и, гремя стулом, тяжело, неуклюже поднялся.

— Ладно... Не встреть я тебя... такого — кроваво отомстил бы

ему. Теперь ие троиу. Действием не трону. А простить, как и ты вот говоришь, не смогу. Это уж как хочешь.

— Как понять — «действием не трону»?

— Неужели непонятно?

— Чем же тронешь?

— Не знаю. Ничего не зиаю. Позвони в лесничество.

Попрощавшись, пошел из кабинета, но вдруг остановился, проговорил:

— Это вот про стих хорошо ты. Солнышко светит всем — и зрячим и слепым. Ведь просто, а верно.

— Правильно, Демидов! — обрадованно, с облегчением, как показалось Павлу, произнес Агафонов.

— И еще, должно быть, ты верно сказал: это для меня задача — обнаружить в себе человека. Тут ты корень какой-то глубокий задел.

— Не задача, а ползадачи уже, — улыбнулся Агафонов.

— Нет, обманываешься, — упрямо повторнл Демидов. — Что ум рассудит, то еще сердце пронять должно. А это задача.

6

...И стал работать Демидов лесником близ Колмогорова.

Прав оказался толстый Агафонов. Вечный шум леса, птичьи звоны, говор таежиых речушек действовали успокаивающе, душа Демидова отходила.

Прав он был, что и людей в лесу много: охотники, рыбаки, ягодницы, грибники. Не было и дня, чтобы он не встретился с кем-то из людей, со многимн подружился даже. Таким указывал лучшие ягодные, рыбные и грнбные места.

С удивлеиием он обнаружил, что люди как-то быстро располагались к иему, молодые звали «дядя Паша», а кто постарше — Павлом Григорьевичем. И заметил еще: всегда доверчиво относились к нему бабы-ягодницы, без опаски шлн за ним в самые глухие места, какие бы он ни указывал. Видно, молва шла о нем хорошая, добрая. И то сказать — ни разу нн одним словом, ни намеком не обидел он ни одну женщину.

Не удержался он лишь однажды, когда незнакомая колмогоровская — видно, из приезжнх — бабенка Настасья откровенно упрашивающим взглядом заставила его присесть с ней на ласковую травянистую полянку. Было ей лет под сорок, крепкая и чистая, она и потом нногда прибегала к нему в лес, приходила, таясь н краснея, в его сторожку, ночевала иногда. Она, овдовевшая еще в сорок четвертом, согрела его щедрым женскнм теплом, пробудила в нем что-то неприятное, тоскующее.

— Вышла бы я за тебя, Павел, — сказала она однажды. — И не было бы счастливей меня бабы... Да не могу, дети отца живого помнят, не примут никогда тебя. Переломается все в душах их...

— Ты, Настасья, хорошая, сердце у тебя золотое, — ответил ей на это Демидов. — Но не обессудь — не взял бы я тебя. И никого никогда не возьму, один буду...

— Это почему, Павел? — спросила она, глядя на него с материнской тревогой. — Я вот давно примечаю: замерзлая у тебя душа будто, захлопнутая какая-то. Что такое у тебя в жизни вышло? Человек ты добрый, ласковый, а вот один. Попиваешь чуть не каждый день... Отчего?

— Не спрашивай об том. Не к чему людям знать...

— Как там Макшеевы у вас живут? — спросил он у нее однажды.

— Денис с Марией-продавщицей, что ли? А кто их знает... Денис этот — клещ из клещей, должно. А тебе-то почто? — спросила она, ревниво пошевеливая бровями.

— Так... Знавал я их в молодости. Потом... Потом уехать с этих мест надолго пришлось. А это как — из клещей?

— Сосет он, сдается мне, кровь из бабы. Он на фронте был, приехал с костылем, привез две брички всякого барахла — не знаю уж, кто ему надавал его. Подарки, говорит, герою-фронтовику. Дом сразу крепкий поставил. Да и без подарков этих жизнь у них полная чаша. Продавщица она, Мария, без стыда обвешивает, обсчитывает, обмеривает. И, окромя того, без совести ворует.

— Ты откуда знаешь? — с обидой даже спросил Демидов.

— Я что, слепая? Да и люди говорят. Еще когда он на фронт поехал — жену продавщицей поставил. Он, говорят, до войны председателем сельсовета был. От какого-то поджигателя колхоз, что ли, спас, ну, его в председатели и выбрали.

— Во-он что, — буркнул Демидов. — Как героя...

— Герой. Сейчас боров боровом, а не работает. Инвалид войны, говорит. Костыль давно бросил. А слух в народе живет — жену с магазину все тянуть заставляет. Даже бьет, говорят, коли за месяц меньше его расчету стащит.

— Так уж и бьет? Так уж и план ей на воровство спускает? — опять с явной обидой промолвил Демидов. — Кто этому свидетель?

— От людской молвы чего утаишь...

— Мало ли о чем болтают...

— Павел! Ты спрашиваешь, я отвечаю как оно есть. А ты будто обижаешься на мои слова. Что они тебе, Макшеевы?

— Ничего.

Так и не разъяснил ей ничего Демидов, оставил в недоумении.

То, что рассказала ему Настасья, Павел знал. Все говорили примерно одно и то же. И ненависть к этому человеку наслаивалась слой за слоем, росла, как снежный ком, катящийся с горы.

Лицом к лицу с Денисом, однако, никогда не встречался, хотя рядом с ним бывал часто. Поедет ли Макшеев за хворостом, пойдет ли ловить рыбу — рыбак он был заядлый, ловил, правда, всегда удочкой, не браконьерничал, — Демидов, научившийся ходить по лесу бесшумно, не один километр прошагает, бывало, за ним следом, не один час просидит в береговых зарослях, наблюдая, как таскает Денис окуней или хариусов. Ловя рыбу, он глох ко всему окружающему, лицо его делалось бессмысленно счастливым, удовлетворенным. Сняв с крючка сильную рыбину, он почти каждую, прежде чем бросить в ведро, некоторое время держал в руке. И Павел, глядя на Макшеева, догадывался и понимал, что тому нравится ощущать, как упруго выгибается рыбина, бессильная теперь вырваться из его кулака.

В сердце Демидова в такие минуты толчками долбила кровь, мелькала, затуманивая глаза, страшная мысль: прицелиться из ружья в это взмокшее от животной радости лицо, да и... Но каждый раз в ушах колотились со звоном слова Агафонова: «А мстить, мараться об него — побрезговал бы...»

С Марией Демидов тоже никогда не встречался, водку, к которой, отчетливо сознавая весь ужас этого, пристрастился окончательно, покупал в соседних деревушках. Но однажды, понаблюдав вот так за Макшеевым, не таясь вышел из кустов и, закинув ружье за спину, пошел в Колмогорово. Макшеев, увидев поднявшегося из зарослей бородатого человека, вздрогнул, вскочил на ноги. Узнал или нет Макшеев его, Павел понять не мог, но видел, что тот испугался до смерти, даже челюсть бессильно отвисла.

«Не узнал, где узнать... — думал Павел всю дорогу, вплоть до деревни. — А в штаны наклал, дядя. Не тот, видать, стал ты, Денисий. Ну, погоди, погоди... Действием я тебя и в самом деле не трону...»

Демидов направился было к магазину, но на дверях висел замок. Тогда спросил у кого-то, где живут Макшеевы.

Через порог их дома он переступил, зная, как отомстить Макшееву за изломанную свою жизнь. Переступил и сказал жене Дениса, которая гладила электрическим утюгом белье:

— Здравствуй, Марька. Вот я пришел... Должок твоему мужу отдать.

— Какой должок? — повернула она красивое лицо к Демидову. — Ты кто такой? Чего у Дениса брал?

— Да я ничего. Это он у меня брал. Всю жизнь он у меня взял...

— Погоди, что мелешь? Какую жизнь?..

— А какая бывает у человека? Взял и переломил через колено, как сухой прутик.

И прежде чем замолк его голос, узнала она, кто стоит перед ней, опустила раскаленный утюг на дорогую шелковую рубашку мужа. Вмиг отлила вся кровь с ее лица, глаза сделались круглыми, закричали беззвучно от боли. А голосом глухим и осипшим произнесла:

— Павел...

Отмахнулась дверь, вбежал Денис Макшеев. Он, видимо, шел, обеспокоенный до края, следом за Демидовым. Вбежал, глянул с порога на Павла, челюсть его опять отвалилась и теперь затряслась. Заблестели в темном рту металлические зубы. Мария отшатнулась к мужу, и оба они раздавленно прижались у стены.

— Это он, он... Павел Демидов! — выдохнула Мария. — Откуда ты?!

— Я вижу, вижу... — как ребенок, проговорил Макшеев. Глаза его трусливо бегали, не зная, на чем остановиться.

— С того света, — усмехнулся Демидов.

— Я говорила, он придет, придет...

Запахло паленым. Демидов, не снимая ружья с плеча, подошел к столу, поднял утюг.

— Какую рубаху спортили, — сказал он ровно, без сожаления. Потом сел тут же, у стола, на табурет, поставил ружье между ног. — Ну слушай, Мария, чего он у меня взял, какой долг я должен заплатить ему. Я все расскажу, а ты, Мария, запоминай...

И он долго рассказывал им, не торопясь, без злости в голосе все-все, как рассказывал не так давно Агафонову. Рассказывал будто о ком-то постороннем, а они слушали, все так же прижавшись друг к другу, не шелохнувшись, не в силах прервать его. Лицо Макшеева только мокло все обильнее, с него капало.

— Ну а остаток жизни ни к чему теперь, не дорожу я им, — стал заканчивать Демидов. — Но уйду я в могилу чуть попозже тебя, Денисий. То есть прежде расплату с тобой произведу по чести. Я мог бы сотню раз уж произвесть ее. Давненько уж этак: ты по лесу идешь или едешь, а я следом, незамеченный, за тобой, скрадываю тебя, как зверя. Сегодня, к при-

меру, с самой зари наблюдал твое рыболовство. Или сейчас вот: кто мне помешает расплату сделать? Патрон для тебя давно тут приготовлен, — Демидов похлопал по ружью. — Но... охота мне, дядя, поглядеть, как ты к смерти готовиться будешь. Так что давай. Бить я тебя перед этим, как ты меня, не буду. Пристрелю просто, как только где... — в лесу ли, в поле ли — попадешься мне в ловком месте.

И встал, пошел к порогу.

— Врешь... не посмеешь! — скрипуче выдавил из себя Макшеев, стирая ладонью пот со щек.

— Ну, я сказал, а ты слышал, — произнес Демидов спокойно, зная, что Макшеев помнит свои слова... — Судьбу свою ты добровольно выбрал.

И, не глядя больше на них, вышел.

7

И началась у него с Денисом Макшеевым жизнь, как игра в кошки-мышки. Макшеев Денис поверил всем его словам до единого, перетрусил до края, рыбалки прекратил, во всяком случае, в одиночку рыбачить теперь никогда не ходил, держался все время на виду у людей. Демидов в неделю раз ходил в магазин Марии за водкой, за всякой снедью и, если в магазине никого не было, спрашивал:

— Как он там, Денисий наш с тобой? Еще жива душа в теле?

Сперва Мария молча отпускала ему товар, брезгливо бросала на прилавок бутылки, сохраняя на красивом лице оскорбленную гордость. Потом начала пошмыгивать носом, беззвучно плакать. А однажды истерично разрыдалась:

— Изверг ты, паразит! Закрыл ты нам все небо.

— Почему вам? Ему только. Тебя вот, детей твоих я не трону. Пущай растут.

— Да ведь ты это, ежели обсказать кому, пожаловаться властям — чем ты ему грозишь?!

— А что ж не жалуется? Я разве запрещаю? Пущай идет куда надо, все обсказывает — за что я его хочу, почему... Да и ходить не надо, с участковым милиционером, гляжу, подружился, на рыбалку вместе похаживают. Пусть ему и обскажет все, признается, кто колхозную ригу сжег тогда...

— Как я ненавижу тебя! Как ты встрял поперек моего пути, душегуб проклятый!

— Эвон что! А я так тебя жалею.

— Что-о? — заморгала она мокрыми ресницами.

— А только не убережет его никакой милиционер, так и передай своему Денисию, — ожесточаясь, пообещал Демидов.

Вскоре Макшеевы быстренько собрались, продали дом и уехали, держа свой маршрут в тайне. Демидов усмехнулся, пошел к железнодорожному кассиру, тоже рыбаку, с которым познакомился в тайге. Тот, ничего не подозревая, сообщил, что взяли Макшеевы билеты, сдали багаж до одной маленькой станции на берегу Байкала. Демидов уволился с работы, попрощался с плачущей Настасьей, поехал следом. Там поступил опять в лесники, со стороны наблюдал, как устраивались на новом месте Макшеевы. Купили они хороший дом. Мария, как и прежде, стала работать в магазине.

И однажды ранним утром, подождав, пока Макшеев наладит и закинет в озеро удочку, вышел к нему на берег, не снимая с плеча ружья.

— На новоселье, что ль, решил рыбки подловить? Пригласишь и меня, может?

Словно током стегануло Макшеева, вскочил он, сделал шаг назад по обломку скалы, чуть не упал в холодную байкальскую воду. Лицо его было зеленым, под цвет этой воды.

— Не бойся, сейчас не трону, людно тут. Эвон рыбаки на баркасах плывут на промысел.

И повернулся, ушел в тайгу, которая начиналась прямо от берега, оставив ошеломленного, забывшего про свои удочки Дениса на обломке скалы.

...И еще раза два-три меняли местожительство Макшеевы, надеясь скрыться от Демидова. Но он был теперь начеку, следил за каждым их действием, заранее знал их конечный путь. И объявлялся там, едва они как-то устраивались.

Доведенный до отчаяния, Макшеев как-то, пьяный, выкрикнул в лицо Демидова:

— Отравлю, отравлю я тебя, паразита! Заставлю Марию в водку... или в продукт какой мышьяку подсыпать! Сдохнешь, как крыса...

На это Демидов расхохотался прямо ему в лицо и сказал:

— Вот бы хорошо-то! И рук бы я об тебя не замарал, и в тюрьму с Марькой вместе вы бы до конца жизни угодили. Давай... Мне-то жизнь моя так и так не нужная, а ты спробуешь, что оно такое — тюрьма. Узнаешь, каково оно мне было, об своем поганом нутре поразмышляешь. Время для этого там хватит тебе...

Иногда Демидов думал: неужели Макшеев не догадывается, что он, Демидов, ничего ему не сделает, пальцем даже не тро-

нет, что все угрозы его — пустые звуки? И отвечал себе: видно, не догадывается, дурак. И пусть...

Думал также иногда: а не жестоко ли он наказывает Макшеева? Ну сделал тот подлость. Что ж, бог, как говорится, пущай простит ему. Худо ли, бедно ли, жизнь его, Демидова, както теперь идет. Девчушку удочерил вот, растет она, приносит ему много забот да еще больше радостей. Теперь и жениться бы, да где найдешь такую, как Настасья. Пить бросить бы, да разве бросишь...

И обливалось сердце Демидова едкой обидой, опьяняла его эта обида пуще водки: нет уж, пущай, мразь такая, и он до конца чашу свою выпьет!

Но все же, наверное, давным-давно отстал бы Демидов от Макшеева Дениса: отходчив русский человек, какую-какую обиду только не простит — если бы не убеждался время от времени, что душа Дениса еще подлее становится. Нет, угрозы насчет мышьяка Павел не опасался, потому что понимал: Макшеев на это никогда не решится, подлость его особого рода...

Как-то Мария, выдавая Демидову очередную партию зелья, сказала:

— Зайди к нам, Павел... Денис просил позвать. Поговорить хочет с тобой по-деловому.

— Как, как?

— По-деловому, сказал он.

— Интересно это, однако. Айда.

Денис встретил его, сидя за столом в рубахе-косоворотке. Руки его лежали на столе, пальцы беспрерывно сплетались и расплетались, глаза виляли из стороны в сторону.

— Интересно даже мне, говорю. Ну!

— Выйди, Мария. Дверь припри! — приказал Макшеев. — Значит, вот что, Демидов, давай по-мужски. Мне от тебя терпежу больше нету, и я решился...

— На что?

— Не перебивай... — Он опять повилял глазами. — Ты ж понимаешь, я пойду и заявлю: преследуешь ты меня... Угрозы теперь делаешь всякие за то, что разоблачил тебя тогда как поджигателя. И мне, а не тебе поверят.

— А мне это без внимания, что поверят, — усмехнулся Демидов. — Я свое отсидел, и, пока с тобой не поквитался, никто больше меня не посадит, заявляй не заявляй...

— Ты погоди...

— А славу себе создашь у людей... Они, люди-то, не знают твоего черного дела, так узнают.

— Погоди, говорю... — Голос его был торопливый и заискивающий. — Давай, чтоб с выгодой и для тебя и для меня.

Сузив глаза, Демидов пристально глядел некоторое время на Макшеева. Спросил:

— Это как же?

— Что было меж нами — прости... Покаялся уж я бессчетно раз. Да что ж, не воротишь. Теперь девчушку вот ты взял, ростишь...

— Говори прямо, сука! Без обходов.

Макшеев будто не слышал обидного слова.

— Возьми от меня деньги, Павел. Много дам... — Макшеев дышал торопливо и шумно. — Вот, если прямо... Оставь только нас с Марией.

— Так... Сколько же?

— Целую тысячу дам. Дочку тебе ростить... Еще больше дам!

— Краденых? Марией наворованных?

— Ты! — Макшеев вскочил, чуть не опрокинув стол. Грудь его ходуном ходила. — Тебе что за забота, какие они?!

Демидов резко шагнул было к Макшееву, тот откачнулся.

— Дешево, выродок ты человеческий, откупиться хочешь, — раздельно произнес Демидов и ударил ладонью двери, выбежал, будто в комнате ему не хватало воздуха.

В сенях он услышал рыдание Марии, примедлил шаг. «Как ты только живешь с ним, с таким?» — хотел сказать он, но не сказал. Шаг примедлил, но не остановился.

В другой раз случилось еще более страшное.

Было это в причулымской тайге в конце мая или в начале июня — в ту пору уже замолкли соловьи, но кукушки еще продолжали кричать тоскливо и безнадежно.

Примерно в полдень, когда лес был пронизан тугими солнечными струями и залит хмельным от млеющих трав жаром, у сторожки Демидова появилась вдруг Мария с плетеной корзинкой в руках.

— Ты? — удивленно спросил Павел.

— Вот... грибков поискать.

— Какие пока грибы?

— Масленки пошли уж, сказывают. Места тут незнакомые мне еще укажешь, может.

Мария говорила это, поглядывая на возившуюся со щенком приемную дочь Павла Надежду, и лицо ее то бралось тяжелой краской, то бледнело, покрывалось серыми, неприятными пятнами.

Одета она была не по-грибному, легко и опрятно, в новую, голубого шелка кофточку с дорогим кружевным воротником, в

сильно расклешенную, не мятую еще юбку. Вырез у кофточки был глубокий, оттуда буграми выпирали, как тесто из квашни, рыхлые белые груди, умело прикрытые концами прозрачного шарфика, накинутого на плечи.

— Ты как невеста, — сдержанно усмехнулся Демидов, запирая в себе ярость.

— Что ж... я пришла, — проговорила она, не глядя на него. — Веди на грибное место.

— Что ж... пойдем, — в тон ей ответил Демидов. — Ружье сейчас возьму вот.

Догадка, зачем явилась Мария, мелькнула у него сразу же, едва он увидел ее, подходящую к сторожке. Мелькнула, сваривая все внутри: «Неужели и на этакое они... они, Макшеевы, способны?!» Теперь, после ее слов, всякие сомнения на этот счет исчезли...

Полтора года назад приехали сюда, в Причулымье, Макшеевы. Следом, как обычно, явился и Демидов.

— Я тебе давал деньги большие? Давал! — закричал, обессиленный вконец от такого неотступного преследования, Макшеев, встретив Демидова в поселке.

— Давал, давал, — согласился Павел.

— Что ж тебе еще-то надо? Скажи, сволочь ты такая, что?! Какую плату заплатить, чтоб отстал? Дом мы тут купили крестовый, просторный — возьми со всем, что в нем есть. Получай его в придачу к тем деньгам, что обещал, и живи...

Демидов принял дозу спиртного, ставшую давным-давно привычной для него, был добродушен, в хорошем настроении. Бессильная ярость Макшеева веселила его.

— А что ж, надо прикинуть. Значит, те деньги да дом... — проговорил он задумчиво.

— Ну? Бери, бери!

— Не-ет, мало. Еще должок с Марии остается.

— Какой? — сразу осипшим голосом спросил Макшеев.

— Ишь ты! С чьей кровати ты увел-то ее?

— Н-ну?

— Пущай и она расплатится со мной, — жестко сказал Демидов и пошел прочь, оставив Макшеева столбом стоять посреди пустой улицы.

Демидов сказал и забыл, сказал просто так, чтобы еще больше позлить врага своего. Что ему дом, деньги и все прочие блага мира! Простил бы он своего обидчика и так, если б мог. Да не может...

А Денис Макшеев, видно, принял его слова за чистую монету, и вот решились они, Макшеевы, вот явилась к нему Мария,

не понимая, не догадываясь, что не прощение принесет из тайги своему Денису, а еще большую его, Павла Демидова, ненависть. Вот идет Мария чуть впереди, в общем ладная, пышнотелая женщина, мелькают ее крепкие, в тонких дорогих чулках ноги, она не подозревала, что внутри у Павла все немеет и немеет, будто стылью берется, что хочется ему схватить палку, сук какой-нибудь и обломать его об это бесстыжее, раскормленное тело.

Что ж, так оно примерно все и произойдет, решил про себя Демидов. Но перед тем хочется ему еще кое-что спросить у Марии, узнать хочется, до какого предела может быть человеческая низость.

— Нету еще грибов, Мария, — сказал он, останавливаясь на глухой поляне, полыхающей таежными цветами. — Поздно нынче пойдут грибы, и мало их будет. В первый день масленки снегу не было, не шел снег, значит, и не грибное нынче лето будет.

Он сел на траву, поставив ружье под дерево. Мария опустилась на корточки, начала рыться в корзинке, вынула и поставила на траву бутылку.

— Раздевайся! — бросил он ей отрывисто.

Она вздрогнула, медленно, с трудом выпрямилась, руки ее упали вдоль тела.

— Павел... — Лицо ее опять пошло пятнами, вспухло, будто его наели комары. — С ходу-то этак... Может, выпьешь сперва?

— Стыдно, что ль, на трезвые глаза? Сымай, сказал, все с себя.

Она еще раз вздрогнула, стащила с головы шарфик. Чуть отвернулась и начала снимать чулки...

Демидов сидел, опустив голову; он не видел, но чувствовал, как она с трудом расстегнула и стащила кофточку, сбросила юбку, оставшись в нижней рубашке.

Ему стало жалко ее. Возникли вдруг, поднимаясь откуда-то изнутри, злость и презрение к самому себе за то, что он заставил ее раздеваться.

— Вот что скажи, Мария... объясни. Как это вы договорились до этого? Словами ведь, поди, разговаривали? Днем али ночью это было? Как... как решилась ты?!

— Как, как?! — Пышное тело ее все тряслось, волосы рассыпались, щеки, губы раскисли от слез. — Он меня поедом съел. «Не убудет от тебя, он, может, отстанет тогда от нас...»

— А ты?

— Что я?

— В самом деле противно тебе?

Она замолчала, молчком вытирала слезы.

— Не знаю... Когда-то я любила тебя. Иногда думаю: счастливая ведь я была бы с тобой, кабы не он.

— Что ж не уйдешь от него?

— Не уйдешь... А куда? К кому? Ты разве принял бы меня теперь?

В голосе ее было что-то такое неподдельное, какие-то тоскливые нотки. Ему еще более стало жаль Марию.

— А вот, допустим, принял бы. Ты видишь, я не женюсь. А почему?

— Павел?! — Глаза ее, мокрые, широко раскрытые, сгорали от изумления. — Неужто... Неужто еще ты меня... еще осталось что у тебя ко мне?

— Нет, ничего не осталось, — ответил он. — Все спалила тюрьма, плен потом.

— За плен-то Денис не виноват. И без того на фронт тебя взяли бы, а там могли тебя захватить...

— Ишь ты, хоть где-то, да оправдываешь его? Как все вывела...

Мария испугалась этих слов, сказанных сурово и враждебно, горячими ладонями схватила его руку, но тут же выпустила, чуть отшатнулась, проговорила, торопясь:

— Я не оправдываю! Я не оправдываю...

— Вот езжу опять же за вами всюду; таскаюсь как хвост.

— Так это известно — зачем, почему.

— Известно. — Он скривил губы. — Людям известно, что Христос по морю пешком ходил. А никто этому всерьез и не верит.

Прилетела тяжелая от взятка пчела, повилась вокруг полураздетой Марии, села зачем-то на ее оголенное плечо. Мария даже не заметила этого. Она все так же изумленно, широко раскрытыми глазами смотрела на Павла, открытый лоб ее бороздили временами набегавшие морщины.

— Нет, я не смогла бы с тобой.

— Почему? Противный шибко стал? Не противней вроде твоего Денисия.

— Не в том дело. С лица воду не пить.

— Почему ж тогда?

— Ты ж, я чую, запретил бы мне... работать в торговле.

— А зачем? — усмехнулся он. — Работа для людей нужная.

— Ну, не позволил бы... Этого...

— Воровать? — подсказал ей Демидов.

— Фу, какое слово!

— Обыкновенное. Воровка ведь ты.

— Ты! — Она тяжело и гневно задышала. — Ты так понимаешь жизнь, а я — этак. Жить надо умеючи, как... как...

Она совсем задохнулась, и Демидов опять подсказал ей:

— Как Денисий научил тебя?

— Да, научил! — истерично выкрикнула она. — Он, Денис, не в облаках летает, на грешной земле живет. Он цепкий, не проворонит, что мимо рта пролетает... Он такой, я это еще тогда почувствовала, когда женихались мы с тобой. Он человек жесткий, да... Рука у него тяжелая, да мужик! Он на что угодно пойдет, лишь бы место половчее... потеплее под солнышком отвоевать. А ты что такое? Всю жизнь так в тайге и проживешь. Если бы принял ты меня, говоришь? А жить на что бы стали? На твою лесниковую зарплату? Смех один, а не деньги. По миру пойти — больше собрать можно за день...

Она говорила еще долго, он слушал, покачивал иногда головой, будто соглашался. Потом взял ружье и зачем-то отстегнул от него широкий, тяжелый, залоснившийся от грязи и от пота ремень.

— Ты что? — сразу спросила она, умолкнув на полуслове. Брови ее изогнулись и поползли кверху, обещая вот-вот разломиться.

— Он и на это, значит, пошел, чтоб спокойствие на земле обеспечить себе?

— Да, и на это! — будто даже гордясь, выкрикнула она. — И я, по рассуждению, поняла: а что ему остается, коли никак иначе не избавиться от тебя? Не травить же, в самом деле, мышьяком. Была нужда — в тюрьме за тебя гнить. На, животина противная, мое тело, наслади свою похоть! Исподнюю-то рубаху скидывать, что ли?

Глаза ее горели теперь каким-то бешенством, неуемной злобой.

— Исподнюю не надо, — сказал он и, не вставая, вытянул ее ремнем по плечу.

— Пав... Пашка! — воскликнула она.

— Исподнюю не надо! — он тоже поднялся, пошел к ней грузно. Она, закрывая голыми руками лицо, отступала. — Исподнюю не надо, не надо...

Бросив вдруг в траву ремень, он взял под мышку ружье.

— Животное-то не я, а ты! Да еще пуще, видно, твой Денисий. Убирайтесь отседова, чтоб духу вашего я не слышал тут... А я тут человека буду в себе обнаруживать, как мне когда-то один умный человек посоветовал.

И, не заботясь о том, что она не понимает его слов, может быть, даже не слышит их, ушел.

Под осень Макшеевы собрались и уехали на Обь, в село Дубровиио. Три года прожил в причулымской тайге Демндов, убеждая себя, что он обнаружил в себе человека н, значит, отстал теперь от Макшеевых навсегда. Но убедить не мог н однажды по весие перевелся в Дубровииское лесничество, что иа великой п тихой реке Оби...

8

Давио кончились дожди и всякая слякоть, припорошнло снегом и село Дубровино, и тайгу, и лесиые дороги. Грииька давно катался иа лыжах с приобского откоса, возвращаясь домой румяиым от морозца, а Обь все катила мимо мазанкн Демидова свои чериые, тяжелые волны, обтекая заснежеииый островок посреди реки. Там, за островком, был глубокий омут, богатое зимнее рыбье лежбище, по первому льду щедро бралнсь на подергушку килограммовые окуни, громадные лещн, «лапти», как называли их рыбаки. Иногда ловилась даже иельма, редкая теперь в Обн рыба.

Накоиец могучая река обессилела окончательно, волиы стали ниже и ровиее, густо потекло «сало», образовались широкие забереги. Только по стрежню, где течеиие было на глаз иевиднмым, ио, знал Демидов, тугим и могучнм, тянулась полоса чистой воды. У Дубровииа стрежень проходнл довольно далеко от берега, заворачивал за островок.

Чистая полоса воды день ото дня становнлась все уже. По утрам, а иногда и под вечер эта незамерзшая полоса густо дымилась — мороз выжимал из реки последнее тепло, иакопленное за лето.

— Ишь, мороз-морознло, добрая сила... Молодой, а старательный, — сказал однажды Демидов, глядя на реку.

Грииька привык к неожидаииым мыслям отца об окружающих вещах, о природных явлениях, только не всегда понимал нх.

— Что хорошего в морозе-то? — возразил ои. — Холодно ведь. Кабы лето все время стояло — это лучше.

— Ну! А вот на лыжах ты кататься любишь... Это как? Без мороза-то бы, без сиега? А?

— На лыжах — это хорошо. Только не обязательно, чтобы мороз был сильный.

— Землю-то тоже надо ему укладывать спать. А она баловиица, земля, иелегко угомснить ее, как мне, бывает, тебя. Вот ои н ярится, как я. Но разве я со злом покрикиваю иа тебя? И он, выходит, тоже по-отцовскн ворчнт. Разве не добрый он?

— А для чего земле спать ложиться? — спрашивал сосредоточенный Гринька.

— А как же, сын? — хмурясь, будто сердясь на Гринькину непонятливость, говорил Демидов. — Вот ты не поспи-ка ночь, не отдохни — ну-ка?! На другой день каков будешь? Вялый, никудышный, в школе урок не запомнишь. Бессильный ты будешь... И земля отдыхать должна. Человек ночью отдыхает, а земле для того зима отведена, сын.

— Да что ей отдыхать-то? — не унимался Гринька. — Она — земля и земля, не живая ведь. Она не устает.

— Это как не устает? Не-ет! Она как раз и живая, Гринь, земля-то. Вот ты подумай сам... Утром человек просыпается — румяный, сильный, веселый. И земля весной тоже. Человек с утра делом начинает заниматься — кто на работу, кто на учебу... И земля тоже за дело с весны принимается — прорастают на ней травы, всходят посевы, деревья листвой одеваться начинают. Все растет, земля соком питает их своим, какой за зиму накопила. А чтоб каждое хлебное зернышко, каждую ягодку, каждый листок вырастить, сколько сил надо?

Гринька думал, что-то представлял, видно, себе, отвечал уже осмысленно:

— Да... Много.

— То-то и вопрос. А, окромя того, сколько еще разных дел земля делает? Река вот все лето пароходы на себе носит, ветры поля и лес новыми семенами засевают, в этих полях и лесах зверье разное произрастает... И мно-ого всего другого. А все для кого, а?

— Что — для кого?

— Земля все это делает?

— Ну так... по природе у нее так получается.

— Для человека все это она делает, Гринька! — пошевеливая бровями, говорил Демидов. Говорил таким тоном, будто не только для сына, но и себя хотел убедить в этом. — Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе — человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?

— Ага.

— Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет никогда у тебя душа... какую бы подлые люди ни сделали тебе подлость.

Наверное, подумал Демидов, последних слов сыну говорить пока не стоило, потому что Гринька тут же принялся сыпать вопрос за вопросом:

— А подлых-то много людей на земле?

— Встречаются.

— А земля их тоже любит?

— Нет... Не любит таких.

— А почему они подлыми получаются?

— Не знаю... Такими вырастают вот.

— А тебе встречались такие?

— Попадались, сынок.

— А что ты с ними делал?

Да, что он с ними делал? Не надо, не надо бы произносить ему тех слов. Как вот теперь ответить на простой, на очень простой и бесхитростный вопрос сына?

— Пошли спать, сынок. Айда, айда, поздно уж, — заторопился он. И уж там, в комнате, лежа в постели, чувствуя, что сын ждет все же ответа, проговорил: — Что я с ними делал, Гринька? Ох, Гринька, Гринька!.. Вырастешь, может, и лучше меня поймешь, что с ними надо делать.

— Значит, ты плохо понимаешь?

— Плохо, видно, сынок.

— А я хорошо, — сказал мальчишка, помолчав.

— Ну? — Демидов даже привстал на кровати, поглядел в ту сторону, где лежал сын, будто и в самом деле Гринька мог сообщить ему что-то необыкновенное, какое-то великое откровение, которое он искал всю жизнь и никак до сих пор не мог найти.

— Их надо, папа, один на один с землей оставлять и никогда-никогда не помогать им.

— Что-что? — Демидов сел на постели. Сквозь мрак он не видел сына, слышал лишь, что и Гринька поднялся с подушки.

— Я ведь тоже думал, папа, что земля, наверное, живая и и добрая к тому, кто ее любит, кто понимает и умеет с ней обходиться, — сказал Гринька почему-то со вздохом. — И ягодкой в лесу угостит, и с ручейка напоит...

— Ну?

— А вот помнишь — мы еще в сторожке жили, — браконьерщик один лося застрелил?

— Как же... Я сколько за ним гнался тогда, за паразитом, по тайге, пока на берег Оби не выгнал.

— Ну да. Он еще стрелял в тебя.

— Стрелял, сынок. Не попал только, торопился шибко.

— Я знаю, ты рассказывал. А потом, как выскочил на берег, чтоб в лодке уплыть, ногу в каменной расселине завязил и сломал.

— Так... Так что?

— А то... Добрых людей она любит, а нехороших и сама на-

казывать умеет. Земля — она с ним и рассчиталась, раз он подлец. И надо было его там и оставить, пущай бы... — сурово проговорил Гринька. — А ты его... на его же лодке в больницу отвез.

— Так... Так, так, — опять трижды произнес Демидов глухо и неодобрительно.

— А чего же с ними, раз они?.. — воскликнул горячо Гринька. — Он же еще и в тебя стрелял, не только в лося. А ты ведь не животное, а человек.

Что было ответить на это сыну? А отвечать надо, Демидов это чувствовал и понимал.

— Ты вроде, с одной стороны, и прав, Гринька... — Демидов взбил подушку. — А с другой, выходит, и нет. Сердце-то у меня есть, али что вместо него? Он, верно, мошенник, тот мужик... Да ведь и человек же, какой ни есть. Подыхать, что ли, его оставлять было?

— А он бы тебя повез в больницу, коли б ранил?

— Да... С одного боку-то, говорю, правильно ты. А с другого...

— С одного, с другого. По справедливости надо действовать, — не сдавался Гринька.

— Справедливость... Это тоже, сынок, штука мудреная, много сторон имеет. Каждый ее по-своему, видно, понимает.

— Чего по-своему? Есть же самая справедливая справедливость?

— А вот вырастешь — поймешь, есть ли, нету ли... Ты лучше меня поймешь. А теперь спи, спи, допросчик этакий.

Последние слова Демидов произнес сердито. Сердился он на самого себя, понимая, что не объяснил, не смог объяснить сыну чего-то очень важного и нужного для него...

9

Наконец и самый речной стрежень схватило ледяной корочкой, присыпало снежком, и широкая река стала совсем пустынной и унылой. От берега до берега лежало белое, чистое пространство, такое чистое, что, казалось, никто никогда не посмеет ступить на него, никто до самой весны не потревожит покоя уснувшей реки.

Но Демидов знал, что это не так, что еще день-два, окрепнет еще немного ледок, и истопчут это белое покрывало люди. Первыми появятся на реке рыбаки. В самом Дубровнике, кроме мальчишек, рыбаков почти нет, разве вот Денис Макшеев, всегда жадный на это дело, да еще два-три старика. А из города, что

лежит километрах в семидесяти вверх по течению, нахлынут тучи их. Все знают эту зимнюю рыбью стоянку за островком. Сегодня среда, вечером в пятницу и нахлынут, под двойной выходной. Мария это тоже знает, вчерась еще завезла из райцентра неисчислимое количество ящиков водки. И чуть не до утра будет гореть в Дубровине «волчье око». Сама-то Мария к полночи ляжет спать, а Денис до утра будет торчать за красноватой занавеской, выдавая каждому бутылку без сдачи.

При воспоминании о «волчьем оке» Демидов вдруг подумал, что он с тех пор, как разбил бутылку о стену макшеевского дома, не выпил ни капли. И странное дело, ему не хотелось. «Неужто не потянет больше? Да хоть бы! Гриньку надо доращивать... Побалую-ка его ушицей завтра. Правда, самое уловистое место, самая богатая окунем яма — за стрежнем, поближе к тому берегу, туда еще идти опасно, на самом стрежне лед не окреп. Да и тут, у самого островка, ничего ловится... Завтра встанет Гринька, а у меня уж уха! Ешь, сынок, да в школу...»

На другой день Павел действительно поднялся до зари, взял приготовленную с вечера наживку, удочку, пешню. Когда вышел на улицу, ночь еще была настоявшаяся, плотная, звезды горели крупные, перезревшие. Но самая яркая звезда, названия которой Демидов не знал, падала в кустарник на острове. Это означало: скоро будет светать.

Лед, когда Павел шел к острову, тихонько иногда потрескивал. Но треск был не частый и тихий, не угрожающий, Демидов в этом разбирался. А вот на стрежень нельзя, думал он, нельзя — там не выдержит, проломится...

Еще он думал о Гриньке, о том, что так и не сумел разъяснить тогда парнишке, как поступать с подлецами и есть ли на свете самая справедливая справедливость. И что надо теперь, если и потянет к бутылке, ни за что за нее не браться...

Пока шел так не спеша и думал, начало зориться, краешек неба на востоке чуть разжижился.

Возле островка Демидов остановился, выбрал место, ударил пешней, с одного раза проткнул ледяную корку. Пешню он положил на лед и не успел разогнуться, как услышал хриплоистошное:

— Э-эу! Лю-ю... Спаси-ите! Люди! Лю-ю-ди!

Голос был искажен смертельным страхом. Но сколь ни был он искажен, Демидов мгновенно, едва послышались первые звуки, понял, кому принадлежит этот голос. Более того, Павел будто ждал его и не удивился, когда услышал. И еще более того — он уже знал, наверняка знал, что произошло там, за крохотным мыском острова, откуда раздался крик. И внутри у

Демидова что-то радостно екнуло, какая-то живая пружина, больно растянутая, соскочила с зарубки, сжалась, в одну секунду уняв многолетнюю боль. «Ага... ага!..» — дважды мелькнуло в мозгу удовлетворенно, успокаивающе. И охватило его чувство, будто неимоверной тяжести работа, которую он делал всю свою жизнь, наконец-то сделана, закончена, цель, к которой он стремился все эти годы, наконец-то достигнута...

Непонятно иногда, что происходит с человеком. И позавчера, и вчера, и сегодняшнее утро Демидов находился в смутном предчувствии чего-то небывало важного для него, ощущая, что приближается, все ближе и ближе подступает что-то такое, ради чего он мучительно жил все эти годы, ради чего, может, и родился. И это «что-то» было не объяснить, не понять...

— Люди-и! Лю-ю-ди! — опять разнеслось над пустынной рекой, под темным холодным небом, на котором горели миллионы звезд, не дававших света.

«Вот оно... Вот оно!» — вспышками сверкало в мозгу Демидова, и он, понимая, что надо идти, надо спешить на крик Макшеева, не трогался с места, ноги его будто прикипели к ледяной корке.

Да, непонятно, непонятно иногда, что происходит с человеком. Полчаса назад, выйдя из жилья, и несколькими минутами позже, шагая неторопливо по тонкому льду, Демидов Павел каким-то чутьем ощущал, что Денис Макшеев, ненавистный и смертельный ему враг, где-то здесь, неподалеку. Перебирая в памяти недавний разговор с Гринькой, слушая, как слабенько потрескивает под ногами, Павел думал еще, что неокрепший лед выдержит и грузную тушу Макшеева, лишь сильнее будет прогибаться и трещать. И у Макшеева тоже хватит ума не ходить пока за стрежень, к богатой рыбной зимовальной яме.

— Спаси-ите! — в третий раз донеслось до Павла. Голос Макшеева был теперь слабый, безнадежный, обреченный. «Ну да, понимает, кто ж услышит в такой час, — равнодушно подумал Демидов. И так же спокойно отметил: — Пошел-таки за стрежень, не хватило ума. И пущай, бог-то, видно, есть на свете...»

Думая так, Демидов, однако, торопливо шагал уже к островку, приближаясь к песчаному мыску. Почувствовав под ногами присыпанный снегом смерзшийся песок, вдруг обнаружил странное несоответствие своих мыслей и действий. «Пущай, а сам помочь вроде Макшееву тороплюсь. Нет уж... Я только издали гляну, как он... Нет уж!»

Но и подумав так, Демидов не сбавил шага. Выбежав из-за мыска, он увидел впереди, в начинающей синеть темноте, черное пятно на льду, пошел прямо на него, отчетливо понимая, что

идти не надо бы, что тоже может каждую секунду провалиться, ухнуть в холодную воду. Он даже представил себе, как это он ухнет — и сразу с головой. Течение тут сильное, за однудве секунды тело его пронесет подо льдом на метр-полтора и понесет дальше, он будет биться какое-то время головой о ледяную корку, пытаясь проломить ее, понимая, что не проломить, будет биться, с каждым мгновением задыхаясь все больше. «А там, дома, Гринька спит еще... Он проснется, станет ждать, когда я вернусь с улицы...» — это будет последнее, что мелькнет у него в сознании, мелькнет и потухнет...

— Скорей! Скорей, милый!

До Макшеева было метров десять. Но то ли этот крик, то ли угрожающий треск под ногами, а может, собственные мысли остановили Демидова, заставили бессознательно лечь на лед. Он лег, растянулся плашмя и ощутил, как больно колотится сердце. «Дурак, и в самом деле чуть не булькнул. А за ради чего бы?..» И еще ощутил под животом, под грудью, под локтями ужасную бездонную пучину, прикрытую тонюсенькой и хрупкой ледяной скорлупкой, услышал, хоть и понимал, что слышать этого нельзя, как тугие струи лижут из-под низу эту скорлупку. «Назад, назад! — стрелял кто-то ему торопливо в самый мозг. — Змеей ползи назад... вставать теперь не вздумай!..»

— Еще маленько придвинься, милый, — прохрипел Макшеев. — Лед сдержит. И брось мне чего-нибудь... Ремень...

— А ведь это я, Денисий. Здравствуй...

— О-о-о!

Бессильная ярость, обреченность, предсмертный хрип — все было в этом возгласе Макшеева, разрезавшем стылый воздух. Демидов ясно различил каждый оттенок в его голосе, усмехнулся, опять чувствуя удовлетворение, холодок в своем сердце. «А может, нахолодало оно сквозь полушубок ото льда?» — явилась вдруг откуда-то к нему непонятная мысль и заставила поморщиться.

Утро занималось по-зимнему, трудно и медленно, темнота все больше наливалась синевой и, казалось, не рассасывалась, а плотнела. Но Демидов все отлично видел в этой предрассветной мгле, различал даже потухающий блеск макшеевских глаз.

Голова его торчала из полыньи, не очень широкой, но длинной, метров в шесть. Поперек полыньи лежал длинный шест, Макшеев, обессиленный, висел на нем, а тугое, сильное течение пыталось оторвать его тело от шеста, уволочь под ледяную корку ногами вперед. «Видно, все же понимал, что, проходя стрежень, может провалиться, взял с собой шест на всякий случай...» — отметил про себя Демидов.

— Павел, Павел! — дважды воскликиул Макшеев. — Погибаю ведь...

Демидов вндел, что Макшеев погибает. Павел давно поиял, что тут произошло, почему такая длиииая полынья. Провалившись, Денис торопливо пытался выползти из полыньи, опираясь на шест, но хрупкий, тоикий лед подламывался и подламывался. Обломки немедленно затягивало под ледяную корку, уносило. Туда же тяиуло и самого Макшеева, но он снова вылезал на стылую кромку, н она сиова обламывалась. А тело сводило судорогой от холода и страха, силы уходили, вот уж их ие хватает, чтобы еще раз лечь грудью на лед. Ои висел на шесте крючком, ногн его были где-то подо льдом, за иих словно кто тянет все сильиее и сильнее, н скоро сдернет его со скользкой обмерзшей жердииы.

— Ты к кому за помощью-то обращаешься? Ты подумал бы.

— Павел! Павел! Павел! — В голосе Макшеева была мольба, способная пронять, казалось, и камень.

— Ишь ты, — бросил ему на это Павел зло и насмешливо. — А вот Гринька этак мне выложил недавно: подлюков человечьих с землей наедине надо оставлять. Порядочных-то людей земля любнт, а подлюков и сама умеет наказать. И ие иадобно ей мешать в этом... В этом, говорит, самая справедливая справедливость. А?

— Павел... Поимей человечиость!

— Ведь ребенок, а верио рассудил.

— Поимей, говорю...

— А ты нмел ее, когда там... в Колмогорове, возле риги молотил меня? Когда самолично в милицию отвез и поджог на меия свалил? Когда с моей невестой в кровать ложился?

— Я не имел... Я подлый, знаю... Но я ведь и оплатить свою подлость по-всякому пытался. Ты не захотел...

— А человечья подлость разве цену какую имеет? Нет ей цены. Ты это-то понимаешь?

— Не знаю... Не поиять мне. Я думал...

— И ие за подлость ты расплатиться хотел. Ты от меня избавнться хотел. Потому что боялся.

— Нет, я не боялся. Я зиал, что ты не убьешь меия, пальцем не троиешь.

— Это уж врешь.

— Правда, правда. Ну сперва, может, и думал, что... В самом деле боялся, что... Потом поиял — нет, не стаиешь ты...

— Мараться?

— Ага. Неприятио только было, что ты за нами все таскаешься... все рядом.

— Напоминало, что ль, это... об том, когда возле риги...

— Напоминало.

— Пожалел хоть когда об том?

— Чего тебя убеждать? Не поверишь.

— Не поверю...

Они, эти два человека, два старика, разговаривали теперь спокойно, будто сидели вечером за самоваром, вспоминали прошлое, пережитое. Если бы кто увидел, услышал — только по отдельным словам мог бы догадаться, что разговор их необычный какой-то. Да и по тем обстоятельствам, в которых они находились: один лежал на льду животом вниз, другой торчал в полынье, повиснув на тонкой жердине.

Но видеть их было некому.

Поговорив, они замолчали. Плечи Макшеева, торчащие над водой, были льдистыми, мохнатая баранья шапка тоже обмерзла недлинными густыми сосульками. Неослабное речное течение все тянуло и тянуло его под лед. Силы Макшеева, видно, покидали, он потихоньку сползал с шеста, плечи его все больше погружались в воду.

— Прощай, Денисий, — сказал Павел. — Сейчас тебя... Последние секунды дыхаешь.

Этот ровный голос, эти безжалостные слова будто вернули Макшеева к действительности, помогли до конца осознать то положение, в котором он находился.

— Павел... Павел Григорьевич! — воскликнул он, подвывая по-звериному.

— Ишь ты, и отчество вспомнил.

— Помоги же! Остаток дней буду молиться за тебя! Стелькой выстелюсь под тобой, а заслужу прощение твое... за все, за все! Помоги же...

— А как я, если б и захотел? Лед и подо мной лопнет.

— Не лопнет. Выдержит. Ты худой, легонький...

— Да и сладостно мне на твою гибель глядеть.

— Я тебе деньги обещал... ты не принял. Мало, может? Помоги — все отдам, все...

— А сколько это — все?

— Ну, три тыщи... Пять тысяч... Семь! Слышишь, семь!

— Мало. Рискую все же.

В голосе Демидова была насмешка, но Макшеев не заметил ее, не до этого ему было.

— Девять дам, девять! — закричал он, чувствуя, что его вот-вот сорвет с жердины. — Нету больше. Нету!

— Врешь, больше наворовали с Марией. Что ты все набавляешь по две тыщи? Прибавь еще... сразу с пяток.

И тут Макшеев завыл в полный голос, зарыдал, закричал, пропарывая сильно уже засиневший речной простор.

— Сволочь ты! Не человек ты! Все-все, сказал, отдам. И эти пять! И еще... Дом, все манатки продам... И все тебе, тебе... Бери все, подавись. Павел! Люди, лю-юди!

«От падаль... мразь такая!» — пламенем заметалось в мозгу Демидова, опаляя все под черепом. И там, под черепом, что-то начало трещать, но Демидов понимал, что это не под черепом, это лед трещит все сильнее и угрожающе, потому что он ползет, извиваясь, к полынье, а под черепом больно отдается этот треск. «Еще и в самом деле провалюсь. А там, дома, Гринька... Конечно, он не останется один, его Надежда возьмут с Валентином и вырастят. Муж у нее славный парнишка, он сроду не обидит Гриньку...»

Когда до полыньи осталось метра три-четыре, Демидов, все чувствуя, как прогибается под ним тонкая ледяная корка, перевернулся на спину, расстегнул полушубочный ремень, выдернул из-под себя. Затем расстегнул и выдернул брючный, начал их связывать.

— Скорей, Пашенька... Скорей, — услышал он.

— Ништо, продержишься... сволота вонючая... А нет — туда тебе и дорога.

И еще маленько подполз к страшной полынье Демидов, потому что и связанные ремни не доставали до Макшеева.

— Теперь так, Денисий... Хватайся за ремень, я потяну, а ты попробуй вскарабкаться на лед. Да чувствуй его крепкоту, шибко не дрыгайся. Без лишних толчков чтобы, иначе... А то я отпущу свой конец — и пропадай тогда.

— Я легонько, я легонько...

— Держи тогда.

Демидов свил в кольцо связанные ремни, бросил, стараясь попасть в голову Макшеева. И попал. Макшеев тотчас ухватился за спасительный конец. Демидов почувствовал: ухватился крепко, намертво.

— Теперь вылазь, — подтягивая ремень к себе, приказал Демидов. — Да гляди, потихоньку...

Лед, присыпанный снежком, все же был скользкий. Макшеев за ремень только держался, к себе не дергал. Он понимал, что, если начнет лихорадочно дергать, Демидов заскользит к полынье, тоже провалится, если раньше не бросит свой конец.

За ремень Макшеев держался правой рукой, а левой, обламывая ногти, хватался за кромку льда, пытаясь поднять тело из полыньи. Но это ему никак не удавалось.

Видя это, Демидов прокричал:

— Вверх по полынье продвинься! Вверх...

— Ага, давай...

Демидов, слыша, как стучат зубы Макшеева, не выпуская ремня, перевернулся на спину, потом снова на живот, откатываясь влево. И опять потянул, помогая продвинуться Макшееву вверх по полынье.

— Теперь так... ноги не свело судорогой?

— Не знаю... Не чую их. Нет вроде.

— Попробуй сейчас закинуть ногу на лед. Ну, давай. Ну?

— Ага, ага... Счас...

Макшеев понял, зачем Демидов приказал продвинуться вверх по полынье и что требует сделать теперь: течение распластало его тело вдоль полыньи, надо чуть подогнуть левую ногу и выбросить ее наверх, на лед, а потом... Только ноги вот не повиновались...

— Правильно, волк тебя съешь, — услышал вдруг он и догадался, что хоть ноги и не повиновались, хоть он и не ощущал их, а сделал, видимо, что следовало. — Теперь я потяну, а ты спружинь ногой и выкидывайся поосторожнее на лед. Ремни у меня крепкие, на твое счастье. Ну, по команде. Раз, два...

Слова «три» Макшеев не услышал. Он только почувствовал, что находится уже не в воде, что лежит на льду. Почувствовал и от охватившей его радости опять заплакал.

— Спасибо... Павел. Спасибо-о!

Первое слово он прошептал, последнее выкрикнул.

— Ты еще погодь радоваться, срамота. Отползай теперь от полыньи подальше. Ползи! В воде не скрючило, так сейчас замерзнешь.

И Макшеев беспрекословно пополз, лед под ним трещал, но выдерживал.

— Падаль ты, а приперло — людей на помощь закричал, — донеслось до Макшеева. Он оглянулся, увидел, что Демидов сидит на льду, пытаясь развязать ремни. Будто испугавшись, что старый лесник подойдет сейчас к нему и примется безжалостно, как Марию когда-то, полосовать тяжелым полушубочным ремнем, будто забыв, что снова может провалиться, встал на коленки, потом на ноги, пошел прочь. Пошел сперва осторожно и медленно разминая ноги, а затем постепенно стал прибавлять шаг. И наконец, чувствуя, что лед под ногой все крепче, что он почти не пружинит уже, побежал рысцой.

Демидов все сидел на льду, все глядел вслед Макшееву, пока тот не пропал за синим утренним сумраком.

Всю зиму Макшеев промаялся простудой, два раза лежал в районной больнице, а по весне, когда заговорили вешние ручьи, начал окончательно поправляться. В солнечные дни он, отощавший и облинявший, выходил, опираясь на палку, на улицу, садился возле дома на солнечном припеке, хмуро оглядывал улицу, проходивших по ней людей, о чем-то думал.

Несколько раз он видел шагающего в магазин или из магазина Демидова, провожал его тяжелым, ненавидящим взглядом. Демидов чувствовал, видимо, как тяжелеют бесцветные глаза Макшеева, ощущал их давящий взгляд. Он усмехался и проходил мимо. Макшеев замечал эту усмешку, складывал свои губы скобкой вниз, нервно постукивал палкой об землю.

Мария, когда Демидов приходил за покупками, никогда с ним почти не разговаривала. Лишь когда Макшеева в первый раз увезли в больницу, она произнесла непонятное:

— Толку-то, что выволок ты его из полыньи. Все равно не жилец он теперь...

Она говорила так, будто осуждала за что-то Павла.

Да еще раз спросила как-то:

— Ты что ж... вовсе бросил пить? Уж я и забыла, когда ты последнюю бутылку купил.

Первый раз Демидов ничего не ответил Марии, а тут сказал:

— Чего в ней хорошего, в водке-то?

Демидов замечал: с Марией что-то происходит. За прилавком она стояла всегда хмурая, неразговорчивая. За зиму заметно спала с тела, осунулась. По деревне говорили: об муже переживает, но Демидов чувствовал — дело тут не в муже. А в чем, определить не мог, да и не старался.

Еще он заметил: когда Денис был в больнице, «волчье око» в доме Макшеевых не горело. Но едва возвращался, тотчас вспыхивало.

Однажды Макшеев окликнул-таки Демидова, встал со скамеечки, врытой у стенки, подошел к нему, опираясь на свою палку. Губы его были сложены все такой же скобкой.

— Ты... — произнес Макшеев и умолк, захлебнулся.

— Ну я. И что?

Глаза Макшеева были налиты, как свинцом, тяжелой ненавистью. Но странно, Демидова это не раздражало, не вызывало прежней злости, хотелось только поскорее уйти от Макшеева.

— Ждешь обещанного-то? Тысяч тех? За спасение.

— Жду, как же. Я ведь сразу поверил: раз обещаешь, то принесешь, — усмехнулся Демидов. Макшеев на мгновение опешил,

растерялся. А потом, вскипев, закричал на всю улицу, не сдерживаясь:

— Ты... быдло! Бирюк лесной! Фигу тебе жирную, а не деньги! Понял, понял? Выкуси!

Демидов помолчал и спросил так же спокойно, чуть задумчиво:

— Тяжко, значит, тебе?

Расколись земля перед Макшеевым на две половинки, рассыпься небо на осколки, он не побледнел бы так, как побледнел после этих слов Демидова. Запрокинув голову, дергая белыми щеками, он хотел что-то выкрикнуть, выдавить из себя — и не мог. Так, с запрокинутой головой, он и стоял, пока Демидов не ушел, не скрылся в переулке.

...В этот вечер долго не вспыхивало «волчье око» в Дубровине, да так и не зажглось совсем. Демидов, приметив это, опять усмехнулся.

Не зажглось оно и на другой день. И вообще никогда больше не светилось в темноте.

11

Лето набирало силу быстро, земля напитывалась теплом, как тряпка водой, заполыхали дубровинские леса цветами, засвистели в них соловьи.

Все кругом пело и цвело, только Денис Макшеев все сох, горбился, будто задался целью согнуться в крючок, высохнуть на усух.

Ходил он теперь все время с костылем, нисколько не опасаясь Демидова. Наоборот, он даже старался как можно чаще попадаться ему на глаза в безлюдных местах, но Павел не обращал на это внимания, будто не замечал Макшеева.

Однажды Павел с Гринькой, нарыбачившись вдоволь, заночевали на берегу Оби. Разложив костер, Демидов сидел на плоском камне, глядел, как пляшут отсветы пламени на темной воде. Гринька, умаявшись, похрапывал в наскоро сооруженном шалаше. Шалаш Демидов закрыл сверху брезентом, так как на другой стороне реки погромыхивал гром.

Макшеев вышел из тайги на берег, молчком подошел к костру и протянул к огню руки. Демидов не ждал его, но и не удивился появлению этого человека.

Посидев в безмолвии, Макшеев кивнул на топор, лежавший на куче сушняка, собранного для костра:

— Что ж ты? Ночь хмарная, темная, и безлюдно, как в погребе. Всю жизнь ты, может, ждал такого...

— Пошел прочь отседова, — негромко произнес Павел.

— В реку меня столкнешь али в тайге где зароешь... Ну?

— Зачем? Живи, воняй дальше.

— Не хочешь, значит? Прощаешь!

— Пошел, сказано! Я б хотел, так из полыньи бы не вытягивал тебя.

— Э-э, нет... Я думал: зачем вытянул-то все же, в чем причина? Чтоб, значит, собственной рукой мне расчетец произвести, чтоб с удовольствием, значит, было...

— Шарики за ролики у тебя совсем, гляжу, закатились.

Сказав это, Демидов поднялся и полез в шалаш, лег рядом с Гринькой. Вскоре пошел дождь, залил костер: Демидов слышал, как шипели, потухая, головешки. А Макшеев — Демидов чувствовал это — все сидел и сидел под дождем на мокрых камнях. Потом захрустели по гальке его шаги, удаляясь.

12

...В конце лета Макшеев, еще более усохший и почерневший, заявился вдруг прямо в мазанку к Демидову. Гринька где-то бегал по деревне с ребятишками, Павел готовил обед на электрической плитке.

— Здравствуй, Павел, — сказал Макшеев бесцветным, ничего не выражающим голосом. В руках у него была хозяйственная сумка с металлической застежкой-«молнией».

— Здравствуй.

Демидов ответил на приветствие не тепло и не холодно, тоже равнодушно. И нельзя было предположить, что долгие-долгие годы разделяли этих людей смертельная вражда и ненависть.

Демидов продолжал возиться с кастрюлями. Макшеев понаблюдал за ним и сказал:

— Вот, долг принес. Не думай, что бессердечный.

— Что-о?

— Деньги-то. Бери.

И он опрокинул над столом хозяйственную сумку, вытряс из нее кучу денег в пачках. Демидов помолчал, разглядывая эту кучу.

— Сколько ж тут?

— Много. Ровно пятнадцать тысяч.

Демидов сел, минуты две глядел, шевеля бровями, то на деньги, то на Макшеева. И Макшеев, сидя на другом конце стола, тоже глядел то на деньги, то на Демидова.

Так они и сидели, а между ними лежала эта куча денег.

— А не жалко тебе? — спросил наконец Демидов.

— Жизнь-то дороже. Раз я обещал...

— А Мария что?

— А какое ее тут дело?

— Н-ну, ладно... Спасибо.

— Берешь, значит? — и Макшеев облизнул пересохшие губы.

Демидов на этот раз ничего не ответил, опять они минуты две-три сидели молчком недвижимые, каменея будто все больше, все крепче. За окном неприкаянно болтался уже не летний, остылый ветерок, скрипел расшатавшейся дощатой ставней на тонких проржавелых петлях. Скрип был тихий, жалобный, тоскливый, но, кажется, ни тот, ни другой его не слышали, сидели оглохшие.

Вдруг оконная ставня скрипнула погромче. Ржавый скрежет больно отдался в груди Павла Демидова, будто по сердцу его резанули чем-то тупым, зазубренным. Он поморщился от этой нестерпимой боли, медленно, с трудом разгибаясь, поднялся:

— Да-а... Спасибо, говорю... — Голос его тоже был сух и скрипуч, как звук болтающейся ставни. Павел жесткими, заскорузлыми пальцами взял со стола одну пачку денег, другую, третью... Всего их было тринадцать — одна в пятидесятирублевых купюрах, восемь — в десятирублевых и четыре — в пятирублевых. По сто листов в каждой пачке в стандартной банковской упаковке. — Глядь-ка, чертова дюжина.

И Павел мучительно усмехнулся.

Еще когда Демидов стал подниматься, Макшеев начал почему-то бледнеть. Пальцы его рук, лежавших на столе, мелко-мелко задрожали, и он рывком сдернул руки со стола, но, куда деть их, не знал и то совал ладони в карманы старого измятого пиджака, то выбрасывал опять на стол. Потом схватил стоящую на полу сумку, поставил на колени и принялся судорожно мять ее, не замечая, однако, этого.

Демидов опять усмехнулся и вымолвил странное, непонятное:

— Арифметика-то — наука едкая.

Макшеев перестал мять сумку, затих, будто пытаясь добраться до смысла этих слов. Лицо его было теперь серым, землистым. Он еще раз облизал губы, тоже посеревшие, бескровные. И как-то униженно, умоляюще попросил:

— Ты пересчитай, пересчитай... Тут ровно пятнадцать тысяч...

— Я и считаю. С тридцать восьмого по сорок восьмой, значит, я мыкался... Три года поселения считать уж не будем... Десять лет... За каждый год, значит, ты положил мне по полторы тысячи... по сто двадцать пять рублей за месяц... По четыре руб-

ля за день... за каждый день. Ишь какая, объясняю, арифметика.

Демидов говорил сперва громко и отчетливо, выбрасывая фразы толчками, будто сыпал из автомата отрывистыми очередями. Потом горло его стало перехватывать, голос осел, осип. Последние слова он произнес шепотом, вытолкнул из себя с трудом. На Макшеева он не глядел.

По мере того как Демидов говорил, к щекам Макшеева стала приливать кровь, в складках лба и на переносице проступила мелкая испарина.

— Так что ж... Так что ж... — бессвязно пробормотал он. — А ты все равно возьми...

По дряблому горлу Демидова прокатился крупный и тяжелый комок, будто прочистили ему глотку, и он сказал прежним голосом — крепким и ясным:

— И почто меня, дурака, еще десять лет там не продержали? Теперь бы, может, тридцать тысяч от тебя получил. А? Дал бы тридцать?

Макшеев по-прежнему держал сумку на коленях, не мигая, ничего, может, не видя, глядел куда-то в сторону, в окно, за которым ветер шатал верхушки пожелтевших уже берез.

— Что молчишь? Дал бы? — вскричал Демидов, багровея.

— Дал бы, дал... — машинально и торопливо закивал Макшеев. И, только проговорив это, опомнился, сильно вздрогнул. И до конца понял, о чем идет речь, по-своему что-то сообразив, так же торопливо глотая слова, продолжал: — И сейчас дам... Она, конечно, не тетка... Тюрьма-то. По четыре рубля мало... У меня наберется. Я завтра принесу еще полную сумку... Принесу, говорю, не трожь! Не трогай, Павел...

Это Демидов, шагнув к Макшееву, пытался взять у него сумку, а тот, судорожно прижимал ее к животу локтями. Но Демидов все же вырвал сумку и, держа ее у кромки стола на весу, сгреб все пачки денег в темный кожаный зев. Затем поставил сумку на стол, задернул застежку-«молнию». Неприятный металлический звук будто пропорол установившееся за секунду до этого в комнате полнейшее безмолвие, и вот стало слышно тяжкое и хриплое дыхание двух стариков.

Оба — Макшеев и Демидов — глядели теперь безотрывно на сумку. Макшеев, одной рукой ухватившись за свое колено, а другую сунув в карман, сидел, чуть наклонившись вперед, будто хотел вскочить, да никак не мог осмелиться. Демидов же стоял у стола столбом, навытяжку, а длинные руки его с широкими ладонями висели вдоль туловища, как тяжелые узловатые плети. Лицо его было сухое, жесткое какое-то, чуть бледноватое.

Оно было неподвижно, его лицо, только на скулах беспрерывно вспухали и опадали желваки.

Потом они одновременно, оба с великим трудом, оторвали глаза от сумки. Демидов начал поворачиваться не спеша к Макшееву, а Макшеев медленно стал поднимать на Демидова свой взгляд.

Бесшумная молния, казалось, взорвалась в комнате, когда взгляды их встретились. Взорвалась, опалила их лица, обуглила глаза — у того и у другого в неподвижных свинцово-тусклых глазах ничего не было, кроме прежней ожесточенности, непримиримости, смертельной ненависти.

— Пошел отседова, — тихо сказал Демидов, с трудом разжав тяжелые, сухие губы. Одной рукой схватил сумку со стола и швырнул на колени Макшеева. Макшеев нервно дернулся, чуть не свалился на пол. Удержаться ему помогло, казалось, то обстоятельство, что он обеими руками цепко ухватился за сумку.

— Ты... чего, Павел? — прохрипел он. — Не берешь, что ли?

— Во-он!

И Павел, дергаясь лицом, подскочил к Макшееву, схватил его за шиворот, сильно толкнул к двери. Тот, не выпуская сумки из рук, обернулся стремительно, угрожающе, а заговорил голосом неожиданно униженным и просящим:

— Я же хотел, Павел, как лучше... по-человечески... Ты пойми...

Эти слова разъярили Демидова окончательно.

— Т-ты! — замычал он сквозь крепко стиснутые зубы, ринулся к порогу, ногой ударил в дверь, точно хотел разнести ее в щепки. — Т-ты-ы!

И опять, схватив Макшеева за шиворот, поволок его из комнаты, как щенка.

...Случайно оказавшиеся в тот час на приречной улице колхозный тракторист Ленька и дочка конюха Артамона Клавка с изумлением глядели, как бывший лесник Демидов тащит куда-то за шиворот упирающегося Макшеева. Они слышали, как Макшеев все время выкрикивал умоляюще одно и то же:

— Павел!.. Пашка!..

И как Демидов на каждый макшеевский вскрик отвечал:

— Я понял! Понял я...

— Топить, что ли, волочешь его? — вежливо поинтересовался Ленька-зубоскал, когда Демидов и Макшеев поравнялись с ним.

— Они же пьяные, Лень! — воскликнула Клавка испуганно.

Эти голоса будто привели Демидова в чувство, он остановил-

ся, не выпуская, однако, воротника Макшеева из цепкого кулака. Потом сильно отшвырнул своего врага прочь.

— Оно и утопить нелишне бы...

И, шумно дыша, принялся вытирать ладони об одежду.

А Макшеев, отлетев на несколько шагов, обернулся и встал как-то странно, на раскоряченных и чуть согнутых ногах.

Одной рукой он обтер мокрое лицо, а другой покрепче и поудобнее взял сумку за потрескавшиеся кожаные ремни, будто намеревался подскочить к Демидову и размозжить ему этой сумкой голову.

— Значит, так... значит, так... Не берешь?

— Отнеси Марьке... Она за это каждый час рыскует, всю кровь отдает.

— Последний раз спрашиваю! — взвизгнул вдруг Макшеев.

Демидов, уже успокоенный, усмехнулся:

— Высохнете ведь после с Марькой на усух, как полынные стебли... Жалко на вас глядеть мне будет.

— Высохнем?! Тогда... гляди! — трижды выкрикнул Макшеев, сверкая глазами, и побежал к реке.

Улица проходила по самому берегу Оби. В пяти метрах начинался довольно крутой глиняный откос, затем до самой воды шла неширокая песчаная полоса. Макшеев торопливо скатился с откоса, разбрызгивая ногами песок, побежал дальше. У воды остановился, обернулся, прокричал еще раз снизу:

— Тогда гляди, сволочь!

И, размахнувшись, швырнул сумку с деньгами в реку.

— Ой! — воскликнула Клавка. — Чегой-то он?!

Голос Клавки еще не умолк, когда сумка, описав крутую дугу, как черная неуклюжая птица, упала в реку. Течение сразу поволокло ее, отбивая как-то все дальше и дальше от берега.

Едва сумка плюхнулась в воду, Макшеев сорвался с места и, будто намереваясь кинуться за ней в реку, торопливо сделал несколько шагов вниз по течению. Но потом замедлил шаги, остановился.

Сумка, чернея на светло-желтой воде, уплывала все дальше. Молча смотрели на нее Ленька-тракторист, Клавка, Демидов... Молча смотрел и Макшеев. Он стоял сутулясь, безвольно опустив руки, спиной к деревне и к людям...

Когда черное пятно на воде исчезло — то ли сумка потонула, то ли просто уплыла из виду, — Макшеев сел на песок, низко уронил голову...

— Да что... что это он сделал?! — опять воскликнула Клавка. — Что в сумке-то было?

— Ничего там не было, — ответил Демидов.

При этих словах Ленька-тракторист, давно стригущий посерьезневшими глазами то Макшеева, то Демидова, явно пытаясь разгадать, что же произошло между этими людьми, и, может быть, догадываясь даже о чем-то, еще раз сквозь прищуренные веки пристально поглядел на Демидова и повернулся к Клавке:

— Ну, пойдем отсюда. — И взял девушку за руку.

— Дурак. Вот дурак! — проговорила Клавка осуждающе в сторону Макшеева. — Сумка была ведь почти новая, кожаная. Рублей двадцать, однако, стоит.

— Ага... Сумку жалко, — сказал Демидов.

13

Опять зарядили дожди над дубровинской тайгой, лес стоял мокрый и унылый. Катила и катила Обь бесконечные и бесшумные волны, но, если поднимался ветер, река вскипала от злости и, раскачавшись, била и била в каменистые берега всей своей тяжестью.

За остаток лета и за всю осень Демидов не видел Макшеева ни разу. Тот будто сквозь землю провалился.

Жена его Мария тоже начала вдруг сохнуть, как и сам Макшеев, стареть прямо на виду. Щеки ее поблекли и смялись, за прилавком она стояла растрепанная, с вечно распухшими глазами, видно, она часто и много плакала.

— Взяла бы ты себя в руки, Марька, — сказал ей однажды Демидов. — Смотреть на тебя тошно.

— Что ты сделал, паразит такой, с Денисом моим?! Что сделал? — истерично закричала она.

Павел торопливо ушел из магазина.

Когда расхлябанная дождями земля начала по утрам костенеть, а с неба нет-нет да и просыпались снежинки, Мария заявилась вдруг к Павлу домой, прислонилась к дверному косяку, зажала лицо платком и опять произнесла сквозь слезы, как в магазине:

— Что ты сделал с Денисом моим? Что сделал?

— Погоди, погоди, — вскочил Павел растерянно. — Сядь, что ли, проходи...

Он усадил ее возле стола, она немного успокоилась, всхлипывала только время от времени и глядела тоскливо в окно, постаревшая, неприглядная.

— Что с ним, с Денисом? — тихо спросил Павел.

— Что... Лежит в дому, как барсук в норе, который месяц на улицу не выходит... Ворочается, будто жжет у него все внут-

ри. Зубами скрежещет по ночам — страшно прямо... Пить начал вот. Ты бросил, а он начал.

— А его и жжет, Мария... Собственное паскудство мучает его теперь, сжигает.

— Я знаю, — вздохнула женщина. — Как он тебя костерит, напившись-то! По косточкам разламывает. Взял, орет, человечье превосходство надо мной, думает? Ишь, простил мне все, из реки выволок и денег не принял за спасение. Ишь, тебя ремнем отхлестал! Благородный какой...

— Я вот все думаю, Мария... Он ладно. Я теперь не удивляюсь, что он прислал тогда тебя ко мне в сторожку. А ты самато как на такое... на это решилась?

— Ты полегче чего спросил бы! — воскликнула она. — Дура, битком набитая дура я... — И, захлебываясь хлынувшими опять слезами, продолжала: — Ты еще не знаешь, какая я стерва-то... не лучше Дениса. Что ты в молодости во мне нашел? Ведь тогда, как ты на уговор про свадьбу приходил к нам... я знала, что Денис возле риги тебя ждать будет. Он мне наказал — ты напои его посильней, чтоб память ему отшибло. А какая, грит, останется, я до аккуратной пустоты выколочу. И я постаралась...

— Я это знаю... сразу догадался, — глухо уронил Демидов.

— Ну вот... А это к сторожке — что уж мне...

Демидов полез за папиросой, задымил.

— Вот ты говорил недавно: ни бабы, ни человека из меня не выросло. Так оно и есть... Я бы другая вышла, может, не попадись мне на пути Денис. Да что теперь! Ты, а вместе с тобой и та, другая жизнь, которая у меня могла быть, стороной прошли.

— Да, уж теперь-то что, — согласился с ней Демидов.

— Отчего он бесится особенно — не может постичь, как это ты простил его? Когда спас от гибели, он думал: на деньги большие наконец-то позарился. Ага, говорит, люди все одинаковые! Сейчас не денег пропавших жалко, а то, что себе ты их не взял... Без выгоды, значит, рисковал тогда собой, без выгоды спас и до конца не оставил злости, простил. Почему, стонет, почему?

— Это все обыкновенно понять, Мария, — сказал Демидов. — Не могу я больше с ненавистью в душе жить. Тяжко стало. Отдохнуть захотелось.

Женщина глядела на него теперь удивленно.

— Непонятно. И мне непонятно... Он тебе жизнь изломал, всю перековеркал. Он и я... А ты прощаешь...

— Ну да, прощаю! — вдруг начал сердиться Демидов. —

Но только он отчего мучается-то? Отчего его жар сжигает? Он, я соображаю, понимать начал — не передо мной он только виноватый, а перед всеми людьми, перед землей, на которой живет... Свое я ему прощаю, а люди не простят никогда! Ни ему, ни тебе. Потому что, если прощать будут таким... и за такое, что же на земле будет?

Мария посидела еще, обдумывая его слова, встала, медленно пошла к дверям. Там остановилась, опять прижалась спиной к косяку.

— Вот зачем я приходила? — произнесла она негромко, измученным голосом. Потом долго терла обеими руками щеки. Уронила руки, вытянулась сильно и туго. Щеки ее были теперь такие же белые, как стенка, возле которой она стояла, глаза блестели нездоровым блеском. — Я вот что, Павел, приходила... Не надо, не надо было тебе его из полыньи вытаскивать... Так лучше было бы. И для него и для меня.

— Эвон что! А ты поняла б меня, коли б я не вытащил? Мог, а вот не захотел...

— А кто узнал бы? Один на один вы были...

— Да-а... А сам-то бы я забыл, что ли, об этом? Взял бы да и забыл?

Мария стояла, все так же сильно вытянувшись, будто прибитая к стенке. Она долго пыталась поймать смысл его последних слов, а может, смысл всего разговора. И вдруг, заломив руки, закричала, как подрезанная:

— Господи! Счастье-то какое мимо меня прошло!

И с этим криком выбежала на улицу.

14

В пятницу ударил вдруг такой мороз, что в тайге гулко застреляли, лопаясь, деревья.

Под вечер, как всегда, несмотря на адский холод, нагрянули из города рыбаки, до полуночи стучали в закрытые ставни макшеевского дома, хотя привычное для них оконце не горело, и Мария прилепила там бумажку с крупными буквами: «Водки нет».

— Стучат... Вот я возьму кочергу да постучу им выйду, — несколько раз говорил Денис Макшеев желчно, расхаживая по комнате в нижней рубахе.

Потом он каждый раз садился к столу, ставил на него локти, зажимал руками голову и сидел так долго, копя — знала Мария — ненависть к ней. И, накопив, бросал ей через всю комнату, чуть поворачивая заросшее грязными волосами лицо:

— Сука ты! Сучка вонючая... Ты во всем виноватая!

Денис дошел до края, это Мария видела и понимала. Он последний месяц грыз ее за то, что не смогла она тогда в лесу соблазнить Демидова.

— Подстелилась бы ты под него, он отстал бы от нас, я знаю, знаю... А ты, кобыла, этого не сумела.

Мария чувствовала, как тупеет что-то у нее в груди, в голове.

Где-то за полночь рыбаки стучать в ставни перестали, угомонились, а Макшеев все ходил и ходил по комнате. Затем полез в чулан, выволок рыболовные снасти — удочку-подергушку, черпак, пешню. Пешню он долго осматривал, трогал острый конец, пробовал зачем-то на вес.

— Никак и ты рыбачить собираешься? — приподняла Мария с кровати растрепанную голову.

— Не провалюсь теперь, не бойся, — ответил он со смешком. — Лед сейчас уже крепкий — грузовик вчерась переезжал на тот берег.

Приготовив снасти, он лег, но не спал, все ворочался, все сопел глухо. Встал поздно, когда уже рассвело.

Молча он позавтракал, выпил полный стакан водки. Посидел, подумал, выпил еще один стакан.

— Чтоб теплее было, — пояснил вдруг. — Ночью отдало вроде, ишь окна оттаяли. Да не лето все же...

Затем он надел тужурку, баранью шапку, собрал снасти и ушел, бросив от порога вчерашнее:

— Да... Не уехать теперь от этого никуда.

Оставшись одна в доме, Мария убрала со стола, оделась, пошла в магазин на работу. И когда убирала со стола и когда шагала по кочковатой улице, все думала об этих последних словах мужа. Она слышала их не однажды, знала, какое содержание вкладывает в них Денис. Однако на этот раз в голосе мужа было что-то новое, непонятное, пугающее. Голос был, как обычно, с хрипотцой, но в нем не чувствовалось, как всегда, ни злости, ни бессильной ярости. Голос был равнодушный, безразличный к тому смыслу, какой заключали слова, и это настораживало, беспокоило ее все сильнее и сильнее. К тому же, говоря их, Денис криво усмехнулся, лицо его перекосило, оно было все перепахано судорогой, и глаза блеснули тупо, бессмысленно, потухающим каким-то светом...

Мария вспомнила выражение его лица и блеск его глаз, уже дойдя до магазина, открывая замок на дверях. И тут ей ударило больно в голову: а наживки-то?! Раньше, собираясь на рыбалку, Денис загодя готовил всякие наживки, долго возился с ними.

А сейчас даже и не подумал о них! Какая ж тогда рыбалка? Господи, да ведь он...

15

...Выйдя из дома, Макшеев глотнул холодного свежего воздуха, глотнул неосторожно много, до крови, казалось, оцарапав изнутри всю грудь. Хмеля он не чувствовал, хотя только что выпил целую бутылку, но тут голова вдруг сильно закружилась. Впрочем, это быстро прошло, и он широко зашагал к реке, держа тяжелую пешню наперевес, прижимая ее локтем к боку.

Денис Макшеев, сосредоточенно глядя себе под ноги, точно боялся оступиться, пошел к островку.

Первого, кого он увидел, обогнув островок, был Демидов. Рядом над лункой сидел приемный сын его Гринька, старательно работал подергушкой. Он раскраснелся, глаза его от азарта поблескивали. Клев был отменный, возле лунок Демидова и Гриньки валялось десятка по три окаменевших рыбин.

— Окунь, значит, один идет? — вдруг останавливаясь, проговорил Макшеев.

Демидов глянул на него, но ничего не ответил, отвернулся к лунке.

— А сын-то, ишь...

— Что сын?

— Ловко, говорю, того... Наловчился уж.

Демидов снова поднял недоумевающее лицо. Макшеев усмехнулся как-то странно, одной стороной лица. Будто не усмехнулся, даже, а подмигнул заговорщически.

— И правильно, пусть... Нету радостней занятия, кто поймет... Рыбалка-то...

Он пошел дальше. Но вдруг остановился, произнес, тускло поблескивая двумя металлическими зубами:

— Я так и рассчитывал, что ты тут, дядя... Да, я знал...

А Макшеев никак, видимо, не мог выбрать место для лунки, все ходил и ходил меж рыбаков. Наконец выбрал, кажется, принялся долбить лед в сторонке от всех. Долбил он долго, раза три нагибался, вычерпывая из лунки ледяные крошки.

«Лед-то всего ничего, сантиметров десять, а он столько возится, — отметил про себя Демидов. — Обессилел, что ли, совсем?!»

Павел хотел заняться своей удочкой, но в это время Макшеев бросил пешню. Он отшвырнул ее далеко, будто ненужную, мешающую ему вещь. Демидов быстро положил на лед свою подергушку, жесткие, выцветшие брови его дрогнули, сдвину-

лись. Умом он ничего не мог еще сообразить, а в сердце больно кольнуло раз, другой...

А Макшеев меж тем вдруг расстегнул и сбросил на лед полушубок. Демидов вскочил, чувствуя, как дрожат колени, не сам вскочил, подняла его будто какая-то посторонняя сила. Сознание же все еще не работало.

— Дени-ис! Держите его! Помешайте! Держите-е!.. — разнесся над белой рекой пронзительный женский голос. Он был страшен, этот голос, своей неожиданностью и мольбой о помощи. Рыбаки повскакали, не понимая, кто и почему кричит, о чем умоляет: лед, кажется, крепкий, надежный, провалиться никто не мог.

Только Демидов все понял наконец, сорвался с места, тяжко побежал к Макшееву. Гринька испуганно глядел вслед отцу.

А Макшеев стоял возле продолбленной им широкой, диаметром чуть не в метр, дырки во льду. Стоял, вытянувшись в струнку, как суслик перед норкой, и будто терпеливо ждал, когда подбежит к нему Демидов. Грудь его ходила толчками, лицо было багрово-темным. Трясущейся рукой он расстегнул воротник рубахи-косоворотки, словно тот жал, не давал дышать.

Когда Демидов был метрах в пяти, Макшеев крепко прижал к туловищу руки, шагнул в прорубь и столбом рухнул вниз. Из проруби на лед тяжело плеснулась вода.

— Папка-а! — в ужасе закричал Гринька, оказавшись рядом. — Это... что? Это что?!

Мальчишка был бледный как снег. Демидов цепко схватил его, прижал к себе, точно опасаясь, что и Гринька может прыгнуть в воду, под лед.

— Ничего, сынок... Ничего. Он, дядька Денис, оступился, видишь... — бессвязно зашептал Павел. — На льду-то осторожно надо, опасно всегда. А он не поберегся... поскользнулся и упал.

Они стояли так, прижавшись друг к дружке, и тупо глядели, как в проруби бурлит черная вода. Эта вода крутила и крутила размокшую баранью шапку Дениса Макшеева, а потом уволокла ее под лед.

Отовсюду бежали люди к тому месту, где стояли Демидов с Гринькой. Только Мария уже не бежала. Увидев, что муж рухнул в прорубь, она остановилась, будто наткнулась на крепкую стенку, постояла, подломилась в коленках, потом в поясе и упала головой вниз.

Она и не плакала вроде, голоса ее не было слышно. Лишь тело ее крупно тряслось...

16

Недели две Павел Демидов и сын его Гринька жили молча, изредка переговариваясь только о самом необходимом.

Но однажды вечером, лежа в кровати, Гринька вдруг спросил из темноты:

— Ты говоришь: он поскользнулся и упал в лунку, дядя Денис... А зачем он лунку такую большую сделал?

— Ну, зачем? Узкая лунка скоро замерзает, приходится время от времени ее раздалбливать. А широкой на всю рыбалку хватит...

Но, чувствуя, что объяснение его может не убедить Гриньку, стал говорить дальше:

— А потом, бывает, возьмет окунище шире лопаты. Как вытащить? Пока раздалбливаешь лунку пошире, окунь и сойдет. А Денис — он жадный был на рыбу. Вот и раздолбил сразу, на всякий случай...

Павел и еще что-то говорил сыну такое же неубедительное, упорно пытаясь уверить сына, что две недели назад произошел на льду обыкновенный несчастный случай.

— А ты его жалеешь, пап? — спросил Гринька, прервав объяснения отца.

— Нет, сынок, — помедлив, сказал Демидов. — Он был шибко подлым человеком.

— Что ж, тогда я прав был: добрых людей земля любит, а нехороших и сама наказать умеет.

— Спи, сынок. Что ж теперь об этом думать? Уроки все выучил на завтра?

— Все.

— Ну и спи.

Но Гринька долго еще ворочался, вздыхал, как взрослый. И, засыпая наконец, произнес:

— А страшно, должно быть, подлым людям один на один с землей оставаться? А, пап?

— Им страшнее, видать, с совестью своей один на один встретиться, сынок.

— Это как?

— Никак! Спи, якорь тебя! — рассердился Павел, но скорее сам на себя за свои последние слова.

Гринька еще не понимал, а Демидов и не хотел, чтобы он так рано понял, что на древней земле под древней луной произошла одна из вековечных драм человеческих...

В. КОЖЕВНИКОВ

СТЕПНОЙ ПОХОД

повесть

1

На квартире Маслюкова, начальника станции Котельниково Владикавказской дороги, собрались бывшие члены комитета профсоюза железнодорожников и исполкома Советов Сальского округа.

Обычно эти негласные совещания проходили очень весело и напоминали дружеские вечеринки. Конизаводчик Прелестнев, тучный, пучеглазый, усатый, страдающий одышкой, втаскивал вместе с кучером в узенькую переднюю заплесневевшие корзинки с шипучим донским вином. Обращая к хозяйке красное виноватое лицо, Прелестнев говорил, прикладывая толстую ладонь к груди:

— Ольга Викторовна, голубушка! Простите пьяницу! Без питий я — как рыба без воды.

Ольга Викторовна, делая такое движение, словно хотела помочь старику снять тяжелую мокрую шубу, произносила жеманно в нос:

— Алексей Денисыч, пьяненький вы такой милый. Но нужно щадить свое здоровье.

Выбравшись из шубы, Прелестнев подходил к Ольге Викторовне, с трудом склоняясь, целовал ее мягкую маленькую руку.

— В Московском Кремле есть две российские достопримечательности: Царь-колокол и Царь-пушка. Но третья хранится у нас здесь в захолустье: царь-баба. Это — вы.

И, расшаркавшись, входил в гостиную. Здороваясь, Прелестнев стремился каждому сказать приятное. Он был очень признателен

этим людям за то, что они не забыли старика и провели его в члены исполкома как представителя «аграриев». А так как он не терпел одиночества, теперь ему не нужно было рыскать по округе в поисках собутыльников-компаньонов.

В качестве гостя Маслюкова на этих совещаниях присутствовал окружной атаман. Хотя и отрешенный от власти, он держал себя гордо, независимо и очень неохотно подавал руку, когда с ним здоровались. Ольга Викторовна, получив наказ от мужа быть радушной с гостями, старалась изо всех сил. Присаживаясь на ручку кресла, в котором сидел атаман, Ольга Викторовна клала руку на спинку. Колючий затылок атамана касался ее руки. Атаман при этом морщился, выпрямлял сухую, узкую спину и неприязненно косил глаза на выпуклую под шерстяным платьем грудь женщины.

В качестве гостя здесь находился также Макс Максимыч Зильбер, комиссионер. Представляя одновременно несколько иностранных компаний, он монополизировал все скупочное дело. Через его руки проходили миллионы пудов зерна, сотни тысяч пудов шерсти. Сухощавый, с коротко подстриженными седыми висками, одетый в русскую косоворотку и сапоги, он походил скорей на офицера в штатском, чем на прасола.

Зильбер часто приносил Ольге Викторовне подарки. Подарки были дорогие, в заграничной упаковке. Ольга Викторовна, зардевшись, подходила почти вплотную к Зильберу и умоляюще произносила:

— Макс Максимыч, когда это кончится? Я ведь вам запретила...

Зильбер, пристально глядя в сияющие глаза женщины, отвечал кратко:

— Прошу простить, но мне нравится видеть, как вы радуетесь таким пустякам.

Господствовал на этих собраниях сам хозяин дома, Алексей Петрович Маслюков.

Он говорил очень много, живо, остроумно.

Но главным, что вызывало к нему всеобщее уважение, была прекрасная ориентация в вопросах политики.

Всякий раз наслаждаясь произведенным впечатлением, Маслюков не особенно интересовался, в какой степени собравшиеся разделяют его выводы и обобщения.

До Котельникова Маслюков работал в Ростове в правлении Владикавказской железной дороги. Примыкая к прогрессивно настроенной группе молодых деятелей, он неоднократно выступал в печати с бойкими статьями о великом преобразующем

значении строительства новых дорог для России и предлагал открыть к нему широкий доступ энергичным людям.

Его поддержали кое-какие группы предпринимателей. Маслюкову всучили пачку акций будущей компании, намеревавшейся взять «патриотический» подряд на строительство какой-то дороги. Потом выяснилось, что компания вовсе не собиралась строить этой дороги, а, получив подряд, хотела перепродать его бельгийскому акционерному обществу.

Маслюков был вынужден уйти из правления. Ему удалось устроиться помощником начальника станции Ростов-Товарная. Здесь он свел знакомство с социал-демократическими кругами.

Участвуя в подготовке всероссийской забастовки железнодорожников, он втайне радовался возможности насолить правлению, откуда его выгнали.

Встретившись в театре со своим бывшим начальником, он сухо поклонился и, сделав значительное лицо, сказал:

— На днях ваше превосходительство будет неприятно удивлено.

И прошел в буфет, независимо подняв плечи.

Забастовка, а вслед за ней жестоко подавленное героическое восстание в ростовских железнодорожных мастерских вызвали волну репрессий.

Привезенный в пролетке в жандармское управление, Маслюков держал себя гордо, с подчеркнутым достоинством.

Но после десятидневного заключения в камере, узнав на допросе, что ему угрожает ссылка в Нарымский край, Алексей Петрович раскис.

В последнюю минуту, когда, казалось, спастись было нельзя, Маслюков, наклонившись к жандармскому полковнику, сказал:

— Я предупредил о готовящейся катастрофе его превосходительство и, так сказать, выполнил свой долг. Остальное можно рассматривать только как неизбежное следствие хода исторического процесса.

Нарымская ссылка была заменена Маслюкову назначением его начальником станции в глухой степи.

Испытывая отвращение к новой должности, Алексей Петрович сначала почти полностью устранился от дел, переложив их на своего помощника. Но, познакомившись с Зильбером и убедившись, какие неожиданные блага сулит новое место, Маслюков превратился в ревностного службиста и с помощью того же Зильбера стал делать ежемесячные переводы на текущий счет в один из иностранных банков.

После февральского переворота к Маслюкову явился Макс

Максимыч и чрезвычайно торжественно от имени «прогрессивных кругов населения» предложил дать свое согласие на участие в местных органах революционной власти.

Маслюков с восторгом отдался новой деятельности. Выезжая в станицы, стоя в коляске, опершись рукой о плечо кучера, он произносил короткие энергичные речи.

Земельная программа была составлена Маслюковым с абсолютной ясностью:

«Сальские степи представляют особую аграрную группу, сложившуюся на основе традиций казачьей вольницы; принцип казачьего землевладения и общественного устройства должен остаться нерушимым. Сальское казачество имеет все основания со временем провозгласить себя автономной казачьей республикой. Иногородние, а также малоземельное бедняцкое казачество могут быть удовлетворены за счет добровольной сдачи в аренду помещиками и коннозаводчиками своей земли казацким и крестьянским обществам и под их гарантию».

Почти все члены Совета программу одобрили. Только окружной атаман сказал желчно:

— Вы, милейший, не себя ли метите в диктаторы республики?

И, сильно стукнув сухим волосатым кулаком, морщась от боли, закричал:

— Мои предки еще при Алексее Михайловиче эти земли с саблей в руках добывали, а тут всякие проходимцы-взяточники! — Атамана с трудом успокоили.

Железнодорожники открыто высказывали свое недоверие исполкому. Маслюкову приходилось изворачиваться. Неукротимый Зильбер не прекращал своей деятельности; к хлебу и шерсти прибавились масло, мясо, — для перевозки их требовалось все больше вагонов. Маслюков сделал ряд мелких поблажек рабочим и значительно увеличил жалованье группе ведущих служащих. Но положение становилось все тревожнее. Рабочие станции требовали перензбрания Совета и комитета профсоюза.

Маслюков делал все возможное, чтобы отложить перевыборы.

В октябре на станции возник новый орган революционной власти — ревком. После перевыборов в новом Совете остался только Маслюков. В новый состав исполкома вошли демобилизованные солдаты и рабочие станции.

Вот почему в этот вечер совещание на квартире у Маслюкова так отличалось от всех прочих совещаний.

Гости мрачно толпились вокруг водочного столика.

Маслюков с оскорбленным лицом бегал по комнате и, не обращаясь ни к кому, надорванным голосом выкрикивал:

— Сейчас не время для партийной борьбы! Диктатура какой-либо партии есть нарушение основного принципа демократии — народности. Кучка большевиков — не народ! Насильственный захват власти — не есть власть.

Остановившись перед сыном Прелестнева, рыжеусым сухощавым блондином в высоких блестящих сапогах, он спросил гневно:

— Вы начальник караула исполкома, бывший офицер. Почему вы позволили митинговать кучке дезертиров? Почему не проверили у них отпускные свидетельства? Почему не арестовали эту шпану?

Прелестнев встал, поднял полную рюмку и, щурясь, насмешливо ответил:

— Не было приказа о нарушении принципов демократии. Ваше здоровье!

И выплеснул себе в рот водку.

— Чего вы на него набросились? — закричал старик Прелестнев, заливаясь синим, старческим румянцем. — Вы, разговорчивый господин, разрешили рабочим вокзала без нашего ведома создать сторожевую охрану сараев, пакгаузов, водокачек и прочего. Попробовал бы мой Костенька хоть руку на них поднять. Эти бандиты подняли бы его на штыки.

— Значит, я во всем виноват? — потрясая руками, воскликнул Маслюков. — В таком случае я выхожу из нового состава исполкома!

Бывший председатель комитета железнодорожного профсоюза присяжный поверенный Тогунов иронически возразил:

— Нет, что вы, что вы! С вашими левыми разговорчиками вы, видно, пришлись ко двору новой власти. Разве можно считаться с самолюбием и честью, когда для красноречивого деятеля открываются такие широкие возможности.

— Я запрещаю называть меня так, — закричал Маслюков, — или я вам дам по физиономии.

Зильбер успел схватить Тогунова за руку. Со злобной гримасой он толкнул его обратно в кресло и, выйдя на середину зала, сказал, подняв руки:

— Господа, Мамонтов и Алексеев начали формирование своих частей. Гнилорыбов, Семилетов действуют в округе, подымая казачество на борьбу за его исконные права. Алексей Петрович взял на себя святую, доблестную обязанность представлять интересы России. Настало время всем нам действовать совместно, и потому покорнейше прошу господина окружного атамана остаться, а остальных — удалиться.

Властный многозначительный тон Зильбера, его уверенное

спокойствие подействовали на всех наилучшим образом. Гости стали расходиться.

Тогунов подошел в коридоре к Маслюкову с протянутой рукой и сказал, широко улыбаясь:

— Прости, Алексей Петрович! Я нагрубил тебе из профессиональной зависти к твоим способностям.

Растроганный Маслюков обнял Тогунова и даже поцеловал его куда-то между ухом и шеей.

В пять часов утра Зильбер и окружной атаман ушли от Маслюкова.

После всех этих тревожных разговоров Алексей Петрович почувствовал себя, как никогда, одиноким. Ольги Викторовны не было дома: она поехала провожать гостей.

Рассвет был тусклым, серым. В открытую форточку тянуло запахом сырости; из поселка доносились какие-то неясные, негромкие звуки.

Алексею Петровичу вдруг стало так страшно одиноко, что он готов был закричать, разбить окно, выпрыгнуть наружу...

Он встал на подоконник и, высунув лицо в форточку, начал шептать, как делал это в детстве, совершив какую-нибудь пакость и боясь наказания:

— Господи, помоги мне. Я не хочу делать ничего плохого... Господи...

В шесть часов утра вернулась Ольга Викторовна. Отворачивая бледное, усталое лицо с припухшими губами, она сказала, бросая на кресло шубу:

— Ты не сердись, я немного прокатилась с Прелестневым.

Несомненно, речь шла о молодом Прелестневе. Алексей Петрович давно испытывал неприязнь к этому рыжеусому с длинными ногами в начищенных сапогах. Но сейчас ему было безразлично, с кем каталась Ольга Викторовна. Хорошо, что сейчас она здесь и он не один. И, помогая жене снять высокие ботики, чего он никогда не делал, Алексей Петрович прошептал просительно и смущенно:

— Оленька, ты не будешь возражать? Пусти меня сегодня к себе: мне как-то ужасно одиноко...

— Хорошо, — устало согласилась она, — но предупреждаю: я хочу только спать.

2

Попрощавшись на станции с попутчиками, Никита Федорович Мальцев зашагал по пыльной горячей дороге к себе в станицу.

Весна расшевелила землю. Степь цвела пышно и широко. В ложбинах алые и багровые тюльпаны. В балках белокурые головы яблонь и вишен. Ветер доносил горький дымный запах кизяка.

Никита сдерживал счастливую улыбку. Совестно как-то! Идет по степи здоровенный, обросший бородой солдат с тяжелой австрийской винтовкой за плечами и смеется, как контуженный. Увидев издалека свою хату, Никита остановился. Присел на сухую кочку заброшенного муравейника, вынул кисет, свернул вздрагивающими пальцами цигарку и глубоко затянулся. Затем решительно встал, оправил плечом ремень винтовки и пошел напрямик, опустив голову. Лицо стало угрюмым. Мало ли какие неожиданности могут ждать человека, когда он четыре года не был дома!

Хата Мальцева оказалась заброшенной. Окна забиты крест-накрест серыми сухими досками. Усадьба заросла густым бурьяном. Поваленный плетень гнил на земле.

Никита толкнул плечом дверь и вошел в хату. Пахнуло затхлостью.

Внимательно оглядел каждый уголок, щелочку, но не нашел ничего, что могло бы указать на причину этого запустения. Никита опустился на лавку возле печи и, жалко улыбнувшись, произнес, словно насмехаясь над собой:

— Та-ак...

В окно билась неизвестно как попавшая сюда бабочка.

К вечеру Никита вышел из хаты. Подперев дверь доской, он отправился к соседям. Возвращаться он, видимо, не собирался. По-прежнему висела на его плече тяжелая австрийская винтовка, сзади болтался грязный солдатский мешок, а у пояса — солдатский алюминиевый котелок.

— Ой, сосед, прямо не знаю, с чего начать, о каком несчастье тебе перво-наперво рассказать...

Все это, суетясь и не то радуясь чужому горю, не то пользуясь случаем выговориться всласть, сыпала скороговоркой соседка Кузьмовна, полная коренастая женщина с большой грудью и темными, широко открытыми глазами.

— Настька-то твоя без тебя с товарищами снюхалась. Ее Василь Макарыч Костин, председатель ревкома, обожал за бойкость, еще когда машинистом был. Потом в кондукторши устроил, а после, когда, спаси и помилуй Советскую власть, возвысился, взял ее к себе, для надобностей приспособил. Прискучила она ему или как, — мы, тутошние, не знаем, — а только он ее в станицу послал. А казачки, сердитые на Советскую власть, по пути поезд остановили и что хотели с людьми, то и

сделали. Так мы ее с тех пор и не видали. Костин очень жалел — пропала, говорит, бабенка, для революции и всех прочих надобностей полезная...

Беспрестанно улыбаясь, одергивая кофточку и задевая Мальцева то плечом, то грудью, Кузьмовна поспешно накрывала на стол. Вытащив из-под печки завернутую в полотенце бутылку, она смутилась и, неловко подойдя вплотную к Никите, произнесла протяжно и застенчиво:

— Может, откушаете? Моего-то, видать, в живых ожидать не приходится.

Никита угрюмо посмотрел в покрасневшие от слез глаза Кузьмовны и сказал глухо:

— Спасибо! На фронте шлюхами не пользовался, и здесь не требуется...

Тяжело поднявшись, он пошел к двери. Его остановил рыдающий, гневный голос женщины:

— За что ты меня так?! Или у меня душа на месте? Не будет же мне радости все равно от этого!

Смутившись, стараясь не глядеть в оскорбленное, искаженное болью лицо женщины, Мальцев хмуро сказал:

— Прости, муторно у меня здесь.

И, проведя ребром ладони по горлу, Никита вышел, наклонив голову под низкой притолокой.

3

Ревком помещался в здании вокзала.

На каменных ступенях у входа в зал первого класса сидел толстомордый парень в старой, навозного цвета, шинели. Склонившись к разложенной на листьях лопуха пище, он жадно ел. Винтовку прижимал локтем к боку, на штыке трепыхались какие-то бумажные клочки.

— А ну убери ноги, молодец! — сказал Мальцев парню. — На посту стоишь, а расселся, как на большой дороге.

— На посту? — переспросил парень, отодвигаясь. — Это верно, что на посту; нынче нас всех на пост посадили, а скоро и совсем жрать будет нечего.

Никита не помнил, как все случилось дальше.

Он видел лицо парня, налитое кровью, трясущееся, с выпученными глазами. Руки Никиты все сильнее стискивали чужую толстую шею; придушенно и злобно сквозь зубы Никита спрашивал:

— Ты кто, гад, кто?

Мальцев пришел в себя в ревкоме, где его усадили на скамью рядом с испуганно дышавшим парнем.

— А ну сядь, остынь. Потом разберемся.

Мальцев понуро опустил сложенные руки между колен. Ему было стыдно. Не так он хотел прийти в ревком.

За столом напротив сидел сутуловатый человек с усталым, бледным лицом. Редкие, давно не стриженные волосы льняного цвета топорщились сзади, приподнятые воротником поношенной железнодорожной тужурки. По спокойствию, негромкому отчетливому голосу и по тому, как при виде его менялись возбужденные лица подходивших людей, Никита понял, что этот человек здесь — главный.

— Пришлось мясо на базаре закупать — крестьяне отказали, — докладывал сидящему за столом низенький толстый железнодорожник, весь обсыпанный мукой, — зерно повезли молоть к Сытиным. Старик заперся на мельнице с сыновьями, и оттуда двустволками грозят. На конфликт разрешения не было. Глядим — гусиное стадо в пруду возле мельницы плавает. Я кричу: «Силыч, дай смолоть! В тебя мы без приказу стрелять не будем, а гусей перебьем!» Подумал старик, сжалился над добром. Выходит и говорит: «Сегодня ваша взяла, а завтра посмотрим». Смололи мы зерно, а помольное в сельсовет отвезли. Вызвали председателя. «Забирайте, — говорим, — ваше помольное, поскольку мельница общественная». А председателю и хочется и колется. Не отобрали они еще у кулака мельницу, забоялись, и перед пролетариатом признаться стыдно. Вот они и отвечают: «Берите себе помольное, нам хлеба хватает». А мы говорим: «Нет, извиняемся, закон нарушать нам не позволено». Ну, начался у них там шум и митинг. Постановили все-таки мельницу отобрать. Вот, значит, какое настроение!

К столу подошел Андреев. Мальцев узнал своего машиниста-наставника. Улыбнувшись, он поднялся ему навстречу, но Андреев, словно не замечая Мальцева, сказал сидящему за столом, приложив ладонь к фуражке:

— С арестованными, товарищ Костин, что прикажете делать? — и повел глазами в сторону Мальцева.

Услышав фамилию Костина, Никита часто и сильно задышал, рука сама собой потянулась к плечу, где в мешке был спрятан наган. Но мешка не было, винтовки тоже; Никита забыл, что у него их отобрали. Он опустился на лавку и с отвращением и злобой глядел в упор на бледное длинное лицо Костина, на его опущенные веки.

Костин, не подымая головы, спросил:

— Получили провиант? Охранные дружины у моста через Маныч, у нефтекачки и пакгаузов.

— Так точно. Получили.

Костин кивнул головой и, резко повернувшись к Мальцеву, отрывисто спросил:

— Кто такой?

Никита всеми силами сдерживался, чтоб не взглянуть в ненавистное лицо, — он чувствовал, что если это случится, то он может вскочить, ударить, бешено закричать, — и, не подымая глаз на Костина, произнес глухо, кивнув в сторону Андреева:

— Он знает.

Андреев передернул плечами.

— Из казаков. Был у меня помощником. Но это значения не имеет. Предъявите документы!

Никита нехотя, словно размышляя, стоит ли это делать, полез в карман, вынул бумаги, но протянул их не Костину, а Андрееву, тот передал документы Костину.

Костин взглянул на бумаги, вышел из-за стола. Он оказался человеком маленького роста, коротконогим, обут в пыльные сапоги. Длинную сутулую спину и впалую грудь перетягивал ремень, на котором висел старый «бульдог» — обычное вооружение железнодорожных почтовых чиновников.

Он подошел к Никите, улыбнулся всем своим длинным лицом, взял Никиту за руку, — тот вздрогнул, словно прикоснулся к гадкому.

— Что ж это ты, брат, такой огневой? Контужен был, что ли? Ну, на первый раз забудем. А вообще... Ну, словом, рады. Выходит — нашего большевистского полку прибыло.

И, обернувшись к Андрееву, Костин сказал, с гордостью показывая на Никиту:

— Матерый. В Питере на армейской конференции делегатом был.

Андреев улыбнулся, словно эти слова относились к нему.

— Парень он хороший. На машиниста я его готовил. Казак, а любит наше дело — механику. Ну, Никита, обнимемся, что ли? Со счастливым приездом!

Никита нехотя обнял Андреева. Присутствие Костина тяготило его, он угрюмо пробормотал:

— Для кого счастливый, а для кого и колом выйдет.

И оглянулся на Костина. Тот стоял, опершись рукой о стол, и с какой-то молчаливой грустью смотрел на Никиту. Но, встретившись с ним взглядом, вдруг изменился в лице и отрывисто и деловито сказал:

— Давай обсудим тебе назначение; дел у нас тысяча! Обстановка трудная.

Потом, показывая Андрееву на притихшего парня, умильно и добродушно смотревшего на Никиту, попросил:

— Возьми и выясни, кто он и кем был поставлен.

Парень всплеснул руками и плаксивым басом запричитал:

— Дяденька, не надо, не фронтовик я вовсе, казак. Меня батька сюда послал — может, куда зачислят службу несть...

— Что ж, у вас дома жрать нечего? — спросил Костин.

— Зачем? — приосанился парень. — У нас хозяйство исправное.

И, вдруг поняв что-то по глазам Костина, испуганно объяснил:

— Я же не сам, не своей охотой, мне же батька велел. Я ничего и не трогал. Вот хоть обыщите...

Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась толпа железнодорожников во главе с Маслюковым. Он был в новой кожаной куртке и в военной фуражке, низко надвинутой на глаза. В руке стиснут наган, на который, как завороженный, смотрел железнодорожник в расстегнутой куртке и с оцарапанным лицом.

Костин встал, оперся руками о стол. В комнате стало тихо, — только тяжелое дыхание людей, шарканье переступающих ног.

— В чем дело?

Маслюков бросился на стул и, расстегивая ворот рубахи, изнеможенно сказал:

— Вот этот оказался предателем.

Бледный, взъерошенный железнодорожник сделал шаг к столу и, взволнованный, со слезами на глазах, указал на Маслюкова:

— Они приказали мне задержать эшелоны Петренко — анархиста.

Маслюков наклонился к Костину:

— Из Уаловой была получена депеша — кто-то преступно беспрепятственно пропустил бандита Петренко. Нам было приказано его задержать.

— Почему не доложили? — сурово оборвал Костин.

Маслюков, негодуя, встал. Обращаясь к Андрееву и Мальцеву, он сказал, пожимая плечами:

— Удивляюсь товарищу Костину! Почему штаб обороны обязан докладывать ревкому о каждом своем оперативном действии?

Судя по красным пятнам, покрывшим бледное лицо Костина, ему стоило большого усилия сдержаться.

Маслюков снова уселся, положив ногу на ногу, и полным угрозы голосом обратился к растрепанному железнодорожнику:

— Ну-с, рассказывайте, голубчик. Вас слушают.

Железнодорожник даже не взглянул в сторону Маслюкова; обратив страдающее лицо к Костину, он продолжал, тяжело переводя дыхание:

— ...Вышли мы на сто восемьдесят четвертую версту — восемьдесят штыков при одном пулемете... Окопались... Ждем. На рельсы шпалы наворотили...

— Почему не минировали путь? — спросил Костин.

Железнодорожник, обернувшись к Маслюкову, сказал:

— Они не велели.

— Врет, — твердо произнес Маслюков.

Железнодорожник покраснел, растерялся. Несколько мгновений он стоял, судорожно двигая челюстью, — ему не хватало воздуха.

— Садись. Продолжай. Разберемся.

Железнодорожник сел и вновь заговорил прерывающимся голосом:

— Ну, засели мы, ждем... Через часок примерно подкатывают к нашему заграждению три эшелона по тридцать пять вагонов в каждом; у переднего состава на площадках восемь орудий за мешками с песком, из каждого окна пулеметы. Матросы с карабинами, гранатами — пырь под вагоны и залегли. Народу там, по всему видать, сотен пять. Глядя на их вооружение, нас дрожь пробрала от зависти. Но драться решили твердо. Вдруг из вагона выходит плюгавый такой морячок и кричит в нашу сторону: «Эй, дурачки, давайте парламентера! Петренко разговаривать желает!» Посоветовался с ребятами, пошел.

Проводили меня морячки в штиблетах в вагон первого класса. Петренко — мне навстречу, руку протягивает. На столе — угощение: коньяк высшей марки, закуска — колбаса жареная. Я выпить наотрез отказался. Петренко говорит: «Мы насилия ни в чем не признаем. Не хочешь — не пей». Выпил он сам, потом спрашивает: «А знаешь ли ты, что такое анархизм?» Я ему: «Не знаю и знать не желаю. Говорите прямо — сдаетесь или нет, а то надоело вас держать на пушечном прицеле». Петренко усмехнулся: «Пушек-то, положим, у вас нет, а у нас есть, но не в этом дело». Велел он вызвать из другого вагона мужчину — образованный такой с виду, вроде товарища Маслюкова. И начал тот мне про анархизм объяснять. Я его, конечно, не слушаю. «Ну, как, — спрашивает меня Петренко, — со-

гласен с нашей программой?» — «Нет, говорю, не согласен». Хочу объясиить — почему, а не выходит. Тогда Петренко встает и велит матросу вынести нам из вагона шесть винтовок, восемь сабель, ящик винтовочных патронов, пол-ящика орудийных снарядов, пулемет поврежденный. «Вот, говорит, берите и катитесь. Мы вас не будем трогать, а вы нас. Потому что все-таки главный наш враг буржуазия, а взять нам с вас нечего». Вижу: действительно положение такое — гнева на них, так сказать, как на нашего врага, у меня не стало, а своих людей жалко. «Ну, говорю, подбросьте еще десятка два бомб, ящик патронов, и разойдемся». Они и подбросили. Пожал мне Петренко руку, вышел я из вагона. И не думал вовсе, что неправильно сделал, а только обидно было, что политически себя не доказал. Разобрали шпалы. Паровоз посвистел, тронулся. Они нам помахали, а мы им — нет. Подобрали оружие — с паршивой собаки хоть шерсти клок...

Железнодорожник приложил к груди руку и произнес с тревогой и скорбью:

— Вот и все, товарищ Костин. Все — истинная правда.

Помолчав, Костин вынул из кармана грязный носовой платок, вытер потные руки и устало сказал железнодорожнику:

— Ступай, Яковлев, о решении узнаешь после.

— То есть как это ступай? — возмутился Маслюков, подождав, когда дверь за Яковлевым закрылась.

Костин поднялся из-за стола, подошел к Маслюкову и, покачиваясь с пяток на носки, с недоброй улыбкой ждал, пока Маслюков торопливо и неумело засует наган в кобуру, затем спросил вежливо и тихо:

— Как же это так получается, товарищ Маслюков? Посылаете вы людей задержать вражеский эшелон и даете только одно указание — не портить пути. А кто этот враг и за что его нужно бить — люди должны сами догадаться или действовать вслепую.

Маслюков, продолжая возиться с кобурой, пробормотал неохотно:

— Я полагаю, что политико-разъяснительная работа ведется ревкомом. Функции штаба обороны иные. И потом... — Маслюков раздраженно надел фуражку. — Чего вы ко мне пристали? Давайте, знаете... поменьше общих разговорчиков, да побольше дела. Относительно Яковлева штаб обороны вынесет свое решение.

И, чуть не споткнувшись о вытянутые ноги Андреева, яростно огляну лся и вышел. Вскоре вышел и сам Андреев.

— Видал, — обратился Костин к Мальцеву, — каков типик?

Положив руку на плечо Мальцева, он спросил:

— Ну теперь выкладывай, какую работу хочешь. Скажу прямо — люди везде нужны. В ревкоме будешь работать?

Мальцев осторожно снял с плеча руку Костина и угрюмо сказал:

— В ревкоме нам с тобой вместе трудно работать. Понятно?

Костин переложил на столе бумаги и тоже, не подымая глаз, глухо ответил:

— Пожалуй.

Потом выпрямился, произнес твердо, глядя прямо в глаза:

— Вот что. Нам нужен бронепоезд. Банды совершают налеты на мелкие станции. Казачество в станицах готовится к восстанию — окружной атаман уже сколотил крепкую вооруженную группу. Мобилизуй людей и работай, ребята у нас хорошие...

Вошел встревоженный Андреев.

— Допросил казачка, — сказал он негромко. — Дурачком вначале прикидывался... Восстание готовится всерьез. К Узловой подходят крупные соединения белых.

Жил, ел и спал Мальцев на вокзале в помещении первого класса вместе с бойцами.

Маслюков неохотно подписал приказ о выдаче для бронепоезда четырех железных полувагонов системы «фокс-арбель», заметив, что воевать таким способом с конными бандами смешно и глупо. Выдать двести штук шпал, необходимых для перекрытия бронеплощадок, отказался.

Мальцев не стал спорить. В депо он обратился к рабочим. И железнодорожники раздобыли всё, что было нужно...

Через два дня бронепоезд был готов. Параллельно железным стенкам полувагонов «фокс-арбель» были сделаны другие, деревянные, а в промежуток между ними насыпали песку. Сверху бронеплощадку прикрыли рядами шпал — для защиты от снарядов и аэропланных бомб. Лобовую стенку переднего полувагона сняли и поставили сюда трехдюймовое орудие. Оборудовали стеллажи для снарядов, сколотили несколько деревянных коек для отдыха команды. В середину этого состава поставили паровоз серии «ОВ».

Мальцев намеревался сформировать команду для бронепоезда из бывших фронтовиков. Но железнодорожники решительно воспротивились. Еще в то время, когда в депо мастерилась эта неказистая крепость на колесах, они решили стать ее бойцами.

Мальцев понимал, что железнодорожники имеют право воевать оружием, наиболее им привычным. И, передав командование ротой фронтовиков Андрееву, он ночью выехал на бронепоезде к станице Гуровской, где, по имевшимся сведениям, контрреволюционное казачество готовилось к восстанию против Советской власти и на требование сдачи оружия ответило отказом.

Рота фронтовиков должна была идти в станицу степью. Через станичный Совет удалось добыть для пехоты обоз с обязательством вернуть его через два дня: одна водовозка на двадцать ведер и две тачанки с провиантом должны были следовать за пехотой.

4

Костин вторые сутки не был дома. Он спал здесь же, в ревкоме на столе, положив под голову мешок с документами. Конечно, он мог найти время, чтобы побывать дома, но сам не хотел этого.

Видеться с женой ему было сейчас слишком тяжело. Дочь станичного казака Храмова, она пошла за Костина замуж против воли отца. Несколько раз братья Нины, приезжая в поселок на воскресные базары, ловили Костина на улице и в присутствии отца их, жилистого старика с седым вьющимся чубом, набрасывались на зятя с кулаками. Прислонясь спиной к забору, Костин отбивался, нанося жестокие редкие удары в пьяные лица своих родственников.

Замыв кровь у соседей и кое-как заправив порванную рубаху, Костин приходил домой. Нине говорил, что подрался с грузчиками на Товарной. Но жена отлично знала, в чем дело. Бледнея, сжав губы, щуря серые гордые глаза, она произносила глухо:

— Ты бы шкворень в мастерской сделал и шкворнем их по башкам!

Но унизительнее всего было, когда эта родня в полном составе после базара на двух тачанках являлась «в гости». Костин, работавший смазчиком, снимал крохотную комнату в доме сцепщика Силушкина. Для родичей не было ни посуды, ни угощения. Приходилось бегать по соседям, занимать деньги, одалживать стулья, тарелки, ложки, вилки.

Родственники, рассевшись в палисаднике, ждали. Сладкими голосами они просили Нину:

— Уж ты прости, за ради бога, мы исть не очень хотим, нам только перекусить чего-нибудь, может, хлебушко найдется — и за то спасибо...

Каждый наезд родственников обходился Костину в месячную получку. Зная гордый, самолюбивый нрав Нины, он покупал в бакалейной лавке дорогие консервы, вина. Но, когда прибегал домой, оказывалось, что гости, достав свой хлеб, огурцы и прочую снедь, разложив все это по столу, уже ели с кроткими обиженными лицами.

Костиным приходилось отказывать себе во всем. У Нины было только два платья, одно — из серого сатина, в котором она ушла от отца и постоянно ходила дома, другое — синее, с белым воротничком, — ей купил его Василий в годовщину свадьбы.

Но никогда Василий не слышал от жены ни слова упрека. С суровым ожесточением он стал пробиваться к лучшей жизни, чтобы вознаградить Нину за ее самоотверженную, безоглядную любовь, за страдания, причиняемые бедностью.

Через два года он стал машинистом. Возвращаясь из поездок, он ходил по экономиям, ремонтировал сельскохозяйственные машины, чинил ведра, работал в кузнице.

Дела начали поправляться. Они переехали в новую квартиру. Нина ходила озабоченная, с серьезным, полным какого-то внутреннего света лицом.

Как-то отец Нины пришел к ним. Оставив сыновей на улице, не решаясь сесть, он смущенно и грубо попросил взаймы сто рублей. Пала лошадь, а год выдался неурожайный — суховей сжег посевы. Василий поспешно отдал старику все свои сбережения.

Отец ушел с лицом, покрытым красными пятнами. Нина бросилась Василию на шею. Прижимаясь щекой к его груди, целуя руку, она тормошила мужа, заливаясь тоненьким, торжествующим смехом, каким смеялась редко, в минуты только очень большого счастья.

В дни, когда Василий приносил получку, Нина, всегда такая суровая, сдержанная, превращалась в хлопотливую восхищенную девочку. Озабоченно пересчитывая деньги, прятала их под подушку и становилась такой нежной и внимательной, что Василию делалось совестно. Он как-то сказал ей об этом. Нина сначала покраснела до слез, смутилась, но потом объяснила, что теперь, когда у них будет ребенок, она не хочет больше терпеть нужду. И потребовала от Василия (по совету отца), чтобы он брал с собой в поездки творог, масло, битых кур, — их будут привозить родственники, и продавал всю эту снедь на узловых станциях торговкам. Как ни стыдно было Василию, он согласился. Доход от торговли почти вдвое превышал его заработок машиниста.

Родственники прониклись к Василию уважением, называли почтительно Василием Макарычем и, когда он с нарядно одетой женой приезжал навестить их в станицу, встречали парадно, торжественно. Отец усаживал Костина рядом с собой и, поднося ему первую стопку, говорил:

— Дорогому зятюшке за общее наше преуспеяние.

Но рабочие поездной бригады избегали дружбы с Василием. Сцепщику Силушкину отрезало ногу. Машинист Андреев с картузом в руках обходил рабочих, собирая деньги для семьи пострадавшего. Василий бросил в картуз сорок рублей. Андреев вынул их оттуда. Не глядя на Василия, он молча положил деньги на ступеньку паровоза и прошел мимо.

Одиночество озлобило Василия, и он сам не делал никаких попыток завязать дружбу с сослуживцами.

В 1905 году из Сальских степей была вызвана казачья часть для подавления вооруженного восстания в Ростове.

Василия пригласил к себе начальник станции и в присутствии жандармского офицера приказал вести эшелон с казаками.

Василий вывел паровоз с запасных путей к водокачке заправиться водой. В будку поднялся Андреев и озабоченно спросил:

— Значит, едешь?

Василий хмуро посмотрел на него, ничего не ответил, потом подошел к окну, крикнув помощнику:

— Полней давай. Без остановки идти будем.

Обернувшись, он почти столкнулся с Андреевым.

— Совесть у тебя рабочая осталась? Ведь своих убивать везешь. Откажись! Все отказались.

— Ступай! — крикнул Василий. — Пошли вы все к...

И длинно выругался.

Заметив жандарма, Андреев соскочил с подножки и угрожающе крикнул:

— Ладно, Василий Макарыч, спасибо тебе от всех семей сирот и вдов. Старайся!

Василий подал паровоз под состав, набитый лошадьми и казаками. Двери теплушек были открыты настежь. Казаки горланили песни.

Пройдя станцию Торговая, на середине пустынного и длинного перегона Василий перекрыл тендерные клапаны, подающие воду к инжекторам. Когда потолок топки стал обнажаться и начали плавиться предохранительные пробки, Костин остановил поезд, объявив, что дальше ехать нельзя: взорвутся котлы. До ночи эшелон простоял в степи, пока не подошел вспомогательный состав. Василий девять месяцев просидел в тюрьме, а

выйдя на волю, не застал дома жены. Она с ребенком переехала к отцу.

Василий остался без работы. В это время в Котельниково прибыл новый начальник станции Маслюков.

Рабочие обратились к нему с требованием вернуть Костина на работу, угрожая в случае отказа забастовкой. Маслюков принял делегатов у себя дома в халате. Приказав кухарке подать чай, он сказал, лениво и грустно улыбаясь:

— Костина я, конечно, на работу приму. Но не потому, что вы пугаете забастовкой. Стачка — глупость, анархия, забастовки наносят только ущерб России и нам с вами. Всякие недоразумения мы будем решать впредь на основе справедливых и разумных принципов. Ведь вы не мужики деревенские, чтоб устраивать сходки и бунты. Вы — организованный, наиболее сознательный класс и, значит, должны защищать свои интересы так, чтобы это приводило к общественно полезным результатам.

Василий приступил к работе. Нина вернулась к нему с ребенком. Но прежней душевной нежности, сокровенной и самоотверженной заботы друг о друге уже не было: Нина всю себя отдавала ребенку. Она не проронила ни слова, когда Василий отказался возобновить торговлю по станциям.

Жили они скупо, бедно, потому что Нина копила деньги, боясь снова какой-нибудь неожиданности.

Сблизившись с Андреевым, Василий стал посещать собрания комитета. И сам впервые организовал демонстрацию протеста по поводу ареста и посылки на фронт на передовые позиции машиниста Мальцева, уличенного в антивоенной пропаганде.

В тридцать лет Василий выглядел сорокалетним. Сухие тонкие морщины пересекали его высокий с залысинами лоб. Отчужденность Нины, возраставшая с каждым днем, мучила его. Много раз он пытался говорить с женой о своей партийной работе, но в ответ выслушивал только грубые, злые слова. Иногда Нина нарочно прикидывалась глупой, спрашивала, сколько будут платить ему при социализме и нельзя ли получить вперед, а то ребенку ходить не в чем. В такие минуты Василий люто ненавидел жену...

Обо всем этом Василий рассказывал Андрееву. Тот задумчиво потирал лоб темной маленькой рукой и говорил медленно, с укоризной:

— Пойми ты, Василий Макарыч, что жена у тебя — казачка. Значит, есть у нее в крови эдакое крестьянское. Но какой же ты сознательный человек, если на любимого человека умом и сердцем воздействовать не можешь!

И неожиданно заключал:

— Выходит, что нельзя будет тебя по вагонам пускать, с фронтовиками беседовать — выдержки маловато. Придется для тебя твердого товарища подыскать.

Твердым товарищем оказалась жена машиниста Мальцева — Настя. Сопровождая воинские эшелоны, Василий брал ее с собой. На остановках они вдвоем заходили в солдатские вагоны и заводили беседы.

Настя была маленькой, худенькой, темноволосой, с большими запавшими глазами и певучим голоском. При виде женщины солдаты обычно начинали говорить пакости. Настя, строгая и спокойная, терпеливо ждала, пока люди угомонятся, а затем произносила просто и скорбно:

— Кто теперь солдатскую жену не обижает! Все обижают. Кто словами, а кто и иначе. Вы думаете, легко без мужа, без защитника! Чего только не натерпятся теперь ваши жены и сестры. А за что?!

Солдаты угрюмо притихали, а потом слушали Мальцеву внимательно и серьезно.

По приказанию офицера Настю хотели задержать станционные жандармы. Солдаты выскочили из вагонов, избили жандармов, переколотили стекла на вокзале и отказались следовать дальше, пока из Узловой не был выслан бронепоезд.

В пути, стоя на трясущемся полу будки паровоза и внимательно глядя на руки Костина, Настя мечтательно и грустно рассказывала о своем муже, и Василию было неприятно слушать эти слова, нежные, тоскующие, — ему становилось завидно. Стыдясь этого чувства и не в силах справиться с ним, Костин сипло и неприязненно спрашивал:

— Он тебе пишет?

— Нет, — покорно вздыхала Настя, — он еще, когда на фронт уходил, сказал: «Сам писать не стану, и ты не пиши, меньше мучиться будем».

— С характером! — коротко бросил Василий.

А Настя, не замечая его тона, застенчиво продолжала:

— Он строгий. Но умел и ласковым быть. Таким ласковым, что мне в такие минуты умереть от радости хотелось. Возьмет меня, завернет в одеяло, прижмет к себе и, как ребенка, носит по комнате. В лицо заглядывает, смеется...

И Василий, чтобы не слышать певучего голоса женщины, не видеть ее лица, отворачивался.

Как-то Василий с Настей возвращались ночью после заседания ревкома. Это было накануне роспуска старого состава Со-

вета. Стояла густая темень, затянутые ледком лужи хрустели под ногами, с голых ветвей деревьев падали капли влаги.

Настя, зябко ежась в старенькой, расшитой черной тесьмой, наверное от бабушки доставшейся жакетке, с буфами на плечах, шла впереди. Беспрестанно оглядываясь, она говорила тонким счастливым голосом:

— Ведь так все просто, Василь Макарыч! Рабочие трудились, а капиталисты из века в век им за работу честно не платили. И столько этих ворованных денег накопилось, что рабочие давным-давно на них могли купить себе все фабрики и заводы. А раз они наши, то нужно их отобрать. Помещики, коннозаводчики всей землей владеют, а земля — народная. Ну и нужно ее народу отдать. Все очень просто. Нужно только каждому правду объяснить...

Костин, ничего не отвечая, шагал позади. Он думал о Насте. Сейчас вот она задушевно говорит о правде как о чем-то очень личном, сердечно близком ей. А полчаса назад упорно допытывалась на ревкоме у Андреева, сколько рабочих участвует в сторожевых охранениях. И когда Андреев снисходительно ответил: «Хватает. Охотников много», — Настя всполошилась и сурово его отчитала:

— Да разве тебя только охрана складов заботить должна? Побольше людей вооружать надо — вот в чем главное. Пусть хоть телеграфные столбы охраняют, лишь бы с винтовками были. Пригодятся!..

Василий, видя, как Настя неуверенно балансирует руками, переходя по обледеневшей кромке лужи, хотел помочь ей, но взять под руку не решался. Вдруг из-за угла метнулись два человека: один из них взмахнул рукой, и Настя, жалобно всхлипнув, упала на землю. Василий нагнулся, чтобы вытащить из-за голенища тяжелый трехгранный подпилок. Выпрямиться он не успел: один из парней навалился на него сверху, а другой, суетясь, кричал: «Башку ему не заслоняй, башку!» Василий упал, вскочил и ткнул кому-то головой в живот. Парень, хрустнув зубами, ничком растянулся на земле. Другой убежал.

Настя лежала без сознания, скорчившись. Рука заломлена за спину.

Василий поднял Настю. Голова ее падала, губы раскрылись. Лицо посерело. Василий отнес Настю к себе домой.

Похудевшая, повязанная белой косынкой, из-под которой смешно торчали большие прозрачные уши, Настя походила на девочку. Нина, как только Настя стала поправляться, категорически заявила Василию, что «не желает держать в доме его девок».

Василий вызвал Нину на улицу. Глядя на нее, сытую, с надменно вздернутыми бровями, он стиснул ей плечо так, что она побледнела от боли, и сказал, задыхаясь:

— Не смей больше так говорить! Слышишь! Она мне знаешь — кто?

Нина посмотрела на него с отвращением и, ничего не ответив, выдернув свое плечо из его дрожащих пальцев, ушла. Вечером, забрав свое имущество и не попрощавшись, уехала снова к своим, в станицу. Василий не решился спать в одной комнате с Настей и устроился на сеновале. Утром он застал Настю одетой. Увидев его, отводя в сторону свои тоскующие большие глаза, она сказала:

— Бессердечный ты человек, Василий Макарыч! Зачем ты жену мучил? Не видел, как она из-за меня страдала? Эх ты! Одичала она, а почему? Потому, что ты грубый, жестокий. Она тебя любит. Такой любви ты нигде не найдешь. И не ищи — прямо тебе говорю.

Нина с ребенком поселилась одна в халупе у вдовы и зарабатывала на жизнь, нанимаясь полоть огороды.

Василий поехал в станицу и, зная гордость жены, не пошел к развалюшке, где жила Нина, а дождался ее на улице.

Увидев мужа, Нина хотела свернуть в сторону. Но Василий нагнал ее и, смущенно глядя в похудевшее, измученное, но попрежнему надменное лицо, сказал:

— К отцу не заезжал. Только с тобой хотел поговорить. Вернись. Как-нибудь проживем. Ребенок у нас все-таки.

Нина, сплетая и расплетая худые пальцы с грязными поломанными ногтями, сказала глухо:

— Революцию делаешь, счастье сулишь! А сам?! Эх ты, Василий!

При встречах с Василием Настя вела себя сдержанно, настороженно, говорила лишь о делах. Только перед отъездом в станицу, откуда она должна была пробраться в степь, чтобы связаться с партизанским отрядом, она снова напомнила Василию, тихонько дотронувшись до его руки:

— Василий Макарыч! Жить человеку дано на свете только один раз. Любить тоже. Попомни мои слова. И не сердись.

На следующий день Костин узнал: банда напала на эшелон, спустила его под откос. Настю, по-видимому, расстреляли вместе с поездной бригадой, оказавшей сопротивление бандитам.

По спокойному торжественному лицу Нины Василий понял, что она тоже узнала о случившемся. Но они не сказали об этом друг другу ни слова. Нина — из гордости. Василий — из боязни оскорбить память дорогой ему женщины.

5

В ревкоме шла напряженная работа. Станция должна была работать четко, как никогда. Нужно было поставлять хлеб для голодающего Питера и Москвы, а бандиты портили пути, сжигали телеграфные столбы, раскладывая под ними костры.

Нужно было платить жалованье, а в национализированном коммерческом банке некому было работать.

Нужно было снабжать продуктами рабочих, сколачивать отряды обороны, не имея ни оружия, ни обмундирования, ни продовольственных запасов.

Нужно было распределять через комбеды сельскохозяйственные машины из национализированных складов и конфискованных помещичьих экономий. Дел накопилось уйма, а в станичные Советы пролезли кулаки и кое-где уже верховодили.

Последние сведения о готовящемся против Советской власти мятеже казаков носили особенно тревожный характер.

Это была сейчас самая серьезная угроза.

Василий давно заготовил список рабочих, которых он думал направить в деревню, чтобы с их помощью наладить политическую работу Советов.

Действовавшие вокруг красные партизанские отряды почти не имели между собой связи. Надо было отобрать надежных товарищей, чтобы обеспечить эти отряды большевистским руководством. Ревкомы соседних станций также действовали разрозненно.

На совместном заседании ревкома со штабом обороны Костин поставил на обсуждение свой проект о посылке рабочих в деревню и в партизанские отряды, но встретил самый решительный отпор со стороны Маслюкова.

Маслюков утверждал, что такие меры только распылят силы, ослабят военно-политическое значение котельниковской группы.

— Нелепо думать, будто два-три приезжих человека смогут изменить настроения в станице или что посылка одного-двух рабочих-коммунистов покончит с партизанщиной в отрядах. Далее, в качестве кого поедут эти делегаты? Комиссаров? Но у нас нет таких людей, которым мы могли бы доверить комиссарские функции. Наконец, почему это самостийно возникшие отряды с избранными ими начальниками должны подчиниться присланным с бумажками ревкома людям?

Маслюков говорил, жестикулируя и бросая гневные взгляды на Костина:

— Мы должны рассчитывать только на себя. Крестьяне не

станут подымать на нас руку, если мы будем вести единственно правильную политику разумного блока. Мы отдали им земли помещиков и коннозаводчиков, и крестьянские интересы теперь удовлетворены. Но мы переоцениваем свои силы, оказывая давление на зажиточное крестьянство. Этим самым мы искусственно создаем себе врагов, не имея средств с ними бороться.

Андреев закричал с места:

— А ты хочешь, чтоб мы ублажали кулаков за счет бедняцких интересов, так, что ли?

— Я хочу только одного, — гордо произнес Маслюков, — правильного, последовательного осуществления революционных принципов.

Слово взял Костин. Медленно и устало поднявшись, он тихо сказал:

— Тут нужна маленькая поправочка, товарищ Маслюков. Мы вовсе не переоцениваем свои силы, а наоборот. У тебя выходит, будто мы, рабочие, одни боремся за Советскую власть, а крестьянам, чтобы они не вмешивались, отпускаем подачки. Это неверно. Революционные интересы у нас с крестьянами одинаковые; мы не хотим, чтобы собственностью владели эксплуататоры, они — тоже.

— Кто это они? — крикнул с места Андреев.

Костин со смущенной улыбкой как бесспорное и общеизвестное пояснил:

— Бедняцкие слои, я разумею. Подсчитай их да приложи к нашим силам. Сколько это получится, товарищ Маслюков?

И, лукаво сощурившись, закончил:

— За эту вот силу и стоит нам драться. Тогда мы будем непоколебимы.

Маслюков, наклонясь с папиросой к зажженной спичке, сквозь зубы с явной издевкой спросил:

— Вы, товарищ Костин, кажется, давно уже лично попытались, так сказать, породниться с крестьянским сословием, но от этого духовного содружества, по слухам, ничего путного не вышло.

Костин побледнел. Расталкивая людей, он шел к Маслюкову. Андреев успел схватить его сзади и с трудом вывел на улицу. Усевшись на крыльце, Костин долго тер себе лоб ладонью и тяжело дышал.

Андреев обнял его за плечи.

— Эх ты, дурачина! Ведь он нарочно раздразнил тебя, чтобы из себя вывести. Теперь он твой план наверняка провалит. И ревком еще и порицание тебе вынесет. Ты ведь сам тогда этого

контуженного Мальцева правильно наставлял: смирять себя нужно, раз за общее дело взялся. А вот со своим личным сладить не можешь!

Андреев оказался прав: штаб обороны провел свое решение — отправить делегатов в станицы и партизанские отряды не удалось.

6

Маслюков ходил по своему кабинету в штабе обороны, размышляя о последнем заседании, где он так ловко посрамил председателя ревкома Костина, этого скучного и назойливого человека, так недоверчиво к нему относящегося.

Маслюкова оскорбляла подозрительность. Он ощущал в себе решительную перемену. Минуло то время, когда он, Маслюков, отечески удерживал людей от крайних поступков. Откуда он мог знать, что революция превратится в величайшую бурю, что весь народ, поднятый большевиками, с неудержимой силой устремится к осуществлению тех идеалов, которые он, Маслюков, считал только «теоретическими пожеланиями».

Правда, до сих пор Маслюков числился в рядах предупреждающих. Попытка послать рабочих в деревню, чтоб создать из бедняков силу, способную подавить кулацкий мятеж, — конечно, глупость. Нужно действовать решительно — разгромить одну-две станицы дотла, дать казакам предметный урок, чтобы у них навсегда пропала охота к восстаниям. А в дальнейшем надо прекратить всякое вмешательство в дела деревни.

Размышления Маслюкова были прерваны появлением телеграфиста с лентой в руке.

— Из Узловой, — сказал телеграфист, протянул ленту и отступил к двери.

Маслюков стал читать депешу, далеко отставив руку, явно рисуясь перед телеграфистом своим небрежным спокойствием:

«Необходима ваша помощь, ваше участие деле борьбы белыми бандитами, которые пробираются пределы Ставрополя и Дона. Организуйте боевую дружину, отряды и первым поездом поезжайте на Узловую. Отдать Узловую — значит потерять связь всеми пунктами передвижения юга на восток и запада на север».

Первое, что ощутил Маслюков, — страх, от которого холодеет затылок, мерзнут уши и в животе ощущается томительная тошнотная слабость.

Не будь здесь телеграфиста, Маслюков, пожалуй бы, даже всхлипнул.

«Что же теперь?.. Бежать в ревком, поднять людей? Или, может быть, скрыть, сделать вид, будто депеша не получена? Где сейчас Ольга Викторовна? А что, если на паровозе удрать?» Он даже машинально сделал шаг к двери. Но, переведя взгляд на телеграфиста, стоявшего с вытянутым лицом и тусклыми глазами, Маслюков одумался. «Он, кажется, тоже испуган, и даже больше меня. — И тут же злорадно подумал: — А этот Костин хотел еще послать рабочих в деревню. Что было бы, если б я не настоял на своем? Впрочем, кто теперь помнит об этом? А жаль, очень жаль! Эх, как бы сейчас выглядел ревком, если бы я не так решительно возражал против посылки рабочих в деревню! Нет, какая проницательность, какая проницательность!»

Он гордо посмотрел на телеграфиста и спросил:

— Вы что-нибудь еще имеете ко мне?

— Что же теперь будет, товарищ Маслюков? У меня же дети!

Маслюков сделал шаг к телеграфисту и закричал, радуясь, что в состоянии кричать, что горло не перехвачено спазмой:

— В аппаратную! Только о собственной шкуре думаете?!

И он затопал бы ногами, не войди в это время в кабинет Зильбер. Изумленно оглянувшись на телеграфиста, ощупью ищущего дверную ручку, Зильбер пожал плечами. Затем, пропустив его, прошел и уселся в кресло, положив ногу на ногу.

Между Маслюковым и Зильбером давно установились дружески-иронические отношения. Оба давно убедились, что все их долгие разговоры и споры являются, в сущности, отзвуком чьих-то чужих слов и мыслей и что каждый из собеседников имеет свои собственные тайные честолюбивые замыслы.

Маслюков не любил, когда Зильбер заходил к нему в штаб обороны. Это могло вызвать неприятные толки и заставило бы давать сложные объяснения. Но Алексей Петрович находил неудобным сказать об этом Зильберу, чтобы он не понял это как признание зависимости его, Маслюкова, от подчиненных членов штаба.

И сейчас, стесненный присутствием Зильбера, но вместе с тем очень довольный — ведь Зильбер видел, как он «распекал» телеграфиста, Маслюков небрежно сказал:

— Извините, Макс Максимович, у меня горячее время. Дел по горло. Еще раз извините, голубчик, но вы видите...

И Маслюков выразительно развел руками, с улыбкой, как бы говорящей, — я рад вам, но увы...

Зильбер смутился, вскочил с кресла поспешнее, чем следова-

ло, и, многозначительно, с глубоким уважением пожав руку Маслюкову, вышел из кабинета почти на цыпочках.

Маслюков остался один. С лица его медленно сходило торжественное выражение, плечи опустились. Волоча ноги, он подошел к окну и стал барабанить пальцами по стеклу.

Час тому назад началось совещание ревкома по поводу отказа штаба обороны выделить рабочих для отправки в деревню. Стоит ему сейчас ворваться туда с телеграммой и зачитать ее, вот тогда все поймут вздорность намерений Костина.

Но можно сделать иначе. Можно явиться не сейчас, а позже, когда ревком уже вынесет постановление, рабочие будут оповещены и выедут по местам назначения. Вот тогда они осознают всю глубину своей ошибки. И после этого он, Маслюков, сможет расправиться с Костиным так, как следует поступать с подобными людьми в военно-революционное время.

Маслюков встряхнул головой и, одернув китель, ставший тесноватым на животе, подошел к телефону.

— Барышня, дайте квартиру начальника штаба обороны.— И певучим голосом проворковал, склоняясь к трубке: — Это ты, козочка? Я сейчас забегу домой... Приготовь мне, пожалуйста, теплую фуфайку и положи в чемодан походную аптечку. Я выезжаю сегодня на операцию... Нет, голубка, не беспокойся, ничего опасного — маленькая рекогносцировка. Ну, об этом дома.

Положив трубку, он решительными шагами вышел из штаба. На улице его ждала лакированная пролетка с парой чудесных соловых коней, реквизированных у коннозаводчика Королькова.

7

На втором месяце после своей свадьбы Ольга Викторовна сделала ужасное открытие.

Алексея Петровича не было дома. Ольга скучала. Слоняясь от скуки по квартире, она зашла в кабинет и, усевшись за письменный стол, почти машинально написала на бюваре толстым синим карандашом:

А — 32; О — 22; А — 32 + 10 = 42; О — 22 + 10 = 32.

Прибавив к своим годам и годам Алексея Петровича по десяти лет, она пришла в отчаяние.

По законам, установленным в обществе Оленькиных подруг, считалось, что тридцать лет — критический возраст для женщины, мужчина же и в пятьдесят может оставаться шалопаем, если обладает мужественной внешностью и не очень потрепан.

Подавленная своим открытием, Ольга пришла в смятение.

Алексей Петрович явился домой и, вытащив из портфеля коробку шоколадных конфет, прошел в Оленькину комнату, удивленный тем, что она его не встретила. Он увидел жену лежащей на кушетке с бледным, опухшим от слез лицом.

Ольга медленно поднялась ему навстречу и, бросившись на колени перед испуганным мужем, трагически потребовала от него дать клятву не изменять, пока ей не исполнится тридцать лет. Потом он может делать все, что ему угодно, так как она все равно в день своего тридцатилетия покончит самоубийством.

На следующий день встревоженный Алексей Петрович повез свою молодую жену к доктору.

Знаменитый врач оправдал надежды мужа.

Ольга вернулась от доктора воодушевленная. Она немедленно стала проводить в жизнь первый пункт обширной программы, предложенной ей медиком в качестве секрета сохранения молодости: ложась спать, она приказала Алексею Петровичу открыть в спальне форточку. А на улице был декабрь, дул сухой снежный ветер...

Как боксер, как спринтер, тренирующийся к соревнованиям на мировое первенство, Ольга Викторовна подчинила свою жизнь строгому режиму, полному лишений, утреннего труда, гимнастики. Она ложилась в девять, вставала в шесть, не пила вина, не ела мяса, тратила большие деньги на массажисток. Встречая знакомых, говорила только о здоровье. Принимая гостей, разрешала курить лишь на кухне. Стремясь побывать лишний раз в году на курорте, она стала скупой и расчетливой до отвращения.

Все старания Алексея Петровича избавить жену от «подвижнического» образа жизни не привели ни к чему. И Алексей Петрович, примирившись с таким существованием, направил все силы своей освобожденной энергии на политику.

Первое время Ольга Викторовна относилась равнодушно к увлечению мужа судьбами российского государства. Но наступившие затем невзгоды, переезд в Котельниково и открывшиеся там перед мужем новые перспективы заставили Ольгу Викторовну серьезно задуматься о своем положении возле этого человека.

И Ольга Викторовна так же внезапно, с тою же методичной старательностью и решимостью, с какой занималась гимнастикой, приняла политическую веру Алексея Петровича, стремясь сохранить уже не только молодость.

В ту ночь, когда Ольга Викторовна вернулась после катания вдвоем с молодым Прелестневым и застала мужа в жалком припадке тоски одиночества, она неожиданно стала единственным его поверенным. Из всех сбивчивых признаний мужа она поня-

ла только одно: он боится своей власти. Боится остаться без власти. А в общем готов бросить все и уехать на юг, а потом, возможно, и за границу, благо он своевременно с помощью Зильбера сделал кое-какие сбережения.

Ольга Викторовна неожиданно почувствовала себя спокойной и уверенной, быстро сообразив, что, узнав тайны мужа, она обрела теперь над ним власть. Важно только, чтоб он не ушел, не освободился от нее; надо, чтоб Алексей Петрович «шел дальше». «Власть обретают, — как выражался Зильбер, — энергичные, беспощадные наглецы. Ум, образование желательны, но не необходимы». Алексей умен, образован, но у него нет характера, — нужно стать его душой; нужно толкать его вперед, возбуждать, льстить ему и даже, если понадобится, угрожать. Алексей может сейчас достигнуть всего именно потому, что он, как часто говорила ее мать, — полное ничто.

И, взволнованная этими перспективами, Ольга Викторовна торжественно произнесла:

— Алексей, ты человек будущего! Я не знала, что ты живешь такой смелой, красивой жизнью!

С тех пор все, о чем бы ни говорил Ольге Викторовне Маслюков, она встречала с восторженным благоговением, очень ему льстившим, и осторожно вносила в его планы свои поправки. Между Ольгой Викторовной же и Зильбером установились деловые, серьезные отношения. Их объединяла теперь общая забота о Маслюкове, и многое, что так разумно советовала мужу Ольга Викторовна, являлось плодом размышлений Зильбера.

8

Придерживая болтающуюся кобуру с револьвером, Маслюков вбежал по ступенькам вокзала и, пройдя пустой зал первого класса, превращенный в казарму, вошел в комнату ревкома.

Никто не обернулся навстречу. Костин, стоя у стола, громко подсчитывал количество поднятых рук. «Большинство!» — произнес он счастливым голосом.

Потом, взглянув на Маслюкова, пояснил:

— Голосуем посылку рабочих в деревню. Вы как? Против или воздерживаетесь?

Маслюков в ответ торопливо поднял руку и, несколько смущаясь этой поспешности, произнес:

— Нет, я — вместе с большинством, но мнение мое о нелепости этого решения остается неизменным.

— Как же так, — насмешливо спросил Костин, обращаясь

к собранию, — товарищ голосует «за», а высказывается «против»? Голова у него с языком не в ладах, что ли?

Маслюкову иа мгиовеиие захотелось язвительио ответить Костииу на эту дерзость, сунуть в нос телеграмму из Узловой. Но он сдержался, злорадно подумав: «Через час мы посмотрим, товарищ Костин, у кого голова с языком в разладе!»

Отряд полковиика Гнилорыбова в тридцать сабель, с тремя орудиями и четырьмя пулеметами пробирался нз Новочеркасска в Сальский округ Донской области, надеясь здесь пронзвестн вербовку казаков.

Отряд был порядочио потрепан в мелких стычках с партизаиами, измучеи утомительиым переходом.

Расположившнсь на дне глубокой глухой балки, Гнилорыбов ночью послал в станицы агитаторов. Но на следующий день нз шестерых посланцев вериулось только четверо: двое были сильио избиты. Казаки ие хотели уходить из своих станиц. Они боялись, что Советы конфискуют у них за это земли и арестуют родствеиников. Кроме того, вербовка помешала бы подготовке к повсеместному одновременному восстанию: сначала, по нх мнению, нужно было уничтожить местиые большевистские Советы и уж потом воевать с красиыми. Отряд Гиилорыбова пританлся в балке. Фураж и съестиое добывались разбоем. Среди солдат росло недовольство, шлн разговоры о том, что Гннлорыбов — обманщик, что большевнки роздалн всем землю, поэтому нн казаки, ни иногородние не хотят присоединяться к отряду. Одного особеиио речистого солдата в австрийском шлеме, предлагавшего дойти до ближайшего Совета и покаяться, Гиилорыбов застрелил из парабеллума. Сводной офицерской пулеметной команде прншлось потом долго лежать у пулеметов, пока Гнилорыбов митинговал, отмахиваясь револьвером от возмущенных солдат.

Ночью в отряд явился одии из пропавших агитаторов. Ему удалось было устроиться караульным, но потом какой-то чумовой фронтовик схватил его за горло и приволок в ревком. Освободили его только потому, что он сообщил о готовящемся в станице восстаиии.

Гиилорыбов, услышав это, моргая контуженным веком, шепелявя, крикиул:

— А ну-ка дать ему двадцать пять шомполов, с оттяжкой, чтобы не продавал народ, поднимающий знамя на борьбу с комиссарами!

— Погодите! — вырываясь, заорал побледневший парень.—

У меня тут записочка есть. Мне ее какой-то штатский сунул. Обождите, не ломайте рук, сволочи!

Гнилорыбов вырвал записку и быстро пробежал ее глазами: «Г. Гнилорыбов! Отряд обороны выезжает в Узловую. Станция остается без какой-либо серьезной защиты. В остальном, надеюсь, вы положитесь на свой опыт». Подписи не было.

Гнилорыбов махнул рукой офицерам, державшим парня за вывернутые руки, и озабоченно приказал: «Оставить!» Перечитывая записку, спотыкаясь, направился к своей коляске, возле которой обычно происходили оперативные совещания.

Ревком постановил послать наиболее сознательных рабочих в станицы для укрепления власти Советов. Костин знал, какую огромную ответственность он принял на себя.

На станции стояли эшелоны, груженные хлебом. Их нужно срочно отправить в Царицын для голодающих Москвы и Питера. Банды разрушали пути и связь, приходилось держать наготове постоянные ремонтные бригады и эшелонам придавать охрану из тех же железнодорожников. Охрана мостов, нефтекачек, водокачек, пакгаузов также ложилась на железнодорожников. Они же дежурили в окопах, сооруженных вокруг станции. Люди требовались всюду. Железнодорожники, выполняя свои повседневные служебные обязанности, почти все числились за какими-нибудь постами обороны. Люди ходили на работу с оружием и после работы отправлялись не домой, а в свои отряды, где проходили военное обучение, или в окопы. Отправка большой группы рабочих в станицы и к партизанам сильно ослабляла обороноспособность станции.

Но иного выхода не было. Оставалось либо с помощью этих рабочих создать в станицах мощные резервы из бедняцкого крестьянства и казачества, либо ждать, пока сплотившиеся кулаки разгромят Советы и обрушатся на одинокие пролетарские островки железнодорожных станций.

После заседания ревкома Костин отправился в депо, где оборудовался второй бронепоезд, который должен был курсировать между Котельниковом и Царицыном и дать наконец возможность вывезти со станции все эшелоны хлеба.

9

Депо было похоже на тоннель, наполненный дымным сумраком. Вдоль канав у стен депо были установлены станки, за которыми работали железнодорожники. В свежевыструганных козлах стояли винтовки; на полу — ящики с грудами самодельных снарядов, каркасы фугасов, поломанные орудия, разбитые

тачанки. У входа в депо просыхал на солнце отремонтированный, недавно окрашенный пулемет.

На канаве обшивался тюками спрессоваиного железа длинный большой паровоз. Железо было содрано с крыш зданий и спрессовывалось самодельным копром.

Михаил Петрович Глушков, старик мастер, сердитый и нервный, с растрепанной бородкой, выбравшись из ремонтной канавы, сердито закричал Костину:

— Нет, уж ты извини!.. Мало ли что тебе к спеху? А мне мой возраст не позволяет тяп да ляп делать! Гляди: не паровоз — рыцарь! — заявил он вдруг задорно. — На железе стеган.

Костин, одобрительно улыбнувшись, заметил:

— Действительно, здорово! А с патронами как?

Глушков оживился, ио, не теряя иастороженного выражения, произнес со вздохом:

— Мелкая работа! По второму разряду. Но я не брезгую, товарищ Костин. Наладил как следует. На полный ход.

Он указал на ящик с готовыми патронами и добавил:

— Ничего, ребята стараются.

Костин подошел к ящику, вынул один патрон, тщательно его осмотрел и спросил озабоченно:

— А вы их, Михаил Петрович, испытывали?

— Это как? — ие поиял Глушков.

— Ну, стреляли?

Глушков, немедленно обидевшись, сухо ответил:

— Баловством не занимаюсь!

Костин сурово попросил:

— Испытать нужно.

— Ну и пытайте, — с горечью сказал Глушков, — а мие здесь делать нечего, у меня и так от шума уши болят.

Рабочие внимательно присматривались к этой сцене. Токарь Нефедов, подойдя к козлам, вынул винтовку; протягивая ее Глушкову, громко, словно тот стоял на другом конце депо, крикнул:

— Первый выстрел — ваш, Михаил Петрович! Это мы уже зараиее всем коллективом постановили.

Глушков зарделся, польщенный, взял винтовку, сердито спросил:

— Что же мне, в степь пойти за зайцем?

Чумазый паренек, перемииаясь с ноги на ногу от нетерпения, подскочил к Глушкову и восторженно заявил:

— Пали здесь, Михаил Петрович! Хоть фуражку свою подброшу. Бей влет.

Михаил Петрович, задетый готовностью паренька, протянул ему вннтовку н сказал глухо:

— Пали сам.

Вмешался Костин. Он встал между парием и Глушковым и торжествеиио произиес:

— Нет, Михаил Петрович! Я от имени ревкома предлагаю вам выстрелить. Кроме вас, никто не достоин этой чести.

Глушков, внимательно всматриваясь в лицо Костина (нет ли насмешки), снял с головы старенькую фуражку, выдрал из-под рваной подкладки паклю, скатал из нее два шарика и старательно заткиул ими уши. Потом быстро вскииул виитовку, зажмурив одии глаз, отчего его лицо приияло плачущее выраженне. Все замерли. Но Глушков вдруг опустил виитовку и растерянно спросил, куда палить.

— Бей в крышу.

Глушков медленно поднял винтовку и, ие сводя глаз с прицела, пробормотал протяжио:

— Без цели иитереса не имею. Но для испытаиия дела можно.

Отвернувшись, старик нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел.

Потирая ушиблениое отдачей плечо и восхищенно оглядывая столпившихся рабочих, Глушков завопил:

— Давай еще! Ставь любую цель!

В депо вбежал взволиованный Гришка — сыи Глушкова.

— Папаша, — кричал он, — папаша!

Глушков не вынул пакли из ушей н ничего не слышал. Повернувшись к Грншке сияющим лицом, он заорал:

— Смотри, как стреляю!

И, поправив очки, склоиился иад виитовкой, вгоияя иовый патрон.

Грншка с перекошенным от отчаяния лицом закричал:

— На сколько фугасы закапывать? Людей задерживаем.

Лицо Глушкова внезапно стало свирепым; вытащив из ушей паклю, ои зловеще и тихо спросил:

— На сколько копать? Я же тебе говорил! — Ои быстро отмерил на руке три четверти. — Почему забыл?

И, обращаясь к Костину, вскричал:

— Дисциплина! Арестовать сукина сына!

Затем снова обернулся к Гришке и затопал ногами:

— Пошел вон отсюда!

Гришка поспешио скрылся из депо.

А Глушков, возмущеиный и взволиованный, еще долго продолжал шуметь.

Комната Глушкова была разделеиа иа две части: одна, чистая, принадлежала жене, Аине Филипповие, другая, завалениая железным хламом с гориом, оборудованиым в русской печи, Михаилу Петровичу. Мечтой Глушкова было изобрести коиденсатор для паровозов, пересекающих безводную Сальскую степь.

Но дирекция ие давала разрешеиия выделить для испытаний паровоз, и Михаилу Петровичу пришлось довольствоваться самодельной игрушечной железной дорогой, восхищавшей всех ребят железнодорожного поселка.

Всегда, когда дело касалось привлечения техники к обороне станции, Костин вызывал иа заседание ревкома Глушкова. И Михаил Петрович, польщенный честью, перебнвая всех, раздражаясь и поминутно обижаясь, неизменно находил выход нз всех трудностей.

Окопы, окружающие станцию, находились в километре от мастерских н вокзала. В случае тревоги приходилось бегать туда пешком.

Глушков предложил провести к окопам узкоколейку. На станции не было паровичка — в платформы запрягли верблюдов, захваченных у банды и только зря поедавших фураж.

Окопы имели телефонную сеть и были благоустроены подомашиему. Кроме деревянных топчанов, в блиндажах стоялн венские стулья, а в специально приспособленной кухне видиое место занимал четырехведерный самовар из станционного буфета.

Из депо Костин снова пошел в ревком. Нужно было выяснить количество имеющихся в наличии револьверов, чтоб вооружить рабочих, едущих в станицы.

Револьверов оказалось всего восемь штук: шесть тяжелых жандармских смит-вессонов и два «бульдога».

Глушков, пробуя утешить Костина, предложил:

— Может, обрезов наделать?

— Бандитское оружие. Да н жаль винтовки портить.

Костин вызвал квартиру Маслюкова. Он знал, что в распоряженни штаба обороны имелнсь кое-какие запасы оружия. Вся задача заключалась теперь в том, чтобы убедить Маслюкова выдать это оружие отъезжающим в деревию.

Но Маслюков сам явился в ревком. Он торжественно подошел к Костину, кивнул на рабочих и на Глушкова, многозначительно сказал:

— Посторонних прошу удалиться.

И остановился в выжидательной позе. Костин пожал плеча-

ми. Глушков плюнул и обиженно, со стуком, отодвинул от себя стул. Рабочие, переглянувшись, вышли.

Маслюков выждал, пока закрылись двери, вынул телеграмму из Узловой; небрежно протянув ее Костину, уселся на стул, широко расставил ноги, потянулся, зевнул, не забывая при этом искоса следить за выражением лица Костина.

Костин прочел телеграмму.

— Давно получена?

— Только что. — Маслюков положил ногу на ногу и с любопытством стал глядеть в окно.

— Какие меры приняты штабом обороны?

Маслюков нехотя, словно подавляя зевоту, произнес:

— Я полагаю, что за разгром Узловой мы будем отвечать вместе с вами.

— Почему отвечать?

— Очень просто, — оживился Маслюков. — Последние резервы вы посылаете в деревню на разговорные дела. Андреев с пехотой и Мальцев с бронепоездом — в Гуровской. Снять отряд обороны и послать в Узловую — значит оставить станцию без защиты. Впрочем, — поспешно произнес он, — я заранее подчиняюсь решению ревкома, мне надоели эти склоки.

И, встав, спросил холодно и официально:

— Какое же будет решение ревкома?

— Решение будет такое, — раздельно и внятно сказал Костин. — Вы с отрядом отправляетесь немедленно на Узловую. В пути вы должны добиться пополнения от других станций. Кроме того, поручаю вам немедленно связаться с Мальцевым и отозвать его сюда с бронепоездом для охраны станции.

— Хорошо, — согласился Маслюков. — А эти самые, кого вы собирались послать дышать вольным воздухом, — они куда денутся?

— Они поедут туда, куда их на прошлом совещании постановил послать ревком. Впрочем, с Мальцевым свяжусь я сам. Можете не беспокоиться.

Завыла сирена в депо. Ей тревожно вторили гудки паровозов. Из депо, из пакгаузов, из вокзала спешили железнодорожники с винтовками в руках. Железнодорожный батальон выстраивался на перроне.

По путям бежал стрелочник, в руке у него пояс с флажками и рожком. Он сердито кричал:

— Марья!

Из будки вышла женщина с винтовкой, отдала ее стрелочнику, а сама опоясалась его ремнем.

Вместо сторожа у сигнального колокола — тоже женщина.

Вместо сцепщика — женщина с тяжелыми промасленными рукавицами на руках. Жены заменяют мужей. По специальному приказу ревкома железнодорожники, находящиеся в отрядах обороны, должны были обучить жен своим специальностям, чтоб те в случае необходимости могли их заменять.

Костин подошел к батальону. Он заметил в строю Гришку. Тот, стараясь не встретиться с ним взглядом, отвернулся.

— Григорий Глушков, два шага вперед! — скомандовал Костин.

Глушков, стараясь спрятаться, не двигался.

— Глушков, два шага вперед! — вновь крикнул Костин.

Гришка дважды судорожно шагнул и замер с выражением мольбы и страдания на перекошенном лице.

К перрону подошел эшелон.

Костин негромко скомандовал:

— По вагонам!

Железнодорожники мерно, не торопясь направились к поезду.

Гришка остался один. Он сделал движение последовать за всеми, но грозный окрик Костина: «Смирно!» — приковал его. Глаза Гришки налились слезами.

Маслюков, провожаемый женой, подошел к классному вагону. Встав на подножку, он осторожно поцеловал жену в висок, затем нежно отстранил ее, поднял руку и крикнул так, что от напряжения покраснел лоб:

— Товарищи! Сегодня нашей кровью будет написана новая страница истории!..

Костин подошел к Гришке, жалко кривившему губы, и тихо приказал:

— Бери дрезину и кати к Мальцеву. Передай, чтобы немедленно шел сюда с бронепоездом.

Гришка не то всхлипнул, не то охнул, ошеломленный радостью ответственного поручения. Сделал полуоборот направо, щелкнул каблуками, прошел несколько шагов, стараясь идти медленно, но потом не выдержал, во всю прыть пустился вдоль перрона и, спрыгнув на полотно, закричал, оборачиваясь:

— Я мигом!

10

Снова Костину не пришлось пойти домой. Созвав тридцать оставшихся железнодорожников, он сообщил им о положении на станции. Десять человек были отправлены в караулы. Остальные улеглись спать в зале первого класса, не раздеваясь, с вин-

товками у изголовья. Жены, привыкшие к тому, что их мужья не возвращаются после работы, принесли ужин.

Костин сидел на ступенях вокзала, мучимый тревожными мыслями.

Наплывали сумерки. Вспыхнуло звездами степное небо. В соседней станице брехали собаки, в окнах хат зажелтели кроткие огоньки. Где-то далеко в садах, у балки, сильный женский голос затянул песню, но неожиданно оборвал ее, и снова стало тихо. Только из вокзала доносился сдержаный говор ужинающих людей да стук ложек.

Костину захотелось есть. Он поднялся, взглянул на базарную площадь и увидел Нину. Она шла к вокзалу. «Ужинать несет», — мелькнула ласковая догадка. Но, вглядевшись пристальней, Василий увидел, что в руках у Нины ничего нет.

Костин пошел ей навстречу. Нина, увидев его, заколебалась. Заметив эту растерянность, Костин с горечью подумал: «Может быть, она не ко мне», — и хотел уйти.

Но Нина уже подошла, оправляя дрожащими пальцами конец платка, и прерывистым от волнения голосом спросила:

— За что ты презираешь меня, Василий? Если ты стал большим человеком и я тебе больше не пара, скажи прямо, не мучай.

— Что ты от меня хочешь? — тоскливо сказал Василий, оглядываясь на порог вокзала. И так уж раздоры его с женой стали всеобщим достоянием.

— Ты меня не любишь больше, Вася, — вдруг тихо и покорно проронила Нина. — Ты ту любишь за то, что она с вами со всеми языком треплет.

— Опять?! — Василий гневно дернул плечами.

А Нина каким-то чужим голосом произнесла:

— Ты скажи, какой я должна стать; какой хочешь для тебя буду. Ведь люблю же я тебя. Не я виновата, что ты от меня свои мысли прячешь. Не могу я так жить, Васечка, лучше умереть!

Костина взволновала эта неожиданная мольба. Он почувствовал, как защекотало в груди.

Он возится ежедневно с сотнями людей, старается проникнуть в их душу, пробудить дремлющих, использовать их для дела революции. И он же прошел мимо самого близкого, родного ему человека, прошел надменно, брезгливо. Стараясь не видеть глаз Нины, Василий с отчаянием в голосе сказал сипло:

— Нина, я скажу тебе все. По-хорошему скажу.

И, не понимая, как это случилось, взял холодную руку Нины и приложил ее к своему лбу.

Ошеломлеиная этой внезапиой лаской, Нина отшатнулась, вырвала руку, посмотрела на него вопроснтельно, словно ие веря в случнвшееся. И вдруг, припав к плечу мужа, заплакала навзрыд.

Василий обиял Нииу и прижался лицом к ее мокрой щеке. Ои уже не думал о том, видят ли их илн нет, не нскал слов... Он знал только, что сейчас не было на свете человека счастливее его.

Нниа внезапио с силой высвободилась из рук Василня и, отступив назад, горько произнесла:

— Ну, обо мне ты ие думал. А ребенок? Чем ои-то вииоват?

«Зиачит, не из-за меия оиа пришла», — решил Костин, но тут же, весь охваченный одиой-единствеиной тревогой, шепотом попросил:

— Подожди здесь, я людей предупрежу.

И пошел к вокзалу. Но, когда он поднимался по ступенькам, в сизо-сииее степиое небо взлетела ракета и рассыпалась в воздухе огненым пучком.

Эти ракеты сделал Михаил Петрович. Ими были снабжены часовые передовых постов.

Василий вбежал в зал первого класса, но подымать людей было ие нужно. Дежурный уже бил тревогу в стаицоиный колокол.

Запряжеииые верблюдамн платформы подкатнли к перрону. Коидуктор Салищев, размахивая киутом, кричал:

— Из окопов снгнал. Скорей, братцы!

Железиодорожникн поспешно прыгали на платформы.

Не успели люди разместиться, как возле пакгаузов хлопнул одинокий выстрел. И словно в ответ послышался дружиый конскнй топот: банда с лихим воплем ворвалась на вокзальную площадь.

Железиодорожники бросились обратио виутрь вокзала. Разбивая прикладами стекла, они располагались возле окон, положив виитовки на широкие каменные подоконники. Другие залегли за насыпью тупика и оттуда открыли по белобаидитам беспорядочную стрельбу. Оцепив вокзал, взяв железнодорожииков в кольцо, бандиты вывезли на площадь две трехдюймовки.

В густой темноте их почти ие было видно. С осадой вокзала бандиты ие торопились. Всадиики с гиканьем устремились грабить железнодорожный поселок. За ними, стоя иа телегах, мчались, предвкушая поживу, присоедниившиеся к банде стаиичные кулаки.

Оставшиеся вели по вокзалу редкий огоиь. С орудиями что-то не ладилось: судя по крикам, иеистовой брани и хрипению ло-

шадей, артиллерийская упряжка запуталась в постромках, и бандиты никак не могли успокоить напуганных стрельбой коней.

Костин, выбравшись через слуховое окно чердака на крышу, выкатил туда два пулемета. Обернувшись к монтеру Шемитову, спросил:

— На электростанцию пробраться можешь?

— Могу.

— Захвати еще кого-нибудь, пусти машину и включи рубильник уличного освещения. Понял?

Монтер кивнул головой и осторожно полез по скату к слуховому окну.

Костин приказал забаррикадировавшимся железнодорожникам прекратить стрельбу по невидимому противнику и открыть огонь только в тот момент, когда зажгутся фонари, окружающие площадь.

Наступило тягостное ожидание.

Из поселка доносились крики, разрозненная стрельба. Василий вглядывался в непроницаемую тьму на площади, где несколько минут назад он оставил Нину.

Салищев, сжимая ему плечо пальцами, горячо шептал в ухо:

— Может, они сейчас наших убивают, а мы ждем. Давай огонь, не мучай.

Василий, не оборачиваясь, показав вниз на площадь, сказал:

— Жена там осталась, молчу — и ты молчи.

Выбросив пламя, выстрелило первое орудие. Снаряд ударил в оконный свод. Тяжелое кирпичное здание дрогнуло. Осмелев от безмолвия железнодорожников, казаки выехали на площадь и стали бить из винтовок.

— Нет, не могу больше, — промычал Салищев и стал целиться.

Но внезапно площадь озарилась ослепительным электрическим светом. Казаки шарахнулись в ужасе. Если бы даже сейчас на площадь ворвались красные, вдвое превосходящие их силами, паника среди бандитов была бы меньшей.

Припав к пулемету, Василий бил с прямого прицела по мечущимся бандитам. Железнодорожники один за другим выскакивали из здания вокзала и, ложась у кирпичного тротуара, тоже стреляли. Бандиты, в смятении бросив раненых, устремились в беспорядочное бегство. Одно орудие они успели увезти, другое осталось на месте. В постромках упряжи билась околевавшая лошадь.

Костин приказал железнодорожникам прекратить преследование врага, опасаясь, что их перестреляют в открытом бою. Втащив орудие с помощью двух оставшихся лошадей прямо по

ступенькам в вокзал, железнодорожники выставили его в полуразрушенное окно.

Костин поннмал, что без подкрепления, без бронепоезда Мальцева выбить бандитов нз поселка полностью не удастся. С минуты на минуту следовало ожидать нового нападения. Бандиты прекратят грабеж н бросятся на станцию.

И действительно, укрываясь во тьме, они открыли огонь, но не по вокзалу, а по электрическим фонарям, окружающим площадь. Фонари гасли, и темнота начала свое наступление.

Бронепоезд Мальцева подошел к станице Гуровской. Не дождавшись отряда Андреева, Мальцев прнказал открыть огонь с такнм расчетом, чтоб снаряд, пролетев над самыми крышами домов, упал на безлюдном выпасе.

Мальцев старательно произвел вычисление на листке бумагн, провернл, попросил еще раз проверить его арифметику путевого техника Чижова и только тогда дал прицел. Через десять минут после первого выстрела к бронепоезду подскакали трое казаков с белым полотнищем на палках.

Внимательно рассматривая бронепоезд, чернобородый казак в новой черкеске осведомился, в чем дело, и пообещал через два часа прнвезти оружие.

— Через час, — сказал Мальцев.

— У нас часов нету, — угрюмо ответил казак. — Мы по солнцу жнвем. А где оно, солнце? — И, насмешливо оглядев небо, объяснил: — Время у нас свое, тутошнее. Оружие отдать согласны, а время соблюсти, может, и не сумеем.

— А мы вам напомним! — весело крикнул один из железнодорожннков, любовно похлопав ладонью по стволу орудия.

— А мы н так запомним, — огрызнулся казак и, повернув лошадь, медленной рысцой потрусил в станицу, высвободив из стремян ноги н развалнвшнсь в седле, словно отдыхая.

Уже под вечер к бронепоезду подъехалн две подводы с оружием. Чернобородый казак, нагибаясь с седла и указывая на возы плетью, сказал:

— Вконец обчнстилн.

На возах лежалн старинные, с расшнренными на конце стволамн, самопалы, курковые пистолеты, сабли без эфесов, вымазанные навозом, берданкн, две винтовки без затворов и вообще всякий хлам, который только прн большом воображении можно было счнтать оружием.

Мальцев, вынув нз груды железной рухлядн шкворень с при-

вязаниой к нему иглой от бычьего ярма, подиес шкворень к самому лицу чернобородого н спросил хмуро:

— Это что, тоже оружие?

Чериобородый взял изделие в руки, ловко подброснл его, словно взвешнвая на руке, и, прнстально взгляиув в лнцо Мальцеву, спросил:

— А вот хошь, я этой штукой для испытания тебе по башке дам? Если только шишка вспухиет, то не оружие, а ежелн башка треснет, значит, оружне.

Мальцев невольио отступил от казака, во взгляде которого светилась ненависть. Настойчивое, нестерпимое желанне убийства угадывалось в его руке, ловко н жадно обхватившей железный шквореиь.

Раздражеиный тем, что он на секунду струхнул, Мальцев шагиул, схватнл казака за руку и, стиснув, сказал:

— Если через полчаса не сдадите оружня, разнесу!

Казак, побледнев, силнлся вырвать руку, шкворень выпал нз его ослабевших пальцев. Высвободнвшнсь, казак вытер пот, выступивший на верхней губе, и равнодушно согласился:

— Убивайте из пушек, громите, все равио однн конец. Нет у нас больше оружия — всё здесь. Даже что по хозяйству нужно было, и то отдали.

И, горбясь в седле, ои круто повериул коня н шагом поехал обратио в стаиицу.

Мальцев почувствовал, что в этом столкновенин с делегатом гуровскнх кулаков он остался побеждеиным.

И, как бы ища оправдаиия, повериулся к своим и бросил:

— Матерый, чертяка, его на шум не возьмешь!

— Может, заложннком оставить? — посоветовал кто-то. — По характеру вндать, он здесь самый главиый.

— Эй, кум! — крикнул Мальцев.

Но казак даже не обериулся. Сидя боком на худой, но сильной лошади, он с рыси почтн неприметио перешел на резкий галоп и скрылся за кургаиом.

Издалека послышался мериый стук колес на стыках рельсов. Оглянувшись, все увидели быстро приближающуюся дрезину. Два человека мотались на ней, качая ручиой рычаг.

Дрезииа подкатила к бронепоезду. С нее сошли отец и сыи Глушковы. Оба мокрые от пота, тяжело дышащие, подошли к Мальцеву.

Тот изумлеиио спросил:

— Михаил Петрович?

— Не говорн! — устало махнул рукой Глушков. — Спину намяли. Водицы бы, а?

Гришка выступил вперед и, заслоняя собой отца, отрапортовал:

— По приказу ревкома срочно возвращайтесь на станцию. Батальон отправился в Узловую... — Задохнулся, хотел добавить еще какие-то значительные слова и выпалил неожиданно писклявым голосом: — Костин велел скорее ехать. Налета на станцию опасается.

Мальцев покосился на железнодорожников, потом посмотрел в сторону станицы и сказал сдержанно:

— Немедленно не можем. Андреев с пехотой еще не подошел. Нужно его дождаться и забрать в бронепоезд, а то тут их одних переколотят. Вообще неладно как-то получилось. Пугнули, постращали и ушли.

И, вздохнув, добавил:

— Видно, в другой раз объяснить им придется, какая она такая, Советская власть.

Потом, обернувшись к Гришке, быстро спросил:

— Очень измаялись?

— Нет, — отрываясь от котелка с водой, поспешно заявил Михаил Петрович.

— Тогда вот что. Берите пулемет, две цинки патронов и дуйте обратно на станцию. А мы дождемся Андреева — и мигом за вами.

— Где пулемет? — заволновался Михаил Петрович. — Тащите, ребята. Теперь нам под уклон — все равно что с мотором доскочим. Ветерок разгулялся — парус натянем. Я его из брезента пошил, во время ремонтных работ пользовался.

Михаил Петрович устремился к дрезине и стал там возиться с шестом, обернутым латаной парусиной.

— Остаись, Михаил Петрович, — уговаривал неспокойного старика Мальцев. — Мы с Гришкой кого-нибудь поздоровее пошлем.

— Поздоровее?! — разозлился Глушков. — А ты со мной силой мерялся? Нет? Ну и молчи себе потихоньку. Машина находится под моей личной ответственностью, и я пускать на нее никого не желаю — испортят еще шестерню, а я потом отвечай.

И как ни убеждали Михаила Петровича, ничего не помогло.

Неподалеку от станции Глушковы услышали ружейную стрельбу, разрывы ручных гранат. По звону стекол, осыпавшихся со здания вокзала, они поняли, что вокзал осажден бандой.

Присаживаясь у пулемета и вдергивая ленту, Гришка обернулся к отцу:

— Папаша, вы дрезину не останавливайте, я их с ходу поливать буду.

Старик, продолжая качать рычаг, тревожно спросил:

— А ты тово... с пулеметом управляться умеешь? Может, меня пустишь? Я, брат, механик, сразу его пойму.

Гришка махнул рукой и крикнул устало:

— Нажимайте, папаша!

Дрезина ворвалась на станционные пути.

Бандиты поднялись для атаки, они бежали пригнувшись, чтобы залечь возле самого перрона. Пулеметный огонь был неожидан. Бандиты скрылись за пакгаузы, где коноводы охраняли коней. Потом они поняли, что их обстрелял не бронепоезд, а дрянная тележка на визжащих колесах. Бросив на путь шпалы, они открыли по дрезине стрельбу. Проскочить дальше было невозможно.

Лежа плашмя на платформе, Глушковы слышали, как пули с силой ударялись о металлические части дрезины. Бандиты, осмелев, стали подползать ближе. О том, чтобы подняться и взяться за рычаг дрезины, нечего было и думать. Тогда Михаил Петрович, пряча голову за металлическую стойку механизма дрезины, стал осторожно поднимать деревянную мачту. Нащупав на полу дрезины гнездо, он вставил туда нижний конец шеста, а затем, подергав веревки, освободил полотнище. Ветер надул парусину. Но дрезина оставалась неподвижной. Гришка, приникув к пулемету, бил короткими очередями. Убедившись, что ветер не сможет сдвинуть дрезину с места, Михаил Петрович, лежа на животе, стал потихоньку отталкиваться от земли винтовкой, как лодочник шестом. Дрезина медленно подалась, парус надулся сильнее, и, постепенно набирая скорость, дрезина неожиданно для банды покатилась... назад.

Припав к прицелу, Гришка дostреливал ленту.

Несколько всадников поскакали вдогонку дрезине. Гришка, отвернувшись от смолкшего пулемета, нервно искал рукой винтовку. Михаил Петрович заметил это. Отталкиваться от земли было уже не нужно.

Он поднял винтовку, прицелился и выстрелил. Скакавший впереди всадник взмахнул руками и, словно переломленный, повис на лошади.

К сумеркам рота фронтовиков Андреева подошла к бронепоезду, подававшему изредка три коротких гудка. Этот сигнал, как было договорено заранее, обозначал «соединение».

Через несколько минут бронепоезд с погашенными огнями тронулся обратно. Станица Гуровская словно вымерла. Местоположение ее можно было определить только по темной, похожей

на скалу, каменной церкви. В окнах приземистых хат блестела чернота. Гуровские казаки покинули станицу после того, как чернобородый «парламентер» Коршунов, вернувшись, доложил окружному атаману, что красные в ответ на дерзкую выходку обшарят каждую хату.

Две сотни казаков с двумя выкопанными из-под стогов орудиями и четырьмя пулеметами направились к станции Семичной. Впереди на автомобиле ехали окружной атаман и Прелестнев в военном френче, на обвислых его плечах торчали вверх полковничьи погоны.

Налет на станцию Семичная был внезапен. Казаки, пригибаясь к шеям коней, ворвались внутрь вокзала. Двое вскочили в помещение телеграфа. Разрубив голову телеграфисту и опрокинув стол с аппаратами, они пытались достать шашками, не слезая с седла, залезшего за шкаф обезумевшего от ужаса дежурного.

Пол вокзала, перрон, рельсы покрылись кровью и трупами железнодорожников.

Вступивший в борьбу с гуровцами отряд самообороны Жукова и Лобашевского был уничтожен почти полностью.

Оставшиеся двадцать семь человек укрепились на мосту через Сал и защищали его с таким неистовством, что бандиты были вынуждены отступить.

На станции казаки, предводительствуемые Коршуновым, стали поспешно сооружать бронепоезд. Они таскали мешки с землей и укладывали их так, как это было сделано на бронепоезде Мальцева. Коршунов приглядывался к нему не зря!

К окружному атаману притащили машиниста Попова. Руки и ноги его были окручены колючей проволокой. Попов отказался подать под казачий самодельный бронепоезд паровоз.

Атаман сердито раскричался на казаков, приказав освободить машиниста. Суетясь возле Попова, атаман вытирал его исцарапанные до крови руки платком и извинялся.

— Напрасно беспокоитесь, ваше благородие, — насмешливо глядя на атамана, сказал Попов. — В паровозе форсунка форсить не хочет, капитальный ремонт требуется.

— Не поедешь?

— Никак, — усмехнулся машинист.

Атаман, кивнув на Попова, устало сказал:

— Господа станичники, убедите его, если сможете.

Попова снова обмотали колючей проволокой, облили маслом из масленок и сожгли заживо.

В бронепоезд гуровцы вместо паровоза впрягли волов и лошадей и погнали его на мост, защищаемый железнодорожника-

ми. Когда казаки пробовали переправиться на другой берег вброд, железнодорожники бросали с моста клочки зажженного сена и, освещая таким образом темную реку, обстреливали противника из пулемета.

Атаковать мост по узкому хребту насыпи казакам было невозможно. Пристрелявшись, железнодорожники снимали каждого, пробовавшего ступить на полотно.

Увлекшись осадой моста, гуровцы совсем забыли о бронепоезде Мальцева.

Он показался из-за поворота, едва казацкий «бронепоезд» с гужевой упряжкой подкатил к мосту. От первого же орудийного залпа, попавшего в зарядные ящики, платформы в огне с треском рухнули с насыпи.

Бойцы, на ходу выскакивая из бронепоезда, бросились в штыковую атаку. Первым в ночную мглу метнулся автомобиль с уцепившимся за сиденье, с выпученными от ужаса глазами, атаманом. Атаман тыкал в склоненную шею шофера горячим стволом револьвера, визгливо кричал: «Давай!» — и, оборачиваясь, палил в наполненное орудийной стрельбой, взрывами снарядов и стонами людей пространство.

11

Кондуктор Степан Захарович Пыльнов, один из мобилизованных в деревню рабочих, прибыл в станицу Гнилой Егорлык в самый разгар семейной ссоры, происходившей в семье казака Храмова.

Старик Храмов не успел уехать вместе с другими казаками вслед за гнилорыбовской бандой. Сыновья застали его в тот момент, когда он запрягал в арбу пару лошадей; они догадались, что старик тоже хочет поживиться на погроме, учиненном бандой, и приволокли его в станичный Совет.

Напуганный Храмов, отбиваясь от сыновей, кричал, что он вовсе не собирался грабить, а хотел только навестить зятя.

На площади перед станичным Советом собралась большая толпа казаков. Одни приняли сторону старика, другие — его сыновей. Председатель, толстяк с красным лицом, растерянно хлопал по перилам крыльца папкой с бумагами, вяло упрашивая:

— Граждане станичники! Тише же, тише!

Но никто его не слушал, все орали, и дело давно дошло бы до драки, если б четверо здоровенных сыновей Храмова не славились первыми кулачными бойцами станицы.

Степан Захарович Пыльнов незаметно поднялся на крыльцо,

стал рядом с председателем, с любопытством присматриваясь к возбужденным лицам казаков. И когда гвалт внезапно оборвался — такая тишина обычно предшествовала всеобщей свалке, — Пыльнов вдруг весело закричал:

— Что вы, граждане станичники, человеку мешаете! Пускай идет грабить! Его всю жизнь грабили. Дайте удовлетворение человеку!

Лица всех казаков повернулись к Пыльнову. Степан Захарович все с тем же приветливым выражением на сморщенном темном лице сказал внятно:

— Только пользы от этого не будет.

И, усевшись на перила, словно перед ним была не многосотенная толпа, а несколько добрых собеседников, он неторопливо продолжал:

— Ну, скажем, повезет Егору Кузьмичу, дорвется он первым до моего дома. У меня, Егор Кузьмич, под кроватью в сундуке новые сапоги хромовые лежат — на пасху купил. Хорошие сапоги!

Поглядев на свои изношенные сапоги и на ноги Храмова, словно сравнивая, Пыльнов удовлетворенно заявил:

— И по размеру они, пожалуй, тебе как раз подойдут. Жена и дети, конечно, цепляться за них станут — ведь сапоги-то на кровные деньги куплены! Но что казаку баба да ребята, когда он на войне настоящей обучен драться! Дал раз — нет их. — Пыльнов выразительно помолчал, оглядел притихшую толпу и продолжал: — А сапоги что же? С вас, с бедноты казачьей да с неимущих иногородних, помещики и богатеи всю жизнь последнюю рубаху снимали, а вы ничего, терпели. Может быть, даже и нравилось, вроде щекотки. А мы, рабочий класс, думали, что беднякам не нравится, когда их грабят, хотели сообща вас от грабителей избавить...

— Ты не смейся, а говори прямо, что со стариком делать и как нам этих волков, которые на станцию с подводами поехали, за позор проучить? — глухо сказал старший сын Храмова Михаил, подходя к Пыльнову.

Кондуктор посмотрел на молодого Храмова и вдруг одним движением нахмуренных седоватых бровей согнал с лица насмешливую улыбку и крикнул в толпу:

— Товарищи казаки и иногородние крестьяне! Догоним бандитов, чтоб никогда совесть ваша братской кровью не была запятнана! Сбор здесь через двадцать минут. Командиром отряда назначаю Михаила Храмова. Возражений нет?

Площадь закипела, заволновалась. Казаки и иногородние крестьяне бросились по хатам за конями и оружием.

Михаил Храмов кричал вслед отцу:

— Батя, вы коней из арбы не выпрягайте, безлошадных повезете.

— Знаю! — кричал отец и, подпрыгивая, размахивая руками, устремился прямо по чужим огородам к своей хате.

Ошеломленный этой неожиданной развязкой, председатель стансовета долго оставался безмолвным. Потом, опомнившись, надул щеки и строго спросил Пыльнова:

— А мандат у тебя есть?

Через полчаса молниеносно созданный партизанский отряд мчался по степному большаку к станции.

Ворвавшийся на станцию бронепоезд Мальцева и ударившие в тыл партизаны Храмова разгромили банду.

Костина, контуженного обломком кирпича при разрыве снаряда в помещении станции, принесли домой.

Храмовы остановились у него. Остальные партизаны, собравшиеся тотчас вернуться домой, были, по предложению ревкома и по желанию семей железнодорожников, расквартированы по всему поселку.

Костин в полубреду видел то склоненное над собой залитое слезами лицо Нины, то потное, красное лицо Храмова, то бородатые угрюмые лица его сыновей. Он не раз порывался вскочить, драться, кричал, что любит Нину и будет много зарабатывать, чтоб она жила не хуже, чем у себя дома...

Старик Храмов, отослав сыновей в станицу, остался жить у дочери.

Утешая Нину, он говорил:

— В башке у человека кишок нету — мозух один. И если сразу со шменька не сшибли, человек жить должон. Верно тебе говорю. В турецкую кампанию, когда я, раненный, в кустах отдыхал без памяти, конь мне на башку наступил. Товарищи подобрали, а у меня в глазах троится. Доктор велел холодное прикладывать, а где его, холодное, взять, когда мы в самой что ни на есть Азии. Ребята умные, догадались: пошли на болото, набрали в наволочку лягух и на темя мне. Башка остудилась, я и выздоровел. Фельдшер после объяснял: если бы жабу положили, она бы не помогла — теплая, а лягушка — тварь хладнокровная, она действует.

Храмов, наклоняя голову и поймав дочь за руку, давал ей щупать мягкие вмятины на своем затылке.

— Чуешь? — торжествовал он. — Как у младенчика, хрящиками заросла.

Нина умоляюще просила:

— Вы пошли бы погулять, папаша. Кричите вы очень.

Храмов обижался и, одеваясь, бормотал:

— Безжалостная ты! Нет, чтобы отца приветить.

И уходил, осторожно прикрыв за собой дверь.

Как-то, бродя по поселку, он встретил кондуктора Пыльнова и, смутившись, хотел пройти мимо. Но Пыльнов очень обрадовался, поздоровался за руку и не выпускал руки до тех пор, пока Храмов не согласился пойти к нему в гости.

Перед обедом они зашли в кладовку, будто посмотреть охотничью снасть. И пока жена Пыльнова накрывала на стол, выпили браги.

— Со знакомством вас, — сказал степенно Храмов, подымая глиняный черпачок.

— И вас также, — ответил Пыльнов, оглядываясь на дверь.

Обед был сытный. Ели неторопливо, старательно, молча. Потом пили чай.

Храмов, держа на растопыренных пальцах блюдечко, рассказывал:

— У одного азиатского князя клинок был. Богу помолимшись, такой клинок во сне может присниться. Дамасской стали — куется она из пружины завитой. А этот клинок еще в лезвии пустой был, а внутри ртуть налита.

Взмахнешь — ртуть в конец бросится, руке легко, вольготно, а тяжесть вся в конце. Как хлестнет, бывало, князь православного — у того башка прочь. Так без башки и бежит кое время — ему, сердечному, понять нечем, что убили.

Князь саблей дорожил. На ночь в постель клал. Завернет в шелковый платок, чтобы не порезаться, промеж ног положит и спит. Между прочим, темлячок для верности себе на кисть наматывал. И была у него девка, казачка, очень сладкая...

Дальше Храмов повествовал о том, как казачка приревновала князя к другим женам, и, когда князь пришел к ней, она, чтобы досадить ему, положила саблю на горячую лежанку. Ртуть вспучилась и разорвала саблю. Князь разозлился, велел зашить девку вместе с испорченным клинком в бурдюк и утопить в пруде.

— Вот так и погубила девка саблю, — закончил Храмов и виновато поглядел на Пыльнова.

Он рассказывал эту длинную сказку только потому, что боялся, как бы Пыльнов не стал вспоминать их первого знакомства на площади перед станичным Советом.

Пыльнов, щурясь, слушал сказку. Когда жена вышла из ком-

наты, подошел к сундуку, достал оттуда новые сапоги и, бросив их на колени Храмова, сказал:

— А ну примерь.

Храмов покраснел, вспотел, взял сапог в руку, обстоятельно ощупал, погнул подошву, наклонив лицо над раструбом голенища, понюхал, робко спросил: «Не надеванные?» — похвалил футор и упрекнул хозяина за то, что тот до сих пор не набил на каблуки железные подковки. Но примеривать отказался — ноги сырые, не налезут. И с уважительным вздохом поставил сапоги на пол.

— Бери, — грубо сказал Пыльнов и отвернулся.

Пыльнов был скупым человеком и никогда в жизни никому подарков не делал. Но отдать Храмову сапоги решил твердо.

Храмов в смятенье, опустив глаза в пол, пробормотал:

— Выходит, ты мне уже раз этими сапогами по морде дал, а теперь еще хочешь.

Поднявшись, он дрожащими руками застегнул жилетку и гневно проговорил:

— Обидел ты меня, ох, как обидел. Если бы не в гостях, я за такие слова убить бы мог.

Храмов поперхнулся и, спотыкаясь, пошел к двери.

Держа шапку в руке, он вышел на улицу и никак не мог сообразить, в какую сторону ему нужно идти.

Пыльнов брел рядом с Храмовым и, заглядывая ему в лицо, скорбно просил:

— Ты послушай, чего я скажу... Ты послушай...

Но старик только мычал, словно у него болели зубы, и, тряся головой, норовил уйти в сторону.

Давящая боль в глазах мучила Костина. Когда он пробовал поднять руку к лицу, она сначала казалась ему огромной, величиной с дверь, а потом вдруг начинала уменьшаться, делалась крошечной, далекой... И все вокруг становилось противно гладким.

Войдя в комнату и видя, что Костин лежит с закрытыми глазами, Храмов тяжело опустился на сундук. Лицо старика было красным, возбужденным, глаза тревожно блестели.

— Вася, — позвал он.

Костин с трудом открыл глаза.

— Вася, ты думать можешь?

Храмов подошел на цыпочках к постели и, наклоняясь, нетерпеливо спросил:

— Для удовольствия человек на свете жить должон или как?

Я в бога верю, — заявил он вдруг неожиданно, — но по-евангельски жить не желаю. А у вас что получается? Станцию забрали. А где оно... имущество?

И тихо посоветовал:

— Делить бы все надо... Чтобы народ понял, за что старается.

Костин, опершись на локоть, негромко сказал:

— Мы жадные.

Храмов смотрел на него и смущенно улыбался, не зная, как понять эти слова.

— Жадные мы, папаша, — повторил Костин. Высвободив руку из-под одеяла и описав ею в воздухе круг, он пояснил: — Вот, всю ее хотим.

— Эту планеду нашу, что ли? — спросил Храмов и, расхохотавшись, хлопая себя по коленям ладонями, закричал: — Хватай еще с неба звезды, Вася!

Костин слабо улыбнулся:

— Звезды нам и так светят, а вот землю твою еще чужими ногами топочут. Видишь, что творится?

— Ну, это мы скоро справимся, — уверенно заявил Храмов. — А как Россию освободим, так, значит, все, кто к этому делу касался, удовлетворение получат?

— Это ты насчет дележа, что ли?

— Ага, — подтвердил Храмов.

Костин, подумав, спросил:

— Егор Кузьмич, ты из помещичьей земли надел получил?

Храмов мотнул головой в знак согласия.

— А сыновьям долю выделил?

Храмов тревожно вскочил с сундука и, размахивая руками, сердито заговорил:

— Это зачем же я на куски землю рвать буду? Всей семьей ее подымать нужно. Детей я не обижу. Пиджак кому нужен — на, купи! Жениться хочешь — пожалуйста! Что на чью долю причитается, все выдам, а из компании выходить не позволю.

— По-хозяйски, значит, думаешь, — строго сказал Костин, — а нам что советуешь?!

И до рассвета взволнованно, вполголоса Костин и Храмов проговорили о будущих своих делах.

Храмов поминутно вскакивал и, бегая разутым по комнате, восхищенно говорил:

— Значит, нужны нам плуги. Так... Прихожу я к тебе. А ты по-божески, по своей цене отпускаешь — наживаться друг на друге интереса нет, потому котел общий... Да за такое ж дело, Вася, и помереть не жалко!..

Василий, показывая глазами на дверь, просил:

— Вы полегче шумите, папаша. Нина проснется, она вам покажет, как больного человека политикой тревожить.

— Да разве ж это политика? — удивился Храмов.

— А ты думал — нет?

И Костин кротко, счастливо улыбался.

12

Больше трех месяцев пролежал Костин в постели.

Выздоравливал он медленно; желтый, похудевший, походил на подростка с большой старческой головой. При малейшем волнении у него начинала мелко трястись нижняя губа и на глазах выступали слезы. Нина ухаживала за ним самоотверженно. Она терпеливо переносила его капризы, болезненную раздражительность. Но все это она делала с покорным торжеством и лукавой уверенностью, что Василий принадлежит теперь только ей одной. Она пускалась на любые ухищрения, чтоб воспрепятствовать встречам Василия с товарищами. Нина мечтала увезти Василия, когда он встанет на ноги, в станицу и там на хороших харчах вернуть ему здоровье, тем более что отец и особенно Михаил стали относиться к Костину с особой внимательной почтительностью.

Но ей не удалось защитить Василия от встреч с его соратниками.

Когда в ревкоме узнали, что заключен «договор» о взаимном ненападении, подписанный представителями четырнадцати станиц в Егорлыкской, и хотели немедленно послать агитаторов, чтобы разоблачить эту контрреволюционную авантюру, дававшую кулацким шайкам возможность передышки до прихода регулярных белогвардейских частей с Кубани и Дона, в ревком явился Маслюков и потребовал немедленного прекращения всякого вмешательства в дела крестьянства.

Такую тактику он «обосновывал» тем, что теперь якобы самое главное — не создавать конфликта с казачеством, которое в случае недовольства действиями Советской власти немедленно вольется всей массой в регулярные части белой армии.

Ревком наотрез отказался следовать этой явно предательской тактике. Тогда Маслюков в категорической форме потребовал от ревкома, чтоб Костин был отдан под суд ревтрибунала за то, что, будто бы зная о готовящемся налете на Котельниково банды Гнилорыбова, нарочно отправил в Гуровскую бронепоезд Мальцева и роту фронтовиков Андреева, а из оставшихся рабочих разослал сорок человек по станицам и, таким образом, оста-

вил станцию беззащитной. Кроме того, Маслюкову якобы известно, что свояки Костина, казаки Храмовы, были своевременно извещены о налете на станцию и собирались поживиться имуществом железнодорожников во время налета банды, что может подтвердить председатель станичного Совета, который безуспешно пытался арестовать тестя Костина. Костин и сейчас встречается с Михаилом Храмовым, наталкивая его на организацию нового отряда, чтобы этим провокационно разжечь казачество на борьбу с Советской властью.

Мальцев заявил, что проверит все факты. После этого будет решен вопрос, кого отдавать под суд ревтрибунала.

Маслюков согласился, но заявил, что ревком пока должен воздержаться от всякого распыления сил обороны станции, чтоб не повторилось то, что было устроено Костиным.

Слухи обо всех этих событиях доходили до Костина. Известие, что его собираются судить и что Мальцев ведет следствие, уязвило Василия; он решил немедленно отправиться в ревком — разоблачить готовящееся предательство. Он испытывал сейчас больше ненависти к Мальцеву, чем к оклеветавшему его Маслюкову.

Мальцев сам неожиданно пришел как-то вечером к Костину на квартиру. Василий с искаженным от боли и слабости лицом стал одеваться, чтобы не говорить с ним в постели.

Мальцев, участливо глядя на желтые, худые руки Костина, торопливо рассказал о соглашении в Егорлыкской, подписанном четырнадцатью станицами с контрреволюционным казачеством. Следствие выяснило, что Маслюков не только знал об этом соглашении, но что и готовилось оно по его косвенным указаниям. Мальцев предложил Костину подписать приказ об аресте Маслюкова.

13

Из Царицына на бронепоезде выехал в Сальскую степь командарм.

Накаленная зноем степь дымилась черной пылью. Иссушенные солончаки блестели. Впереди бронепоезда шла открытая платформа, нагруженная рельсами, шпалами, инструментами, необходимыми для ремонта пути. На платформе сидел, зажав между колен винтовку, рабочий Путиловского завода Аносов, широкоплечий, костлявый...

Путь впереди часто оказывался поврежденным; тогда Аносов, подняв винтовку, стрелял вверх. Бронепоезд останавливался, и, если вокруг не было ничего подозрительного, из вагонов

выходили вооруженные питерские и московские красногвардейцы и молча принимались за починку пути.

Аносов взбирался на крышу кабины машиниста и, установив там пулемет, свесив вниз ноги, задорно покрикивал на работавших.

Бронепоезд в пути неоднократно подвергался нападению со стороны белых банд.

На подъеме он однажды был обстрелян артиллерийским огнем. Две орудийные упряжки, нагнав быстрым галопом медленно шедший состав и развернувшись, открыли огонь. На заднем вагоне остались рваные вдавленные пробоины.

Когда из вагона выходил командарм, Аносов подбирал ноги, садился на корточки перед пулеметом и зорко осматривал в степи каждый кустик, каждый бугорок. Лицо его при этом становилось сердитым, настороженным.

Ночью во время остановки из темноты вынырнул всадник и размашистой рысью направился к бронепоезду. Остановив коня, стараясь не глядеть на пулеметное дуло, наведенное на него Аносовым, он приветливо сказал: «Здрасте!», потом подумал и, поднеся ладонь к фуражке, поправился: «Здравия желаю». Рабочие смотрели на него вопросительно и строго.

— Закурить нету? — сладеньким голосом спросил всадник. Смущенный молчанием, он сам поспешно вынул из кармана кисет и попросил: — Может, моего испытаете — от простуды хорошо действует.

— А вы кто будете? — спросил его один из рабочих, облокачиваясь на кувалду.

Всадник, внимательно глядя, как остальные продолжали мерно взмахивать кувалдами, загоняя в шпалы костыли, неопределенно ответил:

— А мы — тутошние. А вы, извиняюсь, не здешние?

И вдруг, раздражаясь, вызывающе спросил:

— Поденно работаете или как? Больно уж стараетесь!

Ему опять никто не ответил. Склонившись к шее лошади и оглаживая ее ладонью, всадник насмешливо сказал коню:

— Не бойся, они не укусят.

Ловко соскочив с коня, забросив повод, он пошел к вагонам валкой походкой, разминая затекшие ноги. Когда один из рабочих преградил ему путь, наставив наган, старик пренебрежительно отвел его руку в сторону и сердито сказал:

— Буде в жмурки играть. Красные — по работе понял. Аккуратно мастерите, по-хозяйски, а не так, как те: колеса бы унести только! Начальство у вас кое-какое есть? Зови!

И, став на ступеньку вагона, повернувшись лицом к степи,

он сунул три пальца в рот. Резкий угрожающий свист хлестнул по тишине.

Комендант в кожаной куртке выбежал из вагона, вытаскивая из деревянной кобуры маузер. Не обращая внимания на причиненное им замешательство, старик спустился на землю и, повернувшись к Аносову, замершему на крыше с пулеметом, заорал густым грубым голосом:

— Ты что, засады не видел? Посадили тебя, слепошарого!

И, обратившись к окружавшим его красноармейцам, хвастливо заметил:

— Глядите, как мои орлы сейчас прискачут.

И действительно, из стоявших в степи сложенных шатрами деревянных снегозащитных щитов выскочили четыре конника и стремительно помчались к поезду.

— Сыны, — гордо объяснил старик и насмешливо попросил: — Уж вы с ними будьте добренькн; молодые они, горячие, от беляков грубости не переносят, убивают. Это вы меня, как жулика, приняли. Но я же умный, я понимаю.

Сидя в купе за откидным столиком напротив командарма, держа в руке стакан с чаем, но не решаясь отхлебнуть, старик представился:

— Храмов я, — и, поставив стакан на столик, наклонясь к окну, добавил: — Вон она, вся моя фамилия с вашими ребятами дружится.

— Партизаны? — спросил командарм.

— Да не! Так, между делом занимаемся.

И горячо пояснил:

— Грабят, портят дорогу беляки, хуторские казаки, сволочи. Спилят столбы и волокут домой — для хозяйства вещь первейшая! Шпалами печи топят. А то быков пригонят, закрутят цепью за рельсу, на полверсты путь изворотят. А дорога-то чья?

Встав, старик стукнул себя по груди кулаком и сурово сказал:

— Собственная! Вот и охраняем на досуге. Белячков встретим — потрепим, скока можем.

И, вздохнув, произнес насмешливо и чуть грустно:

— Жизнь охотницкая. Свистком я вас не обеспокоил? Очень хладнокровно меня ваши ребята приняли, так это я — для лихости. Показать себя хотел. Извиняюсь.

Командарм спросил:

— Ну а отряды у вас крепкие есть? Почему вы в одиночку действуете?

Храмов поерзал на диване, пощупал обивку и сдержанно пробормотал:

— Да они вроде и есть и нету.

— Ну а точнее?

Старик вдруг покраснел, смутился и сиплым шепотом спросил:

— А вы, извиняюсь, большевик будете?

И, окончательно приходя в смятение от своего вопроса, махнув рукой, сказал:

— Да оно-то все равно. Вот здесь у меня в партии...

Командарм, словно размышляя вслух, произнес:

— А я думаю, не все равно, товарищ Храмов...

И, пристально глядя в глаза старику, спросил:

— Вот предположим, вы вместе с вашим зятем попали в плен к белым...

— Я живым не дамся, — возразил старик.

— ...я говорю: допустим, на допросе выясняют, что ваш зять коммунист, а вы — нет. Кого, по-вашему, — вас или зятя расстреляют первым белые?

Храмов потупился, шаркнул ногой и, не поднимая глаз, ответил:

— Его первого казнят, это верно. Коммунист для беляка первый враг, шкуру спустят.

— Вот, — командарм встал. — Значит, коммунист первый враг для помещика, кулака, белых генералов...

И, показав рукой на зажатый между колен старика кирасирский тяжелый палаш с приделанными на конце ножен роликами, чтобы, когда всадник спешится, палаш катился по земле, сказал:

— Вы подняли оружие на кого? На помещиков, кулаков, белых генералов. Они — ваши враги. А коммунист вашему врагу первый враг. Значит, коммунист трудящемуся кто? Первый друг.

И, улыбнувшись, объяснил:

— Когда приходишь в компанию, нет ничего плохого узнать у человека, кто он тебе: друг — большой, маленький или так себе, серединка-наполовинку.

И серьезно произнес:

— Мы большевики, товарищ.

Храмов поднялся. Лицо его было возбужденным и торжественным. Приложив ладонь с растопыренными короткими пальцами к груди, он сказал решительно:

— Теперь держитесь. Все выложу.

Наклонился, вытащил из-за голенища потертую бумажку и бросил на стол.

В воззвании было написано:

«...Отношение наше к иногороднему населению весьма доброжелательное и дружественное, насилий нет и не будет, если на то не будет вызова. Против Советской власти мы ничего не имеем и не будем выступать, а также просим не навязывать своих идей, так как, согласно декретам народных комиссаров, всякая нация имеет право на свободное самоопределение».

— Вот, — гневно сказал Храмов.

Отстегнув путающийся в ногах палаш и положив его аккуратно на верхнюю полку, он горячо, уже не сдерживаясь, закричал:

— Чего на самом деле получается? Кулак, сволочь, нацию свою за его добро заступаться просить стал. Братцы казаки, братцы иногородние, братцы калмыки! Бейте друг дружку, а нас не потрошите, мы для вас — свои. Вот они какую политику разводят!

И вдруг, усевшись на диван, старик сказал решительно:

— Стой, я сказку расскажу: «В одном зверином царстве решили звери за очень жестокий характер своего царя убить. Собрались все разом. Пошли. Царь в темных горах жил — замок у него там был из камней сложен, недоступный простой скотине. Тигры лютые тот замок охраняли. Подошли звери к реке, что поперек земли текла: «Ах, ах, как это нам перебраться?!» — «Обождите, ребята, — говорят бобры-плотники, — это мы разом». Навалили дерев, соорудили плотину. По ней все, как по мосту, и перешли. Дальше видят — стена из вечного огня горит. Очень опасная, сгоришь разом до пепла. Позвали умного медведя. Сел он в стороне думать. Думал, думал, всю лапу иссосал. Потом приходит, аж похудел весь от натуги. «Окунемся, — говорит, — ребята, в речку и мокрыми в огонь сиганем, авось не сдохнем». Так и сделали. Кое-кто шубы попортил, а так ничего. Подходят к самой горе. А там тигры о камни клыки точат. Пыль и скрежет по всей земле столбом стоят. Царь с царицей на каменном балконе сидят, кофий пьют и деткам своим вниз показывают: глядите, мол, учитесь, как народом управлять надо.

Звери, конечно, забоялись вначале: которые зайцы, те тут же линять от страха стали.

Медведи, бобры да волки чихают — шерсть в нос лезет, щекочет, но ничего, держатся. Выходит наперед всех старый медведь и говорит: «Я, братцы, этот замок лично строил. Все лапы в мозолях до старости. И желаю я испытать, чего эти мозоли весят».

Поклонился всем и пошел на главного тигра. Тигр костяную пыль с усов сдунул и очень развязно убивать медведя направил-

ся. Медведь идет так себе, прихрамывает — старый, ему на работе ногу ушибло, а тигр хвостом похабные слова выписывает, над медведем смеется, и сам, между прочим, думает, как тому брюхо рвать: вдоль или поперек. Медведь подошел к самому тигру да вдруг вежливо воскликнул: «Ай, ваше благородие, вам мушка на шерстку нагадила, позвольте листочками вытру».

Тигр аж задрожал от неприятности. Оглянулся, не видел ли царь, как мушка на него напакостила, и приказывает медведю: «Чего же ты ждешь, холуй? Не видишь моего омерзения?»

Медведь: «Сейчас, ваше благородие». Взметнул лапой — и у тигра башка, как горшок, в мелкие дребезги!

Ну тут и остальные звери зачали крошить.

До царя добрались. Очень сердитые были, мокрого места не оставили. После отдохнули, почистились и стали думать, как жить дальше.

Решили так: пускай всяк зверь живет согласно своей породы, но справедливо и прилично. Все теперь наше, пользуйтесь. Пущай каждая нация свое начальство выбирает. А ежели чтонибудь не так будет, здеся, в этом замке, для совета собираться раз в год. Порешили и все были очень даже довольны.

И только чакалам вонючим это дело совсем не понравилось. Привыкли они за чужой счет жить: когда у какого зверя охота плохая, они его пропастинкой ссужали под процент. Все звери у них в должниках ходили. И думают чакалы: «Нельзя нам жить одним вместе, изгрыземся друг с другом». И начали они в чужие нации втираться. Подходит один вонючий к зайцам и говорит: «Примите меня, зайцы, к себе; очень я пужливый, — это оттого, что одних мы с вами кровей». Зайцы его и приняли. Другой к волкам пошел. Говорит: «Возьмите меня, волки, к себе. У меня голос волчий, только тенор». Те его взяли. Так и распределились чакалы по звериным племенам. Живут звери ничего себе, поправляются. Бобры стали дом себе строить на большой реке. Только леса у них маловато. Вот один чакал приходит и говорит: «Я вам в этом деле, бобрушечки, помочь могу: скажу своим братцам-медведям, чтоб они вам дерев наломали, а вы мне за это шубы свои в залог оставьте, после отработаете».

Подумали бобры, согласились.

Побежал чакал до медведей. «Ой, говорит, братцы, когда-то я вас в голодный год пропастинкой потчевал. Не откажитесь, сделайте бобрам услугу».

Ну медведи: «В чем дело, пожалуйста!» Рощу своротили. Забрал чакал бобриные шубы в нору к себе и живет. А зима —

вблизи. Снег сыплется. Бобры дом выстроили, а погулять выйти, добыть пропитание не в чем.

Вот и послали они делегатов к чакалу.

Закорючились от холода, пока, босые и голые, добежали до чакальей норы. «Отдай, говорят, скорей шубы, будь хорошим». А чакал вылез из норы, в доху из бобровых шуб завернулся и спрашивает: «А вы знаете, такие-сякие, почем теперь бобровая шуба?»

Бобры ни кашлянуть, ни сморкнуться не могут, стоят, и сосульки на глазах намерзли.

«Ладно, — говорит чакал, — отдам я вам две шубы, нечего вам всем по лесу зимой шлендрать (а взял-то он сто!), только вы выметайтесь из вашего дома — я в нем теперь жить буду».

Вот как облапошил!

Стоят бобры и поседеть-то от горя им нечем — отдали шкуры-то!

Но не выдержал тут молодой бобер, поднял он свой голый хвост да им, как поленом, тюкнул по башке чакала и закричал: «Ах ты, паразит, експлотатор!»

Чакал за башку схватился, доху скинул и на трех ногах бежать. Бежит и воет: «Медведей бьют, спасите, заступитесь!»

Медведи пробудились, выходят из берлог, потягиваются. «Кто, мол, медведей смел затронуть?» — спрашивают.

«Бобры», — кричит чакал и гулю над глазом всем показывает.

«А рази ты медведь?»

«Медведь, братцы, медведь, рази вы забыли?»

Ну, чего же делать, пошли медведи на бобров войной, а те кольев зубами навострили и на медведей с кольями. На всю землю скандал и кровопролитие.

И услышал об этом старый медведь в замке, где он за весь народ отдыхал, думал. Прибежал хромой: одному — в ухо, другому — в загривок. Потом как заревет! Деревья вокруг, как трава, полегли от его реву: «Я вам как велел жить, гадам? Смирно, дружно, чтоб друг другу содействовать, а вы чего делаете?!»

Своротил скалу, сел на нее и начал судить. Присудил медведь выгнать чакалов воиючих насовсем.

Но те суда не послушали, набрали каменьев и стали о них зубы острить, как прошлый раз тигры лютые.

Но не тут-то было. Пошел на них медведь войной со всем народом. Ну, где ж чакалам устоять! Повышибали им зубы, а кого и порешили вовсе. И велел с тех пор медведь носить чака-

лам хвосты промеж брюха, чтоб каждый зверь знал их с первого вида и никаких с ними делов не имел...»

Уже заканчивая сказку, Храмов потерял всю свою самоуверенность. Он неловко вертел шеей, потел, и глаза у него бегали. Кончив сказку, он робко откашлялся и объяснил:

— Это один прохожий дурачок закурить попросил, ну и за спасибо рассказал, на завалинке сидя... Сказка пустяшная.

Храмов поднялся, достал с верхней полки палаш и, пристегивая его, сказал, отворачивая огорченное, грустное лицо:

— Спасибо за угощение.

И хотел было идти.

Но командарм поднял руку и сказал мягко, но властно:

— Нет, подождите. Пришли в гости — будьте гостем.

Старик сел, поставил между ног палаш, оперся на эфес подбородком и, испытующе поглядев, спросил озабоченно:

— Дошла побаска-то?

Командарм сощурился, словно для того, чтобы умерить черный, лукавый, радостный блеск в глазах, искоса посмотрел на Храмова, потом спросил, положив ему руку на колено:

— Зачем человеку, когда у него такой инструмент есть, — он показал глазами на богатырскую саблю старика, — прибаутками говорить? Храбрый и сильный правды не боится и выкладывает ее прямо.

— И скажу, — воскликнул старик.

Шея его побагровела, глаза заблестели. Снова отстегнув палаш, он, не оглядываясь, бросил оружие на диван и взволнованно произнес:

— Вот картина. Землю вы нам дали? Дали. А поднять ее у меня мочи нет. Соседу кланяюсь — подсоби. «Можно — за третью долю». Я кричу: «Мы тебя растрясем!» А он: «Не стыдно против нации своей руку поднимать?» — «Нету, кричу, у меня нации, чакалы вы!» Слухайте дальше. Мы их трясти, они нас бандитским способом убивать. Мы на них хором наваливаемся, а они на нас сворой. Дали кулакам жару. А те драться уже не хочут. Видели, писульку какую сочинили?! «Вы, говорят, больше нас не трогайте, и мы вас больше трогать не будем, пока белые армии не подойдут. А уж как подойдут, насмолим мы вам шкуры, будьте спокойны!»

Теперь чего же делать надобно? Собраться всем в кучу и намахать кадетов. А после в холодке все размыслить. И жить спокойно, без скандала, справедливо, согласно новому правилу жизни.

Старик задумался, потом спросил:

— Закурить нету?

Командарм протянул кисет. Старик ловко и осторожно оторвал от прокламации чистый лоскуток и, сворачивая козью ножку, сказал:

— Человек-орел нам нужен, под его крыло всем бы собраться. А то все отряды партизанские сами по себе бойцуют. Каждый за свой хутор, за свою станицу сражается.

И добавил с грустью:

— Я уж было про себя думал: в бою двужильный, это верно, зарубить меня трудно, но характером слаб: с детьми своими еще кое-как справляюсь, а больше...

Командарм протянул старику руку и сказал:

— Есть у нас такой человек, товарищ Храмов.

Старик поднял глаза и спросил строго:

— Это кто же такой будет?

— Ленин, — тихо произнес командарм.

Выходя из вагона, старик Храмов остановился на подножке и, выпятив грудь, гаркнул сынам:

— По коням! Смирно!

Четыре огромных всадника замерли на своих разномастных конях.

— Ребята! — сказал старик взволнованно и снял фуражку. — С праздничком вас! — И приказал: — Ты, Петро, на Дурной хутор скачи, ты, Михайло, — в Рубашкинскую, Павел — в Зиминки, Захар — в Корольковскую усадьбу. Велите партизанам на Ремонтную скакать. Человек от Ленина приехал.

Храмов подошел к своему коню, лихо, не касаясь стремени, прыгнул в седло, потом, обращаясь к вагону, где в тамбуре стоял командарм, крикнул, поднимая коня на дыбы:

— Вся степь явится, будьте спокойны.

И взмахнул плетью. Конь, вытянувшись, повернулся на задних ногах и прыжком рванулся вперед. Пластаясь, словно летящие гигантские птицы, всадники исчезли в темноте.

Бронепоезд тронулся. Аносов перебрался с крыши кабины машиниста на платформу. Горячий пыльный ветер жег кожу. Аносов, подняв плечи, чтобы колючая пыль не набивалась за воротник, снова пристально, до боли в глазах смотрел на текущие навстречу рельсы.

Бронепоезд мчался, но казалось, что он стоит на одном месте и только бешено кружатся колеса; так велика и однообразна была степная земля.

На рассвете бронепоезд прибыл на станцию Ремонтная. Горячий ветер по-прежнему метелил черной пылью. Раскачиваясь,

брякала жестяная труба на водокачке. Черные шары перекати-поля, подпрыгивая, носились в воздухе.

Но там, в степи, за железнодорожным поселком, вздымались в темноту сотни огней костров, и человеческие голоса гудели, как гул глухого прибоя. Прибыли партизаны.

Скопище людей, бричек, тачанок, возов напоминало скорее предпраздничный базар, чем военный лагерь.

На одной из тачанок с прикрученным к задку растрепанной веревкой пулеметом стоял здоровенный парень в крошечной кубанке на затылке и, отбрасывая со лба закрученный винтом чуб, скорбно выкрикивал:

— Патрончиков от «Гра» никто не сменяет? Откликнитесь, братушечки!

Сквозь эту оживленно-дерзкую толпу с трудом протискивался командарм. Аносов с четырьмя красногвардейцами то и дело настойчиво просили бойцов «потесниться»; не оглядываясь, партизаны пропускали вперед неизвестных им людей. Приходилось то пролезать под брюхами лошадей, то карабкаться через возы. В одном месте путь был окончательно прегражден сплошной живой стеной. Бойцы стояли вкруговую, тесно. В середине круга боролись два обнаженных до пояса человека.

Низкорослый кривоногий калмык с наголо бритой головой, согнув шею и слегка приподняв руки, ходил враскачку вокруг толстого белотелого казака. Живот казака вываливался из штанов, как тесто из квашни. Из-за огромного брюха грудь его казалась впалой. Руки и шея казака были могучи. Покатые плечи, казалось, обвисли от тяжести рук — мясистых, как лошадиные ляжки. Казак сопел и как-то виновато улыбался — видимо, увертливый калмык уже порядком успел его измучить.

Низенький партизан-зритель с широким и плоским лицом неутомимо подпрыгивал на одном месте, чтоб хоть уголком глаза взглянуть на поединок, и, обернувшись, екающим радостным голосом объяснял:

— Казак калмыка обидел. Здесь встретились. Сначала — рубиться. Но народ не позволил: чего это, говорят, вы портить себя будете, когда с вас обоих — польза революции? Схватитесь на голые руки — и нам будет весело, и у вас злость отойдет.

И вдруг, подпрыгнув особенно высоко, он повис, уцепившись за плечи стоящих впереди, и, вытягивая шею, завопил на всю площадь:

— Калмычок, не суйся, береги характер! Ты из него дух сначала выпусти, а потом он сам ляжет!

Но калмык, видно, погорячился. Белотелый казак успел сгра-

бастать его ручищамн со страшной силой н поднял — ноги калмыка заболтались в воздухе. Состроив свирепое лицо и ухнув, казак прижал калмыка к себе, чтобы швыриуть его об землю, но тот поджал ноги н, упершись нмн в тучный живот протнвника, неожиданно рванулся. Казак тяжко прянул наземь, а калмык, перевернувшись, стал на четвереньки. Тысячеголосый рев и свист огласили площадь.

Но калмык, вместо того чтоб победио усесться на грудь повержениого, подошел к казаку н спроснл озабоченно:

— Ушибся, бачка? — И протяиул руку.

Комаидарм, увлеченный общим возбуждением, оживленно сказал:

— Хорошо!

И, за плечо притягивая Аносова ближе к себе, задумчиво произнес:

— Это хорошо: народ понял. Есть один конфликт главный, осиовиой — коифликт трудящихся с эксплуататорами. Тогда все прочие конфликты — личные, национальные — отходят в сторону.

Плосколицый партизаи, усевшись иа корточки, вытирал вспотевшее от прыготии лицо шапкой.

Расслышав, о чем говорили рядом с ним незнакомые военные, ои оглянулся и поясиил:

— Во французской борьбе лягаться в брюхо иогами не дозволяется. Калмычку позволили потому, что он правил не знает, степной человек. А с тем, что вы сказали, я согласен. Такое чистое дело затеяли — и вдруг иациоиальиость затрагивать! Нехорошо это!

Партизан неодобрительно пожал плечами.

14

Подвешеииая к потолку на проволоке керосииовая лампа освещала только середииу класса. Углы и стеиы оставались темиыми. Собравшиеся на совещанне комаидиры партизанских отрядов — многие приехали сюда после боевых стычек — испытывали чувство неловкости, связаииости. Хотя большинство из присутствовавших и не были зиакомы между собой, почти все были наслышаны друг о друге н сейчас сдержанно присматрнвались к соседям, невольно поддаваясь атмосфере взанмной иасторожениости.

Комаидиры были одеты по-разиому. Почти ни на одном не было полного военного комплекта, бросалось в глаза нзобилие

оружия, но в этом не было ничего показного — все командиры были людьми беззаветной боевой отваги.

Хотя у многих командиров имелись взаимные счеты, обиды, недоразумения — отряды в своих действиях зачастую мешали друг другу, а при больших операциях из-за отсутствия связи иногда оставались отрезанными, без помощи, — сознание особой важности этого совещания заставляло их быть особенно предупредительными и вежливыми между собой.

Вошел командарм. После приглашения сесть произошла заминка. Дело в том, что скамьи у парт были очень низкими, и командиры не решались усаживаться на них, чтобы не выглядеть смешными, садиться же на столы парт было как-то неловко.

Наконец все кое-как расселись. Командарм снял фуражку, провел ладонью по волосам и стал говорить о положении на фронте.

Мальцев, подперев кулаками скулы, внимательно глядел на командарма. Лицо его было моложавое, глаза ясные, с припухшими от усталости и бессонницы веками. Каждое его слово было понятно, просто, строго.

— ...нужно покончить с неразберихой в отрядах, — говорил он. — Закаленные в боях с белыми сельские партизаны уже выросли из пеленок партизанской войны. Нужно понять, что борьба с белыми сейчас стала иной. Перед нами противник, хорошо обученный, организованный в регулярные армии. Он сметет вас, если вы вовремя не соберете все свои силы в крупные военные соединения, не проникнетесь единственно необходимым для победы духом дисциплины Красной Армии. Драться нужно дивизиями, корпусами, армиями. Мы предлагаем вам произвести переформирование отрядов в полки, в бригады, в дивизию и идти к Царицыну, чтобы ударить в тыл белому окружению и совместно с царицынскими частями Красной Армии опрокинуть врага.

Кто-то спросил опечаленно:

— Значит, отступать на Царицын?

Приподняв руку, командарм бросил на сидящих испытующий взгляд и, словно обращаясь к одному человеку, — по крайней мере, каждому казалось, что он говорит именно с ним, — сказал:

— Товарищ, по-моему, обмолвился. С каких это пор намерение идти на главные силы противника называется отступлением?

Командиры засмеялись, шумно заерзав на своих неудобных сиденьях.

Выждав, когда шум утихнет, командарм заговорил снова:

— У вас имеются кое-какие обиды на командование фронтом. Скажу откровенно: до сегодняшнего дня мы вашу боевую силу не всегда рассматривали всерьез. В этом виноваты мы, но в этом виноваты и вы.

Опираясь рукой о стол, он закончил:

— О решении нашего совещания мы сообщим немедленно товарищу Ленину. Думаю, что в ваших дальнейших действиях товарищ Ленин найдет подтверждение своим словам о том, что рабоче-крестьянская армия, борющаяся за первое в мире государство трудящихся, непобедима.

15

Из Ремонтной бронепоезд последовал дальше, в глубь Южного фронта, на Котельниково — Зимовники.

Пехотные дивизии и кавалерийские бригады, сформированные из партизанских отрядов, заняли участок на линии Царицынского фронта. Но некоторая часть партизанских отрядов продолжала упорствовать и дралась только возле родных станиц и хуторов, обрекая себя на неминуемую гибель: белые, ведя наступление, постепенно окружали их. Фронт был неимоверно растянут.

На обратном пути бронепоезд из-за повреждения паровоза остановился на станции Котельниково. При свете фонарей бригада меняла разбитые снарядом части машины.

Руководивший ремонтом Михаил Петрович Глушков придирался к малейшей неисправности. Рабочие привычно выполняли указания строгого мастера. Комендант бронепоезда торопил Глушкова, но тот ругался и угрожал поставить машину на капитальный ремонт.

— Вон — гляди! — указывал он коменданту на очередное обнаруженное повреждение.

Встревоженный комендант начал даже слегка заискивать перед стариком.

Глушков, с видом победителя хлопая коменданта по спине, снисходительно говорил:

— Это на лошадь кричать можно — она пугливая. А паровоз криком не проймешь, к нему подходец особый нужен — вежливый.

К рассвету работа была закончена.

Почистившись, Глушков поднялся в будку машиниста и, оглядев там себя перед зеркалом, отправился доложить начальству о готовности паровоза к дальнейшему следованию.

Подойдя к вагону, Глушков заявил часовому, что пришел с докладом к командарму. Часовой, внимательно оглядев мастера, ответил, что командарм только что ушел осматривать станцию.

Командарм в сопровождении Костина и Васильева был в депо. Волнуясь, Костин короткими, отрывистыми фразами давал пояснения и поминутно оглядывался на Васильева, словно ища у него поддержки.

Ночная смена работала, как обычно, у станков за производством патронов и снарядов. Слесари ремонтировали оружие.

Командарм подошел к станку токаря Игнатьева, занятого обточкой снарядной гильзы. Игнатьев, чувствуя на себе посторонний взгляд, следил за стружкой с напряженным и от этого угрюмым лицом. Отделка кромки стакана была самой ответственной операцией.

Командарм спросил Костина, почему набивка снаряда происходит тут же, на месте, без предварительного контроля качества изделия. Костин поспешно объяснил:

— У нас каждый мастер имеет свое клеймо. Набивщики делают отметки на стакане красной краской. Если на позиции недовольны снарядом, стакан возвращают, по стакану видно — чья работа.

— И много стаканов присылают обратно?

— Пока не было еще такого случая.

— Значит, главное, от чего зависит качество, это — совесть человека?

Костин неуверенно согласился.

Командарм, обернувшись к Васильеву, сказал:

— Это очень интересно.

И, подойдя к винтовке, стоявшей в козлах перед станком, спросил:

— А с этим инструментом, товарищ Игнатьев, каковы ваши успехи?

Игнатьев перевел станок на холостой ход, вытер паклей руки и, кивнув на Васильева, скромно ответил:

— Об этом вы у товарища начальника батальона спросите.

— Ну, что скажете, товарищ Васильев?

— Скажу откровенно, что и ему говорил.

И Васильев сердито объяснил:

— Токарь он — второго такого не сыскать, человек незаменимый. А в окопах всегда норовит первым в атаку выскочить, в штыки, значит. Я ему приказываю — сиди, стреляй потихонечку и зря не высовывайся. Не тебя убьют, специальность твою драгоценную загубят. Тебе в атаку бегать — все равно

что аэроплану в конной упряжке ездить по степи вместе с тачанками. Ну, а он обижается.

— Значит, бережете людей?

— А как же!

После осмотра мастерских побывали в окопах. Оттуда на платформе, запряженной верблюдами, вернулись на станцию.

— Что же вы нас с Михаил Петровичем все-таки не познакомили? — шутливо упрекнул командарм. — О чем ни спросишь, все Михаил Петрович да Михаил Петрович. Может, он гордый, так вы ему скажите, что я по слесарной части тоже кое-что смыслю, — мне ж интересно!

В вагоне командарм снял шинель, повесил на вешалку и, пригладив рукой волосы, предложил Васильеву и Костину сесть. Медленно шагая по купе, он говорил:

— Все, что мы видели, — хорошо. Замечательно! Рабочий класс, участвуя в революционной войне, не может не использовать хорошо ему знакомую технику. Здесь вы сделали все, что было возможно. Но теперь перейдем к другим вопросам...

Только через два часа Васильев и Костин вышли из вагона. Светало. Ветер доносил горький запах степи и смешивал его с запахом железа и нефти. Теплое розовое облако парило над восходящим солнцем. Возле вагона на опрокинутом ящике спал, свернувшись клубочком, Михаил Петрович. Очки его были сдвинуты на лоб.

Часовой, подойдя к Костину, сказал:

— Товарищ просил, как у вас совещание окончится, разбудить его.

Костин посмотрел на окно вагона, где еще горело электричество, потом на мирно посапывавшего Глушкова и тихо ответил:

— Не стоит. Пускай выспится. Устал он.

— Так я шинелью его накрою, — оживился часовой. — Очень сердитый старик, самостоятельный. Не простудился бы!

И торопливо полез в тамбур.

16

На заседании ревкома Мальцев сообщил, что Маслюков накануне ареста бежал и, по имеющимся сведениям, находится в отряде того самого Дитюка, который не явился на совещание командиров партизан. Там он подговаривает Дитюка арестовать ревком за решение оставить степной фронт и выступить к Царицыну.

Сведения Мальцева были верными, но далеко не полными.

Прославленному партизанскому командиру Афанасию Андреевичу Дитюку было двадцать четыре года. Он был коренаст, широкоплеч, рябоватое лицо его обычно казалось сонным, глаза были всегда полуприкрыты припухшими веками. Способный и сильный человек, он отличался крайней неуравновешенностью, непомерным самолюбием и мнительностью. Временами Дитюк безгранично верил в себя, но иногда становился нерешительным, подавленным, ищущим совета. Однако в трудную минуту дерзость и смелость возвращались к нему, и он всегда находил выход, заражая отвагой всех своих людей.

Не раз уже Дитюк вызывающе не подчинялся приказам полевого штаба, предпочитая совершать самостоятельные рейды. Совещания в Ремонтной Дитюк побаивался, потому что, находясь в «контрах» с командирами других партизанских отрядов, думал, что те нажалуются на него представителям из центра и он будет смещен.

Приезд в отряд Маслюкова и его сообщения сильно смутили Дитюка. К тому же Маслюкова поддерживал помощник Дитюка Жирба, который также требовал немедленно выступить в Котельниково для установления там «революционного порядка» и расстрела «предателей».

Дитюк отказался принять какое-либо решение, пока не узнает о результатах совещания.

Он велел выставить по степи заставы и тащить к нему любого из тех, кто был в Ремонтной.

К утру разведчики приволокли к нему секретаря полевого штаба соседнего отряда.

Увидев на крыльце Дитюка, секретарь в отчаянии, словно Дитюк причинил ему личное, ничем непоправимое горе, закричал:

— Что же ты понаделал, Афанасий Андреич! Я думал — ты теперь как дитя будешь, а ты опять своевольничаешь. Что же теперь делать, а?

Дитюк, с тревожно-смущенным лицом, помог секретарю слезть с седла и, провожая его в хату, сконфуженным шепотом объяснил:

— Ты не убивайся, я тебя все равно как в гости для разговора позвал, а ты обиделся.

— Не меня ты обидел, — с горечью прервал его секретарь, — себя обидел.

— Про меня там что-нибудь говорили? — спросил Дитюк, нарочито усмехаясь, и, наклонившись, стал подтягивать голенища сапог, чтобы секретарь не увидел его встревоженного лица.

— Как же, говорили... действует, мол, нахально: разгромит

белых, а после на клочке обоев шлет крест нарисованный с надписью, что-де не беспокойтесь, я уже управился. И потом мечтает о себе много. Ну и так еще...

— Ну, а они что, начальники-то? — шепотом спросил Дитюк. На его скулах проступили мертвенно-белые пятна.

— Сказали, что такими, как ты, бросаться нельзя; что такой, как ты, ежели его на верный путь поставить, не то что отрядом, а дивизией, армией командовать сможет. Только надо учебу пройти, а это потруднее, чем белых бить. А то, что с мечтой, так это даже ничего, лишь бы мечта была революционной.

— Так и сказали?

— Примерно так. Я ведь говорю не в точности — по памяти.

Дитюк посмотрел на секретаря сияющими глазами. Губы его приоткрылись и вздрагивали. Внезапным сильным движением он притянул гостя к себе, обнял, потряс, оттолкнул... И вдруг, пинком ноги открыв дверь, выбежал на крыльцо, прыгнул с разбегу в седло секретарской лошади и без фуражки, без хлыста помчался в степь по направлению к станции Ремонтной.

Секретарь, выбежав на крыльцо, кричал ему вслед:

— Афанасий, ты хоть гимнастерку переодень, к начальству же едешь все-таки!..

Но Дитюк уже прискакал на Ремонтную; с потных боков коня свисала коростой налипшая пыль...

Воспаленными глазами глядя на какого-то железнодорожника, Дитюк хрипло спросил, свесившись с седла:

— Где бронепоезд?

Железнодорожник, пятясь от всадника, измученного, пышущего жаром, протянул руку туда, где за поворотом, дымя и стуча колесами на стыках, скрывался поезд.

Дитюк, в отчаянии уставясь на железнодорожника, секунду колебался. Потом гикнул, ударил коня и снова поскакал в степь вслед за удаляющимся поездом. Он намеревался нагнать его, мчась по прямой. После сорока минут бешеной скачки конь стал спотыкаться, в горле его что-то хлюпало. Дитюк дергал повод вверх, не давая лошади падать. Но через некоторое время конь на полном скаку резко встал, опустился на колени и медленно, вытягивая голову, повалился на бок, судорожно дернул ногами, словно распрямляясь, несколько раз шумно и коротко вздохнул, опустил и снова поднял веки... Фиолетовые глаза стали затягиваться мутной пленкой.

Из-за поворота показался поезд. Бросив коня, Дитюк побежал наперерез ему, крича и размахивая руками. У самой насы-

ни он хотел ухватиться за вагонный поручень, но сорвался и покатился вниз. Мимо лица промелькнули чугунные жернова колес, обдало ветром и вонью мазута... Задыхаясь от песка, набившегося в рот, Дитюк скатился под откос.

В свой отряд Дитюк вернулся на следующий день к вечеру, мрачный и подавленный. Увидев секретаря, он тоскливо бросил:

— Не удалось поговорить. А я всю душу свою выворотить хотел.

И тотчас, словно устыдившись откровенности перед малознакомым человеком, угрюмо спросил:

— Тебе чего здесь нужно? Коня, что ли? Коня я твоего загнал. Бери у меня любого заводного.

И махнул рукой.

Пройдя в хату, не переменив запыленной рваной одежды, он приказал Жирбе позвать Маслюкова.

Когда тот вошел в хату, Дитюк сделал знак Жирбе отойти в сторону. Он исподлобья пристально оглядел Маслюкова и хрипло спросил:

— Значит, измена, говоришь, в Царицын идти? Белым там продаются?

Маслюкову стало тесно, страшно. И, вместо того чтобы протестовать, он вдруг помимо своей воли как-то жалко ухмыльнулся.

Дитюк поднял руку и дважды выстрелил.

Жирба, стоя в дверях и искоса поглядывая на Дитюка, сказал угрюмо:

— Напрасно горячишься. Человек давно революцию делает. Еще не известно, кто прав. Не простят тебе этого, Афанасий!

Дитюк медленно поднял голову и так взглянул на Жирбу, что тот опрометью выскочил из хаты, не успев затворить за собой дверь.

Вечером Дитюк напился. И в хмельном полусне всю ночь стонал, метался и бредил.

17

Завыл гудок в депо, вслед ему тревожно и грозно загудели паровозы.

Из депо выбежал Мальцев, на ходу вытаскивая револьвер, потом Васильев и за ними, спотыкаясь, Костин.

Кто-то голосом, полным смятения, кричал:

— Прорвался чей-то эшелон. Орудия... Разнесет вдребезги!

Рабочие поспешно выкатили на главный путь пустой вагон, набросали шпалы, втащили на помост трехдюймовое орудие.

Но было поздно. Тяжко задрожали рельсы.

Могучий паровоз, роняя искры, пронесся мимо, обдав горячей волной воздуха. Впереди снегоочиститель, тараном которого паровоз в страшном беге сшиб с пути наваленные шпалы, а пустому вагону нанес такой удар, что тот, весь перекосившись, стремительно откатился назад и свернулся под откос. Вереница вагонов эшелона мчалась мимо железным смерчем. Мальцев успел перевести стрелку, паровоз рванул состав, словно сделав судорожный скачок вперед. Последний вагон оборвался, но по инерции продолжал катиться вслед за исчезающим поездом.

Остановился вагон далеко за станцией. Железнодорожники бросились к нему с винтовками наперевес.

Глушков, оставшись один, произнес тревожно и восхищенно:

— Вот это черти! С такими воевать страшно...

И, поколебавшись, тоже побежал туда, где стоял оторвавшийся от состава вагон.

Опасаясь неожиданностей, железнодорожники окружали вагон.

Мальцев приказал людям лечь и, приложив руки ко рту, зычно крикнул:

— Выходи! Стрелять будем!

Подбежавший Глушков, обращая к вагону багровое встревоженное лицо, сипло поддержал Мальцева:

— Выходи, а то паровоз напущу! Расшибу вдребезги!

И вдруг дверь товарного вагона со скрипом отодвинулась, показался парень в черной, без пояса рубахе, в брюках навыпуск, босой. Опираясь о дверь спиной и занеся ручную гранату, он, зловеще пришепетывая, произнес:

— Ну, амба-кранкен!.. Ногами в небо!.. Сто шестьдесят пудов аммонала! На котлеты к господу богу!

Глушков, восхищенный, почти завороженный героическим поведением этого человека, пошел прямо к вагону, протягивая к парню руки и умоляюще бормоча:

— Подожди! Ты меня не убивай. Подожди! Кто такой будешь?

— А ты кто? Мундир одел? (Глушков всегда ходил в форменной тужурке с медными орлеными пуговицами.) Продался, сволочь!

— Это я продался? — завопил Глушков вне себя. — Да я вас, белых гадов, своими собственными патронами пачками сажаю! Сдавайся, гадюка!

Парень, заметно растерявшись от такого напора и словно наконец решаясь на отчаянный поступок, твердо и раздельно произнес:

— Не белый я. Партизан. Шахтер. Красный.

Услышав это, Глушков вдруг неожиданно для всех, озлившись, бросился к парню и закричал так, как обычно кричал на Гришку:

— Ах ты хулиган!.. Аммоналу-то извести сколько хотел! А я тут без аммонала фугасы на соплях стряпаю!..

Шахтер от этой брани только щурился, потом улыбнулся и воскликнул:

— Да неужто и впрямь свои? свои?

Он порывисто спрыгнул на землю, засунув гранату в карман, но, вдруг нахмурясь, злобно спросил отступившего в испуге старика:

— Чего же вы, подлюги, тогда вагон оторвали?

Глушков, смущенно оглядываясь на своих, словно ища поддержки, пробормотал:

— Извиняюсь, товарищ! Ошибка.

Подошедший Мальцев, дружелюбно хлопая парня по плечу, задорно спросил:

— А вы куда как бешеные прете?

Парень вырвался и, в упор глядя на Мальцева, ответил сердито:

— Куда? В Царицын! Понятно? Окопались тут! Ни черта дальше своего носа не видите!

В отряд Дитюка шли сотни добровольцев. Но принимал он новых бойцов лишь после тщательного отбора и испытания.

Приказав вывести неоседланного косячного жеребца с налитыми кровью глазами, предлагал новичку на нем проехаться. Потом шла стрельба, рубка лозы. Окончив все, испытуемый подходил к Дитюку. Дитюк спрашивал:

— За народ воюем. Знаешь?

— Знаю...

— Дисциплину соблюдать будешь?

— Буду.

— А если не будешь, застрелю как собаку! Не обидишься?

— Ни, — отвечал боец.

— Ну добре!

Дитюк протягивал руку, новичок-боец делал то же. Афанасий Андреевич начинал ломать руку бойцу, а тот ему. Если боец пересиливал, Дитюк, багровый и радостно-разъяренный, тут же стягивал с себя через голову гимнастерку, чтобы побороться с интересным человеком.

Жирба, носивший, когда у Дитюка было хорошее настроение,

звание начальника штаба, а когда плохое — начальника обоза, а то и писаря, коренастый, толстый человек с лысеющей головой и тесно прижатыми к черепу какими-то скрученными ушами, ведал всем хозяйством отряда. Когда-то у него было собственное неплохое хозяйство, но казаки во время налета разграбили и сожгли все дотла. Он пошел в отряд Дитюка со злой мыслью — отомстить казакам за свое разорение.

Дитюк с его широкой, яростной, необузданной натурой оказался для Жирбы находкой. Жирба умно и незаметно для Дитюка разжигал в нем жажду славы, смутно намекая на какое-то его необыкновенное предназначение.

Напялив очки, Жирба сидел ночами, запершись в хате, при огарке сальной свечи, и писал. Он сочинял стихи; если они удавались, Жирба с насмешливой улыбкой говорил, протягивая Дитюку тщательно переписанные вирши:

— Слепцы по дорогам воют. И чего это они тебя возносят на весь народ, не понимаю!

Дитюк, смущаясь и краснея, бормотал:

— А ну...

И Жирба читал громко, внятно, иронически кривя рот.

— Тише, — умоляюще произносил Афанасий Андреевич, оглядываясь на бойцов, не слышат ли.

Грубые льстивые слова «песен» действовали на Дитюка возбуждающей отравой.

Он снова бросался в отчаянные бои с белыми отрядами, пробирался ночью балками, чтобы под прикрытием утреннего тумана внезапно ворваться в еще спящий вражеский стан.

С походом на север Дитюк не торопился. Успокаивая себя, он говорил:

— Соберу еще силы, нагоню здесь страху белякам, а тогда и пойду.

Жирба делал все, чтобы удержать Дитюка, не дать отряду отправиться к Царицыну. Он не стеснялся даже запугивать Дитюка ревтрибуналом за самосуд над Маслюковым. И хотя Дитюк, утешаясь, говорил, что его простят за подвиги, тревога за самочинную казнь Маслюкова не угасала.

Больше всего Жирба опасался влияния на Дитюка Насти Мальцевой.

С тех пор как разведка подобрала Настю в обломках поезда, спущенного бандитами под откос, и полуживой привезла в отряд, эта маленькая женщина, оправившись от ранения, приобретала над Дитюком все большую власть.

Дитюк часто навещал Настю, когда она еще лежала, заби-

тованная, в хате. Осторожно присаживаясь на кровать в ногах больной, Дитюк, не умея высказать свое сострадание, спрашивал:

— Ну, как? — И, тут же смутившись, произносил: — Ничего, вы, бабы, мягкие, вас зашибить сразу нельзя. Как кошки живучи!

Настя, глядя на свои похудевшие темные пальцы и чуть шевеля ими, говорила проникновенным шепотом о том, какая это радость быть сейчас здоровым, приносить людям счастье. Столько неправды, обиды, злобы на земле! И вот соединились все хорошие люди, которых обижали, и хотят вернуть они всем правду, счастье, любовь друг к другу большую, чтобы больше никто никого не обижал, чтобы все жили справедливо, честно. И хоть не сразу это будет, но тех, кто сейчас об этом старается, не забудут на земле во веки вечные...

Дитюк, тяжело дыша, слушал.

Школьный учитель принес Насте томик Гоголя.

Она стала читать Дитюку вслух. Когда читала «Вечера на хуторе близ Диканьки», Дитюк, давясь от хохота, носился по хате, бил кулаками по стенам, садился на пол. Потом, еле успокоившись, спрашивал:

— Да где же они проживают? Ох ты, какой народ! Я бы их всех в отряд побрал: с ними воевать — со смеху подохнуть!

Когда прочли «Вий», Дитюк в смятении ушел к себе, ничего не сказав, но глубокой ночью явился к Насте, бледный, подавленный, и коротко попросил:

— Посидеть к тебе пришел. Лег спать, а черти так и мерещутся. Уж я и так, и эдак... Не гони, а?

Уселся у изголовья и, когда Настя закрывала глаза и начинала мерно дышать, жалобно спрашивал:

— Ты спишь, а?

И, вздрагивая, озирался.

Начали читать «Тараса Бульбу». В две ночи Дитюк осунулся и словно похудел. Глядя на Настю затуманенными глазами, он спрашивал сипло, глотая слезы:

— Настя, ты скажи: ежели меня беляки поймают и на костре жечь будут, выдержу, а?

Настя сказала:

— Не знаю, Афанасий Андреевич, у Тараса главное народ был.

— А у меня не главное? — звонко закричал Дитюк.

— У тебя — нет, — тихо произнесла Настя. — Пока ты сам для себя главный. Человек ты большой, а цели у тебя ма-

ленькне. Трусишь ты большого дела, Царицына боишься... Не по Сеньке шапка!

Дитюк, уставясь на Настю, вскочил, матерно выругался и выбежал из хаты.

Ночью он пришел к Насте пьяный. Плача, стал на колени у порога хаты и пополз к ней, протягивая руки.

Настя понимала, что этот порыв кротости, мольбы сменится животной яростью. Она лежала, не шевелясь и не говоря ни слова.

Дитюк клал тяжелую голову ей на плечо, обнимал, целовал, молил.

Настя лежала, стиснув губы, как мертвая. Дитюк сорвал с нее одеяло.

И когда он повалился на нее, ломая руки, Настя произнесла громко, отчетливо, с отвращением глядя прямо ему в глаза:

— Эх ты сволочь, Афонька! А еще смел под Тараса ладиться. Гад!

Дитюк, словно от удара по лицу, дернул головой, посмотрел испытующе в глаза Насти и, увидя в них ненависть, гадливость, медленно поднялся и, шатаясь, вышел из хаты, не закрыв за собой дверь.

На следующий день Дитюк пришел снова. Насмешливо кривя рот, он подошел к Насте и сказал:

— Ну, что было, то прошло. Только вот что. Баб других у меня в отряде нет. Я тебя не гоню, но, если хочешь оставаться, помни, не я, так другой...

После выздоровления Настя наголо остригла волосы. Голова ее оказалась маленькой, смешно торчали большие бледные уши. И только глаза, удлиненные, яркие, были по-прежнему хороши.

Увидев ее, Дитюк пробормотал раздраженно:

— Обезобразилась?! Ну и дура! Да разве я кому-нибудь позволил бы тебя пальцем троиуть?

С тех пор Дитюк стал относиться к Насте с серьезным доверием. И на совещании отряда она настояла, чтоб отряд принял наконец окончательное решение идти к Царицыну.

Узнав, что рабочие Москвы и Питера голодают, Дитюк решил послать от себя эшелон с зерном. Хлеб был собран у кулаков, подводы наготове. Не хватало только эшелона.

Тогда Дитюк задержал первый же шедший на Царицын поезд.

Угрожая пулеметами, он приказал всем выбраться из вагонов. Партизаны вымыли вагоны изнутри, засыпали туда навалку хлеб. Набив состав зерном и узнав у машиниста, что у паровоза хватит силы дотащить и пассажиров, Дитюк велел им са-

диться на крыши, пригрозив, что, если кто-нибудь посмеет открыть хоть один вагон и рассыпать груз, он этого человека все равно найдет, так как скоро сам с отрядом будет в Царицыне. Отозвав машиниста в сторону и справившись, из какого он депо, Дитюк передал ему два мешка, в которых лежали свиные копченые окорока.

— Это, — сказал Дитюк, — Гоголю.

— Да он умер давно, — равнодушно ответил измученный машинист.

Дитюк смутился, опустил голову. Потом, вздохнув, произнес:

— Ну все равно... Может, родственников его найдешь. Скажешь — от Афанасия Дитюка, за спасибо...

18

На площади перед вокзалом котельниковцы устроили отряду Дитюка торжественную встречу. Костин потребовал этого, несмотря на протесты Мальцева, знавшего о расстреле Маслюкова.

Отряд Дитюка пестрой боевой колонной выехал на вокзальную площадь и там остановился.

Костин, отделившись от шеренги почетного караула железнодорожного батальона, поднялся на ступени вокзала и, протягивая руку к партизанам, воскликнул:

— Железнодорожники приветствуют бойцов за мировую революцию — красных партизан и их командира Афанасия Андреевича Дитюка!

Польщенный Дитюк вытянулся в седле и вдруг, с яростным выражением лица повернувшись к своему оркестру, взмахнул рукой.

Вздрогнувшие музыканты растерянно и нестройно сыграли туш.

И тотчас наступила неловкая тишина.

Расталкивая почетный караул, к Дитюку направлялся старик Храмов, держа на вытянутых руках широкую алую ленту.

Остановившись перед Дитюком, он протянул ленту и прошептал, заикаясь от волнения:

— Герою, красному орлу...

Потом вдруг, глубоко вздохнув, крикнул яростно и гордо на всю площадь:

— Носи, Афанасий Андреевич! Как ты есть человек возвышенный. А мы, если ты на смерть поведешь или на что-нибудь такое, — мы готовы!

Смятенный Дитюк взял ленту и неловко стал заталкивать ее за пазуху.

В толпе раздались веселые возгласы:

— Надень, Афанасий Андреич!

А Храмов сказал серьезно, глядя в глаза Дитюку:

— Надень! Это есть знак!

Дитюк, стыдясь, стал неуклюже закидывать конец ленты через плечо.

Внезапно дверь депо распахнулась, и оттуда, подпрыгивая на рельсах, выкатился бронеавтомобиль, сделанный из старой грузовой машины. Броневик помчался прямо на людей, шарахавшихся от него во все стороны, наехал на тоненькое деревцо, подмял его и резко затормозил перед конем Дитюка, вставшим на дыбы.

Из открытого люка броневика высунулось сияющее лицо Глушкова. Старик снял фуражку и, размахивая ею, закричал:

— Ура!

Голос его одиноко прозвучал в шуме смятения.

Глушков, не смущаясь всеобщим испугом и недоумением, взобрался на подножку, закричал изо всех сил:

— В подарок красным орлам, вроде как на именины! Партизанам от железнодорожников этот броневик преподносим!

Спешившись, Дитюк шагнул к Глушкову и пожал ему руку.

Жирба ленивой походкой подошел к автомобилю, толкнул колесо ногой и, обратясь к Глушкову, равнодушно спросил:

— На керосине содержать нужно?

Глушков поспешно и радостно объяснил:

— На бензине.

— А где ж мы его насобираем? — спросил Жирба. И, оборачиваясь к партизанам, добавил: — Из зажигалок, что ли?

Глушков, нагнувшись, вытянул приделанные к крыльям оглобли и с видом уверенного превосходства заявил:

— Он и в конной тяге может... В нем — как в крепости.

Жирба, постучав ручкой револьвера о корпус машины, пренебрежительно проронил:

— Жестяной. Его любая пуля просадит.

— Нет, уж это — извините!

Взволнованный, оскорбленный Глушков тотчас взобрался на автомобиль, влез внутрь и, высунув голову, гневно крикнул:

— А ну стреляй!

И захлопнул дверцу.

Жирба растерянно огляделся и пробормотал, обращаясь к автомобилю:

— Да я же тебя ухлопаю!

В толпе рассмеялись. Тогда Жирба поднял револьвер и несколько раз выстрелил в автомобиль.

Дитюк, подскочив, рванул Жирбу за руку.

Но тут из машины раздался придушенный голос Глушкова:

— Еще стреляй, еще! Пулемет давай! Из пулемета сажайте!

Подождав некоторое время, Глушков выбрался из машины, важно подошел к Жирбе и, взяв его за плечо, подвел к броневику.

— Видишь — в бортах шерсть! Вот эти трубочки ее смачивают. А мокрую шерсть пуля не берет. Техника — понимаешь? — И, поворотясь к Дитюку, горделиво спросил: — Ну, Афанасий Андреевич, принимаешь работу?

— Ловко состряпано! — довольно усмехнулся Дитюк.

Тогда Глушков повел обоих к задней стенке машины, где синей краской было выведено:

«Сей автомобиль подарен железнодорожниками красным орлам-партизанам». А ниже значилось: «Работа мастера М. П. Глушкова».

Дитюк, шевеля губами, медленно прочел надпись. С радостной улыбкой повернувшись к железнодорожникам, он сказал:

— Спасибо, товарищи, за подарок.

И, торжественно помедлив, продолжал:

— ...а теперь дозвольте сообщить о наших боевых трудах. Беляки, что на хутор Соленый налетели и стариков и баб пороли, изрублены. Сотню того атамана, который вашего машиниста Попова колючей проволокой велел обмотать и сжечь, уничтожили. Была у нас думка из атамана тоже «ежика» сделать, но нам отсоветовали...

И с хорошей улыбкой пояснил, кивнув на ряды партизан:

— У нас в отряде была гражданка Мальцева — она и отсоветовала...

Костин, взглянув по направлению кивка Дитюка, встретился глазами с Настей. Она приветливо улыбнулась Василию и снова вперила в Дитюка внимательные глаза.

— ...что же касается материальной части, трофеев и взятого нами в плен офицерья, — продолжал Дитюк, — то вот...

На секунду задохнувшись, он обернулся к партизанам и крикнул:

— Митька!

— Га, — отозвался с тачанки огромный парень с завитым чубом, свисавшим на глаза.

Тряхнув головой, парень стал перекладывать из тачанки на руку обмундирование и торжественным утробным басом провозгласил:

— Ротмистров — два. Офицеров (отсчитывая фуражки) — восемь. Полковников (перекладывая истерзанный мундир) — один. — Потом, растянув перед глазами нечто блещущее позументами, произнес в мучительном раздумье: — А это кто? Чин позабыл, а?

Дитюк, услышав в рядах железнодорожников шепот и видя веселые улыбки, нетерпеливо передернул плечами и буркнул парню:

— Буде!

А партизанам громко скомандовал:

— Вольно!

19

С приходом отряда Дитюка скопившиеся на станции партизанские отряды получили значительное пополнение, а если бы Дитюк согласился идти к Царицыну, то с такими силами удалось бы наверняка пробиться сквозь кольцо белых.

Костин понимал всю трудность сложившейся обстановки. И решил сделать все, чтобы склонить Дитюка к единственно правильному решению — идти на Царицын.

Сережа, сын Костина, был болен. Третьи сутки мальчик лежал в бреду. Василий ночами просиживал возле больного ребенка. Еще не вполне оправившийся от раны, он после каждой бессонной ночи чувствовал жестокую боль в сердце. И теперь, сидя на табурете и стиснув между коленями ладони, Костин закрывал глаза, и его тотчас охватывало обморочное оцепенение.

В комнату вошла Нина. Дотронувшись до плеча вздрогнувшего мужа, она молча показала ему на дверь. Выйдя в кухню, ослепленный жаром августовского солнца, Костин прислонился к стене, чтобы не упасть.

Навстречу ему поднялся со скамьи Мальцев. Пощипывая себя за мочку уха и отворачивая виноватое лицо, он сказал усталым сердитым голосом:

— Настю видел.

— Ну?

— При Дитюке встретились. Пошла ты, говорю, к...

— А она?

— Дурак, сказала. А у самой — слезы. Напортил я, погорячился.

— С Настей?

— Да нет, с Дитюком. Сказал ему, что он только тогда идти трюхнулся, когда другие отряды уже в Царицын ушли...

Василий встревоженно и поспешно стал одеваться.

— Выговорился всласть... Эх ты! — бросал он, тяжело дыша. — Ведь Дитюк с нами идти к Царицыну решил. Думаешь, так просто ему степь бросить?! А тут еще всякие обиженные! Про Маслюкова ему говорил?

— Говорил, — сокрушенно подтвердил Мальцев.

— Упрекал! — с сердцем говорил Костин, торопливо шагая по направлению к станции. — После этого он нас тоже пошлет... Снова в партизанщину полезет. Эх!.. Мы ведь его, как героя, встретили, а ты...

— Молчи, сам знаю, — глухо бормотал Мальцев. — Думай, чем все поправить можно. Вина у меня большая. Он после моих слов как бешеный стал: Жирбе приказал отряд к бою готовить, решил остаться...

По путям возле перрона ходил по насыпи Михаил Петрович Глушков. Макая малярные кисти в ведра, он старательно мазал рельсы.

— Михаил Петрович! Что это вы? — спросил Костин, останавливаясь в недоумении.

— Да вот маляром заделался, — усмехнулся Глушков и, подняв на лоб очки, щуря серые насмешливые глаза, сердито объяснил:

— С поста сообщили — эшелон, что тут проходил, обратно как бешеный мчится. Остановить его надо. Пускай ребята обрадуются, что здесь свои. А как их остановишь? Нельзя же в тупик загнать? Вот мы с Гришкой и придумали: на маслице они у нас и забуксуют как миленькие...

Костин приказал на всякий случай вызвать железнодорожный батальон. Кто его знает, может, это другой эшелон. А если свои, то тогда и оркестр не помешает.

Издалека из степи послышалось тяжелое дыхание поезда.

Глушков, приложил руки ко рту, крикнул стрелочнику:

— На главный принимай, с шиком!

С грохотом, в дыму показался эшелон. Он быстро приближался к станции. С перрона уже полетели взметенные потоком воздуха листья и клочки бумаги. Захлопнулась открытая форточка окна вокзала. Люди, сгибаясь, хватались за фуражки...

И вдруг колеса мчащегося паровоза стали вращаться на месте, высекая искры. Горько запахло горящим маслом. Эшелон, словно поскользнувшись, встал, хотя колеса паровоза и продолжали вертеться.

Из замершего, но еще сотрясающегося в тщетном усилии поезда никто не показывался. Наконец в бойницы медленно высунулись стволы пулеметов.

Весь эшелон выглядел жестоко истерзанным. На вагонах кое-где зияли пробоины от снарядов, паровоз был полуразбит, труба его свернута набекрень, отовсюду, свистя, вырывался пар...

Костин приказал оркестру играть «Интернационал». С паровоза спустился на перрон командир бронепоезда. Голова его была обмотана влажным тряпьем, воспаленные глаза опухли...

Внимательно оглядев встречавших, он повернулся к вагонам и махнул рукой. Потом, обратившись к Костину, безрадостно произнес:

— Свои, что ли? Ну, здравствуй!

Костин, здороваясь, участливо спросил:

— Не пробились?

Командир, выдернув свою руку, вызывающе зло заявил:

— Ну и что ж?! Ну и не пробились!

Потом, словно смягчаясь, устало произнес:

— Встречу ловко придумали.

Глушков, протолкавшись к командиру, с достоинством сказал:

— А ты, парень, мне руку пожми. В знак спасибо. Это я вас так мягко на пути принял. С умом...

Дитюк снова отказался идти к Царицыну. Было ли это решение вызвано столкновением с Мальцевым или Жирбе опять удалось переубедить его — неизвестно. Но Дитюк пока оставался в Котельникове.

Железнодорожники готовили станцию к эвакуации. Все, что представляло собой какую-нибудь ценность для врага и не могло быть взято в эшелоны, пришлось уничтожить.

Глушков руководил погрузкой механического оборудования. Он решил устроить в вагонах мастерские, чтобы и в пути не прекращать производства снарядов и патронов.

Видя, как железнодорожники надрываются под тяжестью станков, которые они волокли к составу на катках, Михаил Петрович бросился к партизанам из отряда Дитюка, равнодушно наблюдавшим за работой железнодорожников, и попросил:

— А ну помоги, ребята!

Молодой здоровенный партизан, глядя сверху вниз на старого мастера, скучным голосом ответил:

— С таких делов грыжу наживешь... А мы для боя отдыхаем.

— Для боя! — возмутился Глушков. — А это все для чего?! Эх вы, куриная слепота!

И тут же поспешно устремнлся к вагону, откуда распоряжающийся погрузкой железнодорожннк выброснл замасленную табуретку. Подняв ее, Миханл Петровнч закричал:

— Зачем табуретку бросил? Я на ней тридцать лет сндел, на табуретке этой!

Мальцев следил за тем, как у водокачки наполнялн водой цистерны. Он проверял н пломбнровал каждую цистерну. Путь к Царицыну шел по безводной солончаковой степи, в степные колодцы бандиты бросалн трупы павших жнвотных, редкие пруды н рекн нз-за жары высохлн, а водокачки были взорваны. Запасаться водой было негде.

Дитюк чувствовал себя тревожио и неспокойио. Втайне ои созиавал, что главной причиной неожидаиного отказа идтн на Царицыи является боязнь поплатиться за самоуправный расстрел Маслюкова. Столкновенне с Мальцевым усилило его колебания. Жнрба, которого Дитюк чуть было не выгнал из отряда за то, что тот продолжал упорствовать, требуя драться только в степи и за степь, теперь, не скрывая своего торжества, держался с вызывающей лукавой скромностью несправедливо обиженного человека. Это раздражало Дитюка. Дитюк уверил себя в том, что ему нечего делать в Царнцыне, где формнровалнсь новые части Красиой Армии. Кому он нужеи там? А здесь, в степях, каждый произноснт его имя с почтительным преклонением. Здесь он знает каждую впадину, каждый бугорок и может трепать белых как хочет, даже н не обученный военному делу.

Дитюк запретил бойцам расквартнровываться в железиодорожном поселке. Отряд занял вокзальную площадь, прилегающие к ней улицы н расположнлся лагерем под открытым небом. Часовые никому не разрешалн проходить в расположение лагеря.

Дитюк беспокойно шагал по комнате. То н дело останавлнваясь у окиа, он глядел иа улицу, где партнзаны, разложив костры, готовилн ужнн.

Жнрба с прнторно покорным лицом накрывал на стол. Вытащив бутылку вина, он сказал:

— Фабрнчное, с мандатнком. — И, щелкая по бутылке пальцем, язвительно добавил: — Вот леиточку и спрыснем.

Дитюк, резко обериувшись, схватил бутылку н швырнул об пол. С перекосившимся лицом он сорвал с груди ленту и, тыча ее, смятую, в лицо отшатиувшемуся Жирбе, сдавленным шепотом произнес:

— С этим вот я на себя всю степь принял.

И снова замахнулся на Жирбу, но тот успел выскочить из хаты.

20

Перед рассветом Котельниково по прямому проводу вызвал Царицын.

Костин, Васильев и Мальцев тревожно следили за аппаратом.

Васильев, держа в руках пульсирующую бумажную полоску, читал вслух. Костин, схватив карандаш, записывал. В Царицыне положение ухудшалось с каждым часом. Иловля была взята казаками, кадетами. Музга также взята, наши части отступали на Карповку — Воропаново — Царицын. Если Царицын падет, погибнет весь Южный фронт и Поволжье.

За неприбранным столом Дитюк и Жирба, наклонившись над самодельной картой, обсуждали план будущей операции. Опираясь коленом на табуретку и тыча пальцем в склеенную из обоев карту, Дитюк бодрым голосом говорил:

— Прорвемся с флангу через Дурной хутор, пехоту в обход по балочке пустим и враз вдарим.

Жирба, подняв к нему умиленно-восхищенное лицо, с завистливым вздохом произнес:

— Гениальный вы человек, Афанасий Андреевич!

Внезапно отворилась дверь, и в хату вошел Костин с командиром бронепоезда.

Дитюк повернулся им навстречу, все еще продолжая довольно улыбаться. Добродушно подмигнув командиру бронепоезда, он сказал:

— Что, браток? Слезай — приехали! Вроде как пересадка? Ничего! Это со всяким бывает.

И, обратившись к Жирбе, велел:

— А ну достань гостям с устатку чего-нибудь интересненького.

Жирба, угрюмый, с нахмуренными бровями, хотел что-то возразить, но Дитюк, опершись с размаху ладонью о стол, грозно процедил:

— А ну?

И Жирба вышел, зло оттолкнув ногой попавшуюся на пути табуретку.

Показывая на карту, Дитюк гостеприимно объяснил:

— Отрядишко белых, как в мешок, ловим.

Водя по карте пальцем, он самодовольно пояснял план бу-

дущей операции. Костин внимательно слушал. Потом, усевшись за стол и придвинув к себе карту, сказал:

— Не все в твою карту вписано, Афанасий Андреевич! Вот смотри, что у вас получается.

Он вынул настоящую карту и расстелил ее поверх дитюковской, самодельной.

— Белые идут сейчас на Царицын. Там они встретятся с уральскими казаками. Если Царицын будет отрезан, весь юг останется без снарядов. Если Царицын падет, белые сомкнутся, и тогда от всей степи только могилы останутся... Нужно идти к Царицыну.

Дитюк, помедлив, решительно произнес:

— Не... Не пойду. Я за степь отвечаю. Понял?

— За степь? Так... Не за революцию, значит, а за степь?

Костин вынул из кармана запись разговора с Царицыном и, помедлив, протянул Дитюку:

— На, прочти, хоть, может, тебе это и не по адресу.

Дитюк, поколебавшись, взял бумагу и, отойдя к окну, стал с напряженным лицом читать шепотом, по складам. Окончив, он подошел к Костину и тихо спросил:

— Что же... это и вправду так?

— Утром с Царицыном по прямому проводу говорили.

Дитюк с потускневшим лицом сказал сокрушенно:

— Что же вы меня не позвали?

— Да ведь все равно по азбуке Морзе ты бы не понял.

— Это кто бы не понял?! — закричал Дитюк. — Я не понял?

И вдруг, понурившись, замолчал.

— Ну, так как же, Афанасий Андреич? — спросил Костин после долгого молчания.

Дитюк отвернулся. Потом неуверенно сказал:

— Ну, а как на него, на Царицын, идти?

И, показав на командира бронепоезда, добавил:

— Вот... шел же, да на карачках вернулся.

Лицо Дитюка выражало мучительное сомнение.

Костин, понимая, что творилось с Дитюком, негромко сказал:

— Он один шел, потому и не пробился. Нужно всем вместе идти. Тогда мы сила.

Командир бронепоезда, сидя за столом и сжимая изо всех сил терзаемую болью контуженную голову, плохо соображал, что тут происходит. Забыв все слова, которые ему говорил Костин, когда они шли сюда, он понял только одно: Дитюк отка-

зывается идти на Царицын потому, что сам он не смог пробиться туда на бронепоезде.

Гиев охватил его. Вскочив, он стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнула посуда, и, бледный, с нехорошо блестящими глазами, закричал:

— Мне, подлюге, за то, что я здесь застрял, расстрел полагается по всем правилам революционных законов. Мне своей жизни не жалко, но я и тебя... Знаешь, что с тобой нужно сделать за отказ выполнения революционного приказа?

Дитюк, горькие и сладостные размышления которого были прерваны так внезапно и грубо, рванулся к командиру и заорал, задыхаясь:

— Ты меня политикой не пугай! Я таким, как ты, душу выдергивал.

И, пинком раскрыв дверь, прохрипел:

— А ну, сыпь отсюда, пассажир первого класса!

Командир, возясь с кобурой, цедил сквозь губы:

— С шахтером так?! Ну нет!

Дитюк, отскочив к стене, выхлестнул из ножен клинок.

Костин, понимая, что теперь все пропало, гневно сказал командиру:

— Ты что? Кто тебе дал право так разговаривать с командиром партизанского отряда? Приказываю уйти.

Командир опомнился, болезненно усмехнулся и, резко повернувшись, вышел.

Разговор по душам был сорван.

На площади, когда Костин пробирался по партизанскому лагерю, его остановил старик Храмов, окруженный сыновьями.

— Вася, — сказал он хмуро. — Объясни людям, чего кругом происходит. Вы в свою сторону гнете, мы в свою — так, что ли, получается?

Партизаны, подходя кучками, окружали Костина молчаливой толпой.

Костин закусил губу, подумал и вдруг, пристально глядя старику прямо в глаза, быстро спросил:

— Грамотный?

— Есть маленько.

Протягивая ему бумагу, Костин решительно сказал:

— На читай. Всем читай.

Старик бережно, в обе руки принял бумагу, потом, взобравшись на телегу, откашлялся и громко, торжественно прочел первые строки записи утреннего разговора с Царицыном.

Тесно сбившаяся толпа партизан напряженно слушала.

Костин с надеждой вглядывался в суровые лица людей.

Кончив читать, старик Храмов молчаливо оглядел партизан и, помедлив, задумчиво повторил однажды слышанные слова:

— «Торопитесь, не запаздывайте, ибо запоздать — значит все проиграть...»

И, словно прислушиваясь к отзвуку своего голоса в партизанских рядах, спросил горько и тихо:

— А мы что ответим?

Храмов вдруг выпрямился, вскинул чубатую голову и крикнул, показывая на сыновей:

— Во — кровь моя, что хошь с ними сделаю. Не дадим в обиду справедливое дело. Верно, сыны?

— Верно! — откликнулись те единодушно.

— Так в чем же дело, спрашиваю? Наша земля, наша степь. Но беляки вышибут ее из-под нас, если каждый только за свои наделы цапаться будет. Миром только, обществом можем власть над землей удержать. Народом всей земли нашей бесконечной нужно разом наступать на гада!

К телеге, где стоял старик Храмов, подошел вразвалку Жирба.

— Агитируешь? — спросил он.

— Агитирую, — ответил старик.

— А ну слазь!

Внезапно вся притихшая толпа зашумела. Люди вскакивали на телеги и, бросая на землю шапки, стали призывать каждый к своей правде.

К вечеру часть партизан, покинув общий лагерь, расположилась отдельно на товарном дворе. Старик Храмов, явившись в ревком, заявил о готовности этих партизан идти на Царицын.

Это была последняя ночь на станции. Железнодорожники приготовили к походу четырнадцать эшелонов. Женщины и дети заняли два из них. Комендантам эшелонов предстояла тяжелая задача — уговорить женщин не забивать вагоны ненужным домашним скарбом.

С окрестных станиц стекались беженцы. Они заполняли поселок. Мычали коровы, блеяли овцы. Молодые и старики преследовали членов ревкома, требуя выдать им оружие.

В эту ночь умер ребенок Костина. Нина, безучастная, с тупым, равнодушным лицом, сидела на крыльце дома. Соседки, перешагивая через нее, сами увязывали в узлы одежду, необходимые вещи и уносили к эшелону.

Костин, подойдя к Нине, сказал:

— Ты посиди, я скоро приду.

Она кивнула головой и, точно окаменевшая, снова уставилась в одну точку.

Костин пошел к Дитюку. По дороге на него то и дело наталкивались люди с тюками, окружали женщины, спрашивали, жаловались.

Он улыбался, отвечал, советовал. И, слыша свой голос, чувствуя на своем лице улыбку, удивлялся, как это он может говорить и двигаться, когда в душе все пусто, мертво, и то, что творится вокруг, происходит будто помимо него.

Подойдя к дому, где остановился Дитюк, Костин вытер лицо ладонью, словно стараясь смахнуть какую-то налипшую паутину, и толкнул дверь.

Дитюк, в нижней рубахе, ходил по комнате, сумрачной от плотного табачного дыма. Время от времени он останавливался возле стола, склонялся к карте, оставленной прошлый раз Костиным, и, что-то обдумывая водил по ней пальцем. Потом снова начинал метаться из угла в угол.

Увидев Костина, Дитюк поспешно свернул карту и, обернув к вошедшему угрюмое, тревожное лицо, молча ждал.

— Не спишь? — устало и равнодушно спросил Костин.

— Сплю... Аж пузыри пускаю, — запальчиво ответил Дитюк и дрожащими пальцами стал сворачивать цигарку, искоса наблюдая за Костиным.

— Поговорить хочу.

Дитюк затянулся цигаркой и, выпуская дым, злорадно спросил:

— Чего там говорить? Может, споем... Оно веселее!

И тут же добавил глухо:

— Говорили, патронов не дадите. Пугаете?

Костин сел к столу и, задумчиво облокотясь, ответил:

— Не в патронах дело. Патронов мы тебе дадим.

Дитюк вышел на середину комнаты и насмешливо поклонился:

— Спасибо! А то я уже думал отряд распускать... Извиииите, мол, ребята, Костин патронов не дает, пулять нечем...

Костин придвинул к себе графин, наполнил стакан, отхлебнул и закашлялся: в графине оказалась водка.

— Не по коню пойло! — торжествующе усмехнулся Дитюк.

Костин растерянно ответил:

— Нет, я пьющий.

И, вдруг поморщившись, сжав ладонями голову, тоскливо прошептал:

— Болит, сил нет, так болит...

— Это ты к чему? — встревожившись, спросил вполголоса Дитюк.

Костин, очнувшись, выпрямился.

— Когда выступать думаешь?

— Утром.

Костин помолчал, потом, пристально глядя в глаза Дитюка блестящими темными глазами, произнес:

— Жизнь!.. Ты понимаешь, жизнь!.. Ее можно отдать только за самое дорогое. Вот ты, Дитюк, за что людей на смерть водишь?

Дитюк задумался, потом внезапно гневно закричал, срываясь с места:

— Да ты что? Политику пришел проверять? Я семь раз умирал. Что ты меня смертью пугаешь?

— У меня сын сейчас, понимаешь, сын умер.

Дитюк растерялся. Тихо подошел к столу, налил водки себе и Костину.

— А ты пей.

Костин встал из-за стола. Глухим, но уже крепнущим голосом сказал:

— Вот ты, Дитюк, поднял за собой людей. А знаешь, почему они за тобой пошли? За жизнь радостную драться пошли, чтоб после человек с новой душой жить начал — просторно, счастливо, равноправно. Ведь потом степь в сады превратят, хаты — в дома. А о тебе песни сложат. Родную твою станицу твоим именем звать будут. Ты откуда?

Застегивая ворот, Дитюк застенчиво ответил:

— Из Рубашкинской я.

Шагнув к Дитюку, Костин воскликнул взволнованно и торжественно:

— Так в чем же дело? Афанасий Андреевич!

Вошел Жирба. Бросив на стол плеть и оглядев Костина, угрюмо спросил:

— Уговариваешь?

Лицо его сразу набрякло, он заорал:

— Знаешь что? А ну, катись отсюда! Ведь было сказано — не пойдем. Нам с вами, как кошке с собакой, вместе не быть.

Присев к столу, Жирба злобно придвинул к себе графин и закуску.

Костин пристально смотрел на Дитюка. Дитюк, отворачиваясь к окну, нерешительно пробормотал:

— Прикажу, так пойдем.

— А ты не приказывай, — живо отозвался Жирба.

И, бросив вилку, снова закричал с отчаянием и угрозой:

— А хоть и приказывай — не пойдем!

Дитюк шагнул к Жирбе, вырвал у него из рук стакан, швырнул на пол и сквозь зубы прошипел:

— Пойдешь! А сейчас пиши!

И, наклонившись к Жнрбе, Дитюк стал диктовать:

— «Приказываю свободным красным орлам-партизанам незамедлительно выступать. Партизаны выполнят свой долг перед мировой революцией».

Вырвав из рук Жирбы караидаш, он поставил иа бумаге какую-то закорючку, повернулся к Костину сияющим лицом, сконфуженно сказал:

— Такую подпись ии одна стерва не подделает!

21

Костин вернулся домой. Нина сидела спнной к двери, склонившнсь, зашивала его куртку. Железнодорожный фонарь стоял на столе, тускло освещая ее худые, нзможденные рукн.

Костин присел рядом с женой. Осторожно взяв из ее рук куртку, спросил:

— Ты что же это — в темноте?

— Чайник согреть? — встрепенулась Ннна. — Он еще теплый, под шапкой.

Она хотела встать, но Василий удержал:

— Ты ложись. Завтра выступаем.

— А Дитюк?

— И он.

Нина опустила плечи и, отвернувшнсь, тихо заплакала.

— Не нужно.

Всхлипывая, Нииа отняла руки от лица и, подбнрая выпавшие пряди, произиесла заикающимся шепотом:

— Я рада, за тебя рада. Это я от радости, что Афаиасий Аидреевич тоже идет.

Встав, она подошла к кровати н, стараясь улыбаться, говорила:

— Ты тоже ложись. Мы вместе.

Подойдя к мужу, она обняла его н, прильнув всем телом, прошептала:

— Ведь теперь, кроме тебя, иет у меня больше ннкого на свете. Васечка, будь ласковым со мной, ну такнм, как тогда, — помнишь?

И, тихонько смеясь, оиа прижалась к его лицу мокрой вздрагивающей щекой.

Костнн обнял жену и вдруг нагнулся, чувствуя, что глаза стали влажными от слез. Нина гладила его по лицу, шептала:

— Хорошо как!.. Вот теперь мы с тобой такие, что нам ничего не страшно!

От накалившегося фонаря пахло горячей жестью. На станции кричали паровозы, сердито, пронзительно...

Всю ночь Макс Максимович Зильбер бродил по поселку. В окнах домов горели огни. Железнодорожники укладывали имущество. Топились печи. Женщины пекли на дорогу коржи, пироги, хлеб. Ребятишки, возбужденные бессонной ночью, бегали по улицам.

Зильбера удивляла эта кропотливая деловитость людей, покидавших свои жилища, быть может, навсегда. Он хотел видеть горестное отчаяние. Что заставляет их уходить, бросать все? Страх? Нет. Белой армии так же, как и красной, нужен железнодорожный транспорт, и все они, разумеется, и при новой власти могли бы работать так же, как и при старой. Ну, допустим, железнодорожникам легче уйти с родного насиженного места. А крестьяне, скопищем, с семьями уходящие к Царицыну? Что может быть у них общего с этим осажденным городом, находящимся накануне падения? Какая сила влечет их туда?

Но степь шла к Царицыну, это было ясно. А степь без людей — пустыня.

«Проклятая страна! Она воюет не армией, а народом. Не хватает, чтобы они подожгли здесь всё».

И словно в подтверждение его мыслей, раздался взрыв, и видневшаяся вдалеке кирпичная башня водокачки, похожая на огромную шахматную «ладью», поколебавшись, рухнула на землю.

Побродив по поселку, Зильбер направился к дому Маслюкова.

Дверь открыла Ольга Викторовна. Положив руки ему на плечи, она воскликнула:

— Макс, я так измучилась! Мы должны бежать, куда угодно бежать. Только скорее!

Зильбер вежливо выжидал. Потом, не раздеваясь, присел в передней на сундук и, закуривая, спросил:

— Так что вы предлагаете?

Ольга Викторовна, словно не слыша его вопроса, с гордостью сказала:

— Сюда приходил Мальцев с рабочими. Они предлагали помочь мне увязать вещи и отвезти их на станцию. Я отказалась. Я сказала, чтобы меня оставили в покое.

— Напрасно, — серьезно сказал Зильбер.

Ольга Викторовна отшатнулась к стене.

Она хотела закричать, разрыдаться. Но в темном пыльном зеркале увидела себя. «Как княжна Тараканова», — подумала Ольга Викторовна и произнесла покорно и кротко:

— Вы хотите покинуть меня. Да?

Зильбер встал, нашел в темноте пепельницу и, откашлявшись, сказал негромко:

— Соберите в один чемодан самое необходимое и ценное. Через час я заеду за вами.

Открыв ключом дверь своего флигеля и не зажигая света, Зильбер разделся. Потом ощупью прошел к окнам, задернул шторы, зажег маленькую керосиновую лампу и, присев к столу, стал писать. Письмо спрятал в карман, открыл печку, вытащил оттуда сложенные дрова. За дровами оказался небольшой кожаный чемодан.

Он снова оделся, постоял задумчиво, оглядел комнату, присел на стул, снял фуражку и положил на колени руки. Так он пробыл с минуту, глядя себе в ноги; очевидно, верил в примету — посидеть перед долгим путем. Наконец поднялся, вздохнул, взял в руки чемоданчик и направился к двери.

— А попрощаться-то забыли? — внезапно раздался насмешливый голос из глубины комнаты.

Зильбер резко повернулся и сунул руку в карман.

— Стой! Пистолетик вы на пол бросьте. Так. Очень хорошо. А теперь — сюда!

Из-за умывальника, занавешенного ситцевым пологом, вышел Мальцев и револьвером показал Зильберу на стул.

Зильбер сел; придвинув ногой чемодан к Мальцеву, он сказал беззаботно:

— Моментом пользуешься. Вот здесь всё, больше ничего нет.

Мальцев усмехнулся:

— За чемоданчик спасибо. И письмишко давайте тоже. Вы не беспокойтесь, за ним теперь никто не придет — гарантирую.

Зильбер со вздохом отдал письмо и, откинувшись на спинку стула, предупредил:

— Я иностранный подданный. Заметьте!..

— Все может быть. Гришка! — крикнул Мальцев. — Поговори пока с Макс Максимовичем, а я почитаю.

Гришка, с красными пятнами по всему лицу, с выступившим на верхней губе потом, уселся напротив Зильбера, держа в вытянутой руке «бульдог».

Зильбер, ерзая на стуле, попросил:

— Вы осторожнее, а то выстрелит — убить может.

Гришка моргнул, но не переменил напряженной позы. Пряча письма, Мальцев подошел к Зильберу, сказал глухо:

— Предупредить успели. С Гнилорыбовым тоже ваша работа?

Свертывая цигарку, продолжал:

— Не понимаю. Почтенный коммерсант, а у шпаны мелким шпионом заделались.

Зильбер дернул подбородком:

— Вы должны доказать сначала, а потом оскорблять.

— Ну, чего там доказывать, — добродушно огрызнулся Мальцев. — Сами знаете, что попались.

И с искренним любопытством спросил:

— Вот в письме вы генерала Алексеева последними словами обзываете. А за что? Не сторговались или как?

Зильбер поднял руку и, рассматривая на свет свою ладонь, толстую, с короткими сильными пальцами, брезгливо сказал:

— Алексеев или другой, мне ни к чему все эти диктаторы на час. Я решил бросить все к черту и уехать.

И с откровенной скорбью добавил:

— Я хочу отдохнуть. Пожить в собственное удовольствие. Может быть, вы меня отпустите?

Мальцев вздохнул.

— Расстреляете?

— Все может быть. Пойдемте.

— Одну минутку, — слабым голосом попросил Зильбер.

Лицо его покрылось холодной испариной, он тяжело дышал, приоткрывая при каждом вздохе рот.

Гришке было мучительно неприятно смотреть на Зильбера. Брезгливая жалость заставила его отвернуться.

Вдруг Зильбер, скрипнув зубами, стремительно рванулся и изо всех сил ударил Гришку по лицу, потом бросился почти на четвереньках в ноги Мальцеву и, сбивая его, выбежал на улицу.

Мальцев выскочил вслед за ним.

Гришка, пошатываясь и держась левой рукой за голову, оперся спиной о забор, чтобы не упасть, поднял правую руку и выстрелил. Потом сел па тротуар и заплакал.

Наутро котельниковцы выступили в поход к Царицыну.

Четырнадцать тяжело нагруженных поездов следовали друг за другом с небольшими интервалами. Рядом с эшелонами, невыносимо пыля, тащились арбы, телеги, тачанки с беженцами. Истошно ревели коровы, блеяли овцы.

В степи, охраняя фланги этого великого движущегося табора, следовали партизанские части. Впереди и сзади поездной колонны находились два бронепоезда.

Еще на рассвете Мальцев, теперь начальнпк особого отдела штаба, рассказал Костину о бегстве Зильбера и о том, что тот успел сообщить командованию белых об отходе котельниковской группы на Царицын. Было ясно, что белые или попытаются окончательно отрезать котельниковцев от Царицына, или, опережая их, придут туда первыми, чтоб помочь мамонтовским частям.

Спустя несколько часов, по сведениям разведки, выяснилось, что какие-то части белых уже движутся по направлению к Котельникову.

Мальцев предложил использовать отряд Дитюка, чтобы внезапным налетом уничтожить иаступающие части, — опасность иметь противника на хвосте была слишком велика.

Но Костин категорически отвергнул эту мысль. Партизан ни в коем случае нельзя было отвлекать от основной задачи. Малейшее промедление да еще бой с белыми здесь может поколебать их уверенность в правильности отхода на Царицын.

Принять натиск белых нужно самим: отобрать добровольцев из железнодорожного батальона и этим отрядом прикрыть отход. Было бы очень хорошо использовать фугасы Глушкова.

Мальцев с частью железнодорожного батальона отправился в окопы. Для них был оставлен специальный паровоз с шестью вагонами. Среди добровольцев находился и Глушков. Он заявил, что лично желает проверить свою работу.

Жена Глушкова, Анна Филипповна, седенькая маленькая старушка, закутанная в большую, как одеяло, шаль, ехала в вагоне одного из эшелонов и вовсю бранила строптивого старика. Плакать Михаил Петрович запретил ей строго-настрого. И если она иногда вытирала глаза концом косынки, то, как говорила, только потому, что их ест пыль. Станции уже не было видно, исчезли развалины водокачки, и вокруг стлалась только одна степь — желтая, сухая и жесткая. День стоял жаркий. Пустынное небо. Жгло солнце.

Не раз Анна Филипповна выходила из вагона: стоя на подножке, старалась увидеть долгожданный дым догоняющего эшелоны поезда. Настя Мальцева, утешая старушку, тоже глядела назад в степь, и по ее тревожному лицу трудно было понять, за кого она волнуется больше: за мужа или за Глушкова. Но когда подошел Костин, Настя с напряженной обидой в голосе сказала:

— Старика беречь нужно, а вы куда надо и куда не надо его суете.

Костин нахмурился, потом, быстро взглянув на Настю, спросил:

— А Никита тебе не человек?

И застенчиво, словно стараясь объяснить что-то, добавил глухо:

— Ты бы к Нине пошла. Поговори — тяжело ей!

Внезапно — будто где-то далеко проходила гроза — раздался мягкий придушенный гул. За ним другой, третий...

Костин замер с напряженным лицом.

На разъяренном коне к Костину подскакал Дитюк. Осаживая лошадь, он сердито спросил:

— Стреляют?

Костин обернулся и вдруг просто и ясно сказал:

— Нет, Афанасий Андреевич, там наши ребята остались, склады взрывают.

Дитюк недоверчиво покачал головой. Увидев Настю, он ухмыльнулся:

— А ты что же глаз не кажешь? — И, подмигивая, ласково сказал: — Я на твоего мужика не сержусь. Я же люблю горячих. Сам горячий. Ты зайди.

Потом, обернувшись к Костину и приосаниваясь, заявил самодовольно:

— Когда в отряде у меня была, в партию звала, Гоголя вашего читала.

И, снова наклоняясь к Насте, попросил:

— Ты заходи, не бойся. Я теперь, как Тарас, зарок дал: до полной победы — ни вина, ни баб.

Лицо его вдруг погрустнело, и он, не обращаясь ни к кому, произнес тихо:

— Как он на костре, а? Ну, ничего, меня живого не возьмешь! — крикнул он звеняще и, ударив коня, умчался в степь к отряду, оставив после себя ощущение удали, бесстрашия и какой-то могучей, но еще не собранной силы.

Анна Филипповна, проводив глазами всадника, прошептала мечтательно:

— Красивый мужчина! Михаил Петрович, молодым, тоже был очень неожиданным.

И, склонив свое морщинистое лицо с добрыми выцветшими глазами, сладко, по-старушечьи, расплакалась.

К вечеру состав с остававшимися на станции железнодорожниками нагнал эшелоны.

Мальцев доложил Костину, что противник уничтожен, но среди железнодорожников четверо убиты и шестеро тяжело ранены.

Михаил Петрович, возбужденный, усталый, преследуемый по пятам Анной Филипповной, ходил от одной группы людей к

другой и в сотый раз рассказывал, как индуктор отказал раз, отказал другой, а белые уже по минному полю скачут. И как он, заплакав от злости, хотел было помереть, ио вовремя очухался, разобрал иидуктор, нашел, где был порван контакт, и, соединив снова, крутнул ручку.

— Ух-х, что было тогда! — Михаил Петрович с испуганным выражением оглядывал слушателей и, махнув рукой, удовлетворенно произносил: — Вот что значит добросовестная работа! А индуктора я по гроб не забуду. Это все Гришка вниоват: я ему говорил — проверь, а он в сыщики записался — шпионов ловить. В мамашу сынок, с фантазией, — с шутливой суровостью обращался он к Анне Филипповне.

Дитюк, переполненный чувством бодрой, задорной радости, ощущая себя бесконечно добрым и счастливым, поскакал, горяча коня, на курган, с которого Жирба угрюмо наблюдал идущие мимо эшелоны и отряды.

— Идут! — крикнул Дитюк, кивая головой. — Силища!

— Идут! — язвительио согласился Жирба.

Потом задумчиво, словно обращаясь к самому себе, с тоской спросил:

— Почему люди пошли?.. Почему? Ведь нет у них в этом пути личного интереса...

И, махнув горестно рукой, прошептал:

— Мечта одна!

Дитюк, вставая на стременах, чтобы лучше видеть, уверенио сказал:

— Мечта!.. Ну так что ж, что мечта, если она правда!

Жирба, ие оглядываясь, спускался вииз, передние ногн его коня разъезжались на крутом склоне, и Жирба, завалившись назад, натягивал повод.

Дитюк следил за иим с потемневшим лицом.

Подъехав к партизаиам и став во главе колоны, Жирба вдруг затянул песию, тоскливую, с хватающим за сердце уиылым припевом.

Колонна партизаи подхватила эту песию. И с каждым иовым куплетом к общему хору присоедииялись новые голоса, и с каждым новым куплетом лица людей становились все более грустными. Всех невольно тяиуло иазад, туда, к родным местам, от которых все больше отдалялн их долгие трудные версты похода...

Дитюк беспокойно прислушивался. Его короткая сильиая шея побагровела. Стегнув коня, он погнал его почти галопом вкось по склону. Только сильная рука всадника могла удержать коня от страшного падения через голову с этой крутизны.

Подскакав к колонне, бросив яростный взгляд на Жирбу и тесня его конем, Дитюк гневно заорал:

— Какую песню поете? Кто запел?

Вытягиваясь на стременах и оборачивая к бойцам свое посветлевшее от сдержанной улыбки лицо, он запел сам сильным хрипловатым голосом дерзкую, боевую песню про казака Васюту. Когда же весь отряд, невольно переходя на рысь, подхватил бодрый знакомый напев, Дитюк толкнул Жирбу стременем и проговорил с хвастливым торжеством:

— Во какая должна быть песня!

А потом сурово добавил:

— А ты, Кузьма, агитации своей не разводи. В следующий раз башку оторву.

И, тотчас успокоившись, откинулся на седле, весело подпевая бойцам. Дитюк никогда не пел один, но в строю всегда пел со всеми.

22

Продвижение эшелонов вперед затруднялось частыми повреждениями железной дороги. Иногда приходилось десятки верст рельсового пути прокладывать заново.

Позади эшелонов путь разрушали сами железнодорожники, опасаясь, чтоб белые не использовали его для своих бронепоездов.

Вся тяжесть ремонта полотна ложилась на железнодорожный батальон. Работали днем под нещадным зноем голого степного солнца. Работали ночью. С отработавшей сменой Костин проводил беседы.

Помощник машиниста Быков задумчиво говорил Костину:

— Ты нам про все вали. И арифметику, и, скажем, географию или исторические случаи из жизни народов. Про все рассказывай, чтоб контрик какой-нибудь на митинге, допустим, нас научным примерчиком не мог унизить, чтоб мы его этим примерчиком сами унизить могли.

Быков, используя свободное время, взялся обучить на обходчика пути сторожа Махова.

— Сигналы, — говорил он, — это главное.

Надув щеки, сделав зверское лицо, гудел. Спрашивал:

— Это что такое будет?

Потом, жалобно сморщившись, блеял тенором и тут же отвечал:

— А это стрелочник играет на рожке тебе в ответ: «Сыпь помалу». Сигналы бывают разные: звуковые, цветом, а также телесные: руками и всякими позами.

Махов после «уроков» играл на гитаре и пел чувствительные романсы: «Гайда тройка», «Ты сидишь у камина».

Быков слушал, потупясь, и после бормотал:

— Очень трогательно у тебя насчет женщин получается. Есть же такие слова — в самую душу входят!

И как-то, помолчав, рассказал:

— Крушение на сто семьдесят четвертой версте помнишь? Ошпарило меня тогда; думал — одна говядина останется. Провалялся два месяца в больнице. Прихожу домой — слышу, кто-то в горнице плачет, стонет: «Васенька, солнышко!» Открыл дверь, гляжу — жена лицом об мою куртку трется и надрывается. Увидела, крикнула, прижалась, трясется. Обнял ее, стало мне так хорошо на душе, счастливо. И говорю ей: «Чего же ты, кобыла, плачешь?» Так и сказал. Ведь вот не нашел ничего другого, а?.. Хороших слов — раз, два и обчелся! Их запомнить надо!

Настя, примостившаяся рядом с Быковым, слушала рассказ внимательно, с задумчивым лицом. Потом обернулась к Мальцеву:

— Слыхал, Никита?

Мальцев отвернулся.

Где-то далеко звякали молотки о костыли; впереди у остановившихся составов чинили путь.

— Вот, — сказала Настя со светящимся кроткой улыбкой лицом, — не умеем мы по-настоящему любить друг друга, ласковости, нежности стыдимся. А как хочется любить, сильно любить, так, словно и нет тебя, и есть ты...

Мальцев нехорошо усмехнулся, кивнул в ту сторону, откуда слышались партизанские песни, спросил:

— Тот, видио, не конфузлив был?..

— Глупый, — грустно сказала Настя. — Сколько на тебя сил хорошие люди потратили, пока ты вот таким стал. Помню я, как ты нос воротил...

— Ну, пошла, поехала, — обиделся Мальцев.

И, встав, пошел в степь, откуда слышались удары молотков о железо, провожаемый нежным и тревожным взглядом Насти.

Эшелоны шли. Колонна их растянулась больше чем на семь километров. Одних подвод насчитывалась тысяча.

Белые, преследовавшие котельниковцев, стремясь отрезать их от Царицына, располагали тоже немалыми силами.

Под станцией Гремячая противник, бросив на котельниковцев кавалерийские части, повел наступление с обоих флангов. Бой длился шесть часов. Противник был отброшен. Колонна продолжала продвигаться на север.

Осеннее солнце пылало. Испепеленная земля дымнла горячей черной пылью. На дне водоемов оставалась лишь грязная, густая, как деготь, тина. Воды не было. Люди изнемогали от жажды.

Вагоны были предоставлены женщинам, детям и раиеиым. Железиодорожники шли по насыпи рядом с медлеиио двигающимися эшелонами, держась руками за выступы вагонов.

Лица людей былн обожжены, головы обмотаны тряпкамн. Партизаны из жалостн к обесснленным лошадям вели их в поводу.

— Коиь у меня застеичивый, папаша, — обращая к отцу темное лицо, говорил Михаил Храмов, — молчит, пить не просит, а знаю — нз последних сил идет. — И, оглянувшись на железнодорожннков, сказал тихо: — Железные, черти, им хоть бы что!

— Они у себя там ко всяким мучениям привыкли, — наставительно сказал старик и, приподнявшись в седле, сипло закричал: — А ну, сыны, по порядку номеров рассчитайся. Все тута? Ну ничего, держись, ребята!

Салищев увндел, как Грншка, слабея и показывая на горло, хотел лечь на землю. Подхватив его сильной рукой, Салищев сердито прошептал:

— Не рояий зваиие! Партизаиы смотрят.

Гришка с усилием поднял голову и, напрягая ослабевший голос, задорно спросил Храмовых:

— Присохло, братцы?

— Есть маленько! — важно за всех ответил старик. — Пива хочут. — И хрипло захохотал.

Обиаружив, что машииист головного эшелоиа израсходовал на перегоне много воды, Костии снял его с паровоза, встал к регулятору сам. В будку влез обессиленный Гришка. Он сел на железный пол н пожаловался:

— Пить охота.

— А ты об этом не думай, — посоветовал Костии.

— Вот, товарищ Костии, — сказал Гришка медленно и задумчиво, — говорят, сои такой бывает — летаргический. Засиет человек и спит... Хоть год спать может. Вот бы мне так! Заснул... Проснулся, глаза открыл — наша взяла... Кругом шестнадцать!

Привстав, он глядел на Костииа восторжеииыми, изумлеиными глазами.

— На дармовщинку в социализм попасть хочешь? Так, что ли?

Гришка смутился. Его худое облупленное лицо оскорбленно покраснело.

— Да что вы, товарищ Костин? Это я к тому, чтобы о воде не думать.

Костин кивнул и, открыв топку, заглянул внутрь. Внезапно откинувшись, он глухо закричал Гришке:

— Колосник выпал! Отгребай уголь к задней стенке, живо!

А сам, вытащив из ящика молоток и новый колосник, стал напяливать на себя грязный полушубок, оставленный машинистом, и обвязывать голову и руки тряпками.

— Доску! — приказал он Гришке.

Когда Гришка приволок доску, Костин распахнул дверцу, сунул доску внутрь и, нагнувшись, полез в топку.

Гришка в ужасе, чтоб не закричать, закрыл себе рот ладонью.

К паровозу подъехал Дитюк. Вспрыгнув на ходу в будку, он отшатнулся при виде вылезшего ему навстречу из топки Костина в дымящемся полушубке. Срывая с руки обожженные тряпки, Костин объяснил:

— Ремонтик небольшой на ходу делал.

Дитюк, медленно приходя в себя, растерянно сказал:

— Люди больше терпеть не могут.

Было видно, что эти слова он приготовил заранее.

Затаптывая ногами смердящее тлеющее тряпье, Костин озабоченно спросил:

— А лошади как?

— Ты это что? — разозлился Дитюк.

— Ничего, — пожал плечами Костин. — Люди понимают, подтянутся. А вот кони?

— Падают, — пробормотал Дитюк. Оглядываясь на бегущего рядом с паровозом своего коня, он тоскливо хлюпнул носом и пожаловался: — Коня жалко.

Тяжело кашляя, хватаясь за грудь грязной от копоти рукой, Костин сквозь удушье просипел в лицо Дитюка:

— Плюнуть нечем. Полдня во рту капли не было.

— Брось врать! — вознегодовал Дитюк. — На воде сидишь! — И грубо передразнил: — «Капли не было!» Тоже!

Костин, шагнув к Дитюку и показывая рукой на тендер, сказал с силой:

— Каждого, кто посмеет пить эту воду, расстреляем!

Дитюк, подавленный этим порывом, растерянно согласился:

— Это правильно. Но кони ведь тоже страдают!

Воду Костин выдавал по кружке на человека и по полведра на лошадь. На привалах к цистернам тянулись две очереди — конская и человеческая. Лошадей поили тут же, на глазах у всех, чтобы никто не обидел своего боевого друга — коня.

Костин послал вперед за водой специальный паровоз с двумя цистернами.

Но на этот состав напал разъезд белых.

Настигнутый на подъеме замедливший ход поезд был обстрелян пулеметным огнем. Из пробитых пулями цистерн на сухую землю веером хлестала вода. Железнодорожники израсходовали все патроны и отбились только благодаря машинисту. В последнюю минуту он привинтил шланг к пожарному отростку инжектора и начал поливать казаков струей кипятка. С пробитыми цистернами, без воды, вернулся состав к эшелонам.

Обычно бо́льшая часть переходов совершалась ночью. Но люди так обессилели и изнемогли, что Костин, после неудачной попытки раздобыть воду, приказал сделать привал.

Никто не разводил костров, ели всухомятку и тут же засыпали. На передовые охранные посты были выставлены бойцы железнодорожного батальона. Густая безветренная ночь плыла над уснувшим лагерем. Вдалеке слышалось железное звяканье и двигались огни фонарей — это бессонные рабочие продолжали чинить поврежденный путь.

Под телегой, завешенной холстиной, Жирба, стоя на земле на коленях, приглушенно и яростно убеждал худого с кривым носом беженца:

— У меня у самого сердце кровью обливается. Но ты пойми, друг! Свою родню бросили, а за чужих будем в степи помирать. Спасем от беляков хаты, хозяйство — вернемся. Нам же самим потом Афанасий Андреич спасибо скажет. А эти без воды не сдохнут. У них вода есть в паровозах... Ну, как, друг, согласен, а?

Беженец страдальчески ежился и боязливо тянул:

— Опасно все-таки... — посоветовал: — Ты холостого какого-нибудь подбей. У меня детей малых двое да девки... Куда они денутся в случае чего?

— Жеребца моего заводного знаешь? — спросил Жирба. — Дарю!

Забывшись, он хотел встать, но ударился головой о телегу и, со злобой потирая ушибленное место, решительно сказал:

— Все равно теперь тебе обратного хода нет. Не сделаешь, сам сделаю, а после на тебя свалю. Мне поверят.

— Пожалей! За что губишь! — шептал беженец, вылезая вслед за Жирбой. И, стоя на четвереньках, скорбно умолял: — Ну, отпусти ты меня, отпусти. Не храбрый я. Замлею, пропаду.

— Не придешь, за тобой придут, — коротко бросил Жирба и ушел.

Настя никак не могла уснуть в эту ночь. Мучаясь, она вспоминала лицо Никиты, его грубо-насмешливые слова... Но ведь этот самый Никита с проникновенным восторгом обучил ее, Настю, всему, чему его научили люди!.. Ведь он сам привел ее в комнату и, краснея, попросил Андреева:

— Запиши вот.

— Ручаешься? — серьезно спросил Андреев.

Никита обидчиво и гордо сказал:

— Мальцева она. Фамилию мою носит.

И когда ее записали, Никита взволнованно произнес:

— Теперь мы с тобой, Настя, навеки срослись и душой и телом.

Андреев пошутил:

— С вас магарыч полагается. Вроде как снова поженились.

И деловито посоветовал:

— Аккуратней живите. Не ссорьтесь. Не жена она тебе теперь только, а друг, товарищ.

Оскорбленная унизительными подозрениями Никиты, его упорным нежеланием поверить ей, Настя до сих пор не говорила с мужем откровенно, доверчиво и просто. Мучаясь от гордости, она часто сама язвила его. Но теперь, угнетенная этой молчаливой ночью, Настя поняла, как невыносимо ей оставаться без Никиты, пусть недоверчивого и грубого, но такого родного, близкого, обиженного и страдающего. Она решила пойти разыскать мужа. Ведь ей не в чем виниться. Нужно сказать только правду. Ведь он хороший: поймет.

Настя поднялась и пошла мимо спящих людей, кутаясь в свою смешную жакетку с буфами, обшитую потертой тесьмой. Нежная, кроткая улыбка бродила на ее лице. Медленно шевеля губами, она вспоминала все те ласковые слова, которые берегла для Никиты.

Настя шла вдоль эшелона, заглядывая в вагоны к спящим железнодорожникам, — нет ли меж ними Никиты. Подходя к последним эшелонам, где стояли цистерны с водой, она услышала вдруг клокотание льющейся воды.

Встревоженная, она бросилась к цистерне, из-под которой слышался этот шум. Присев, заглянула под колеса. Там возились Жирба и казак-беженец. Вода с шумом вырывалась из-под их рук. Настя в ужасе отшатнулась.

Жирба, повернув к ней искаженное лицо и выпуская из рук заглушку сливного прибора, растерянно спросил:

— Ты? — Потом, оправясь, крикнул: — Лезь сюда, держи заслонку... Не виднішь — прорвало!

Настя послушно полезла под цистерну... Поток воды обрушился на нее. Казак стал выбираться наружу.

— Куда? — прикрикнул иа него Жирба.

— Людей кликиуть! — дрогнувшим голосом произнес тот.— Беда ведь какая! Господи, что наделали!

Жирба с силой потянул его обратно.

— Нет, стой, молодец! — сипел он. — Людей я сам позову!

Настя, оглушенная падающей водой, тщетно силилась прикрыть сливное отверстие заглушкой и ие могла видеть их вози.

Далеко впереди закричал паровоз, вслед ему второй, третий, залязгали стяжки и буфера. Эшелоны медлеино тронулись с места.

Жирба выскочил нз-под цистерны, за ннм выполз беженец. Обжимая с себя воду, он умоляюще глядел иа Жирбу.

Состав с цистернами дернулся. Медлеиио повернулись колеса.

Настя глухо вскрикиула.

Жирба, держась рукой за раму цистерны, шагал рядом с двигающимся составом, внимательно глядя на колеса.

На мгновение из-под цнстерны показалась согбенная, ползущая на четвереньках Настя с налипшими на лицо мокрыми волосами.

Жирба занес ногу и ударил женщииу. Настя, охиув, повалилась иавзничь. Скрипя, накатнлись черные жернова колес. Оборвался короткий крик...

Беженец бросился к цистерне. Жирба рванул его назад, выхватил наган н выстрелил вверх. Когда на выстрел сталн подбегать люди, Жирба, закричав: «Стой!», выстрелил в бледное лицо казака.

Засовывая иагаи в кобуру, Жирба взволиованно говорил:

— Поймал гада на месте, другой убег.

23

На рассвете часть партизан отказалась следовать дальше. Под предводительством Жирбы они подошли к эшелонам и потребовали выдачи воды из тендеров.

Железнодорожники с оружием приготовились защищать эту воду.

Но в самую последнюю минуту на разъяренном коне прискакал Дитюк.

Ворвавшись в гущу людей, он соскочил с коия. Увидев в руках Жнрбы ведро, вырвал, бросил на землю, нстоптал нога-

ми. Потом, ударив Жирбу плетью по лицу, отвернулся от него, не обращая внимания на то, что тот, расстегивая кобуру, шевеля помертвевшими губами, смотрел на его затылок. Размахивая плетью, Дитюк кричал:

— Я вам дам пить! Я вас вашей же юшкой умою!..

Выстроив партизан в молчаливую пристыженную шеренгу, Дитюк расхаживал вдоль нее, пытливо заглядывая в лица, со страстной яростью спрашивал:

— Кто?.. Ну кто — я вас спрашиваю? Кто?

Со скорбным отчаянием он закричал, останавливаясь:

— Приедем мы в Царицын, прикажут, чтоб я вас на параде показал. А разве я могу вас показывать, когда среди вас скрытый гад ходит.

— Ты этот гад? — неистовствовал Дитюк, хватая горстью за гимнастерку первого попавшегося партизана и притягивая его к себе. — Или ты? — бросался он к другому. — Ну, кто? Кто, я вас спрашиваю?

К Дитюку подошел Костин и, наклонившись, тихо сказал:

— Афанасий Андреич! Ты бы к Мальцеву пошел. Тяжело ему.

Бешено озверившийся Дитюк вдруг заморгал, опустил голову и попросил:

— Поговори с ними, с гадами, сам, а?

И побрел к эшелонам, тяжело волоча ноги.

Внезапно во всем лагере началась беспорядочная ружейная стрельба. Люди, спотыкаясь, бежали по степи, задирали головы и стреляли в воздух.

Некоторые забирались на крыши вагонов и палили оттуда. В небе кружил самолет.

Вдруг, словно скатываясь с незримой стеклянной горы, машина, скользя, стала снижаться над лагерем. Подпрыгивая на кочках, самолет уже катился по степи. Партизаны с перепуганными и удивленными лицами окружили крылатую машину. Летчик, вылезая из кабины, сердито улыбаясь, спросил:

— Вы что — сдурели, черти?! По своим палить!

Наклонившись, он поднял с сиденья чугунную сковородку и, показывая всем, пожаловался:

— Если бы не эта «броня», подстрелили б, как дудака. Ею только одной и спасаюсь.

Летчик со своей такой обычной сковородкой тотчас покорил людей. Все заулыбались и потянулись к нему. Сопровождаемый огромной толпой, летчик зашагал к штабному вагону.

Собравшимся там командирам летчик сказал:

— Из Царицына я. Как дела у вас, товарищи? Дойдете?

— Об чем может быть разговор? — перебивая всех, заявил Дитюк. — На рысях.

Летчик спросил озабоченно:

— Мастера у вас не найдется? Стойку вы мне в шасси перебили.

Глушков, выступая вперед, смущенно пробормотал:

— Разрешите взглянуть. По слесарской части мы лично можем.

И, словно боясь, что ему откажут, добавил:

— Я и броневики делаю — тоже ответственная работа.

— Броневики — это хорошо! — обрадовался летчик. — Мы, как пролетариат, беляков должны техникой бить. Теперь на фронт много железа бросили!

Дитюк, обидевшись, что летчик не обратил на его слова должного внимания, сердито сказал:

— Железо без человека — дура.

— С человека тоже много спрашивают, — живо подхватил летчик. — Война, можно сказать, опасность, а тут курсы военно-политические открыли. Вот я, например, кто был? Токарь. А школу, можно сказать, под снарядами окончил и теперь — летчик. Теперь из нашего брата командиров готовят. Обучают.

— Ишь ты! И меня тоже учиться посадят? — насмешливо спросил Дитюк.

— А то как же, — с готовностью ответил летчик.

Дитюк вдруг сконфузился и, радостно улыбнувшись, сказал:

— Я бы тогда маленько в карте поднатаскался. Она полезна бывает — карта.

Летчик вынул из кармана гранату, обернутую пакетом. Снимая его, летчик объяснил:

— На случай, если бы к белым попался, думал... вместе с гранатой... — И, протянув пакет Костину, сказал: — От Реввоенсовета.

Глушков сидел на корточках возле самолета и с удовлетворением созерцал свою работу.

Летчик, нагнувшись, спросил:

— Держит?

— Навек, — заявил Михаил Петрович и обидчиво прибавил: — Я за свою работу везде отвечаю.

— И там? — спросил летчик, показывая на небо.

— Всюду — хоть под водой. Я своей фамилией дорожу, сраму нигде не допущу.

Обернувшись к Гришке, летчик попросил:

— Друг, сбегай-ка за водой для радиатора — вся выкипела.

Гришка растерянно поглядел на отца.

Михаил Петрович, решительно подымаясь с земли, спросил:

— Куда выливать?

И, вынув из кармана бутылку, бережно вылил воду в указанное отверстие. Сделав это, он с укором посмотрел на толпившихся партизан. И вдруг возле самолета стала выстраиваться очередь. С серьезными торжественными лицами люди подходили и выливали из фляг, баклажек, бутылок воду, суточный запас воды!..

Летчик, принявший все это вначале как шутку, понял, в каком положении находились эти люди. Встав возле самолета навытяжку, поднеся руку к шлему, он проговорил тихо:

— Спасибо, товарищи!

К самолету подошел Дитюк. Лицо его было расстроено. Положив руку на плечо летчика, он произнес сипло, не в силах побороть возбуждение:

— Передай...

Он вздохнул, и видно было, с каким напряжением искал слов. На лбу его набухли вены, но нужных слов не находилось. В конце концов Дитюк сокрушенно махнул рукой и прошептал:

— Извиняюсь. Вообще постараюсь!..

И вдруг, вскинув голову, сказал:

— Тараса знаешь? Ну, вот таким я буду. Не согнут!..

Сделав прощальный круг, самолет пошел на север.

Костин приказал раздать воду из двух тендеров. Два паровоза с погашенными топками медленно остывали. Железнодорожники сбрасывали вагоны под откос. Потом очередь дошла до паровозов. Страшно было сваливать с рельсов эти еще теплые, словно живые, машины.

Старый машинист, отвинтив от своего паровоза гудок и держа эту медную трубку под мышкой, понуро ушел, чтобы не видеть, не слышать стона разбиваемой машины.

Старик Храмов, жалея машиниста, подошел к нему и, не зная, как выразить свое сочувствие, спросил:

— А гудок-то тебе зачем?

Машинист обернулся и, глядя на старика заблестевшими глазами, со стоном сказал:

— Это ж голос его! Может, еще когда-нибудь услышу.

И вдруг яростно закричал:

— Нет, врешь! Мы еще поездим! Он у меня еще запоет, еще как запоет!

И побрел, спотыкаясь, ничего не видя перед собой.

Оборачиваясь к сыновьям, Храмов с гордостью сказал:

— Ишь горюет, словно коня под ним убили.

Мимо прошел Мальцев, не глядя ни на кого, с поникшей головой.

Младший из братьев Храмовых — Павел, поглядев на него со скорбью, прошептал отцу:

— Я видел, как он плакал. Нагнулся к вагону с ключом, будто починяет что-то, а у самого спина трясется... А на людях шутит, — продолжал Павел. — У вас, говорит, не отец, а взводный. Война кончится, пролетариат победит, так ваш батька на сытых хлебах вас таких еще на целый эскадрон наготовит.

— Ну? — удивился отец, потом поправился на седле и с достоинством согласился: — Что ж, я ничего. Я еще справный.

И снова шли.

Шли из последних сил, слабые — держась за плечи более сильных. Шли рядом со своими истощенными, шатающимися конями, шли по степи, накаленной зноем, задыхаясь в огненной пыли. Шли сквозь беспламенный пожар. В балках с водой собирали тряпками гнилую воду.

А когда казалось, что уже иссякли силы, лошади, шевеля пыльными потрескавшимися ноздрями и вытягивая непомерно длинные, худые шеи, вдруг в страшном напряжении быстрее зашагали вперед. Люди тащились за ними, медленно волоча ноги, боясь упасть... И увидели... реку.

Это была настоящая река. Холодная, спокойная, отражавшая яркое, медленно текущее небо.

Люди устремились к реке. Они бросались в воду, упивались ею... Огромный партизан, войдя в реку по горло, пил, задыхаясь, захлебываясь. Дитюк кричал, стоя в воде и широко простирая руки:

— Наваливайся, ребята! Угощаю!

И у него был такой счастливый, гордый вид, что можно было подумать, будто и впрямь река принадлежит ему лично.

Только Жирба оставался спокойным. Наклонившись к воде, он озабоченно наполнял фляги.

— Ты и в карманы набери, — крикнул ему задорно Дитюк. — Запасайся.

Жирба притворился, что не слышит. Но он был не один такой. Многие, выходя из реки, уносили с собой воду в ведрах... А потом, усевшись на берегу, снова пили, окунали в ведра головы...

Мост через реку Аксай, длиной в сто пятьдесят метров, был взорван.

Остатки исковерканных ферм торчали из воды. Путь на Царицын был отрезан.

Людьми овладело уныние. Они тревожно толпились на берегу.

Старик Глушков, ползая по обломкам пролетов, обследовал мост. Когда кончил, к нему подошли члены штаба и Дитюк.

— Ну как?

— Ничего, наладим, — бодро ответил старик.

— Этим вот? — делая непристойный жест, спросил Дитюк. — На пасху? Такую махину в год не состряпать.

Глушков прищурился и насмешливо заявил:

— А нам некогда!

Потом рассердился:

— Донской мост знаешь? Громада! Наши его подняли. А этот мост против того — все равно что самовар против паровоза! Мелкая вещь.

— Блоха! —съязвил Дитюк.

— Что ты меня учишь?! — загорелся гневом Глушков. — Что ты мне все поперек становишься?!

И вдруг, осененный какой-то мыслью, лукаво усмехнулся и громко, чтобы все слышали, спросил:

— Вот рельс перерубить можешь? Ты, рубака?!

И подтолкнул к ногам Дитюка кувалду.

Уязвленные партизаны, уверенные в физической мощи своего командира, стали его подзадоривать:

— А ну, покажи ему, Афанасий Андреевич!

Дитюк, снисходительно улыбаясь, взял в руки кувалду. Взмахнув, ударил. Рельс со звоном подпрыгнул, но остался цел. Расставив ноги, Дитюк бросил кувалду с еще большей силой. Рельс снова ответил звоном. Разъяренный Дитюк стал бить все яростнее, на его спине между лопаток все шире расплывалось пятно пота, начали дрожать ноги...

Бойцы притихли. Наконец Глушков, сжалившись, легко отодвинул изнемогшего Дитюка и, поплевав на ладони, сказал:

— А ну, теперь я!

Четырьмя короткими точными ударами Михаил Петрович разрубил рельс и, повернувшись счастливым лицом к Дитюку, заявил с удовлетворением:

— Техника — и никакого мошенства. Понял? Скидай шпоры. Теперь я здесь — главный.

Задымилась на берегу наспех сложенная кузница. Валили телеграфные столбы. Рыли землю. Далеко позади эшелонов разбирали пути, чтоб из шпал сооружать клети — тридцатиметровые устои будущего моста.

Беженцы, свалив скарб на землю, возили строительные материалы.

Мобилизованы были все. На семь километров протянулись от реки к эшелонам вереницы людей. В тендерах не оставалось воды — нужно было их наполнить. Люди передавали из рук в руки полные ведра. На двенадцать паровозов требовалось две тысячи четыреста ведер воды. Это был тяжелый медленный труд!

Железнодорожники под руководством Глушкова укладывали шпалы в клети, скрепляя бугеля скобами, сделанными в походной кузнице.

В полдень из степи показались первые части белых.

К Дитюку подошел Жирба. Кивая на мост, насмешливо сказал:

— Ковыряются. Может, и нам с тобой к ним на подмогу пойти? Ден этак через сто, к празднику усекновения главы святого пророка-великомученика, авось поспеем.

Потом горестно спросил:

— Нас здесь беляки в реке топить будут или на берегу рубать?

И, возвысив голос, потребовал:

— Давай собирай людей! Вот здесь стороной в астраханские степи еще пройти сумеем! А то поздно будет. Может, пробьемся еще до хат на карачках!

Дитюк вздрогнул, со злобой закричал:

— Ты это брось! Ты у меня панику не разводи.

Внезапно успокаиваясь, он пробормотал:

— А о беляках этих больше слышать не могу. Душу щиплет!

Повернувшись, Дитюк пошел к эшелонам, цепляясь за траву шпорами.

После смерти Насти у Дитюка с Мальцевым возникла невысказанная словами дружба, сдержанная, заботливая.

Разыскав Мальцева, Дитюк пожаловался на свои опасения. Как бы беляки, окружив их, не прижали к реке. Мальцев, подумав, согласился, чтобы Дитюк с небольшой частью отряда выступил из района лагеря и в случае нужды ударил в тыл белым.

Удовлетворенный Дитюк не уходил. Застенчиво глядя на

Мальцева, он переминался с ноги на ногу. Наконец нерешительно спросил:

— Ну как?

Мальцев понимал, о чем его спрашивает Дитюк. Понурившись, ответил:

— Так вот...

И вдруг, оживившись, звенящим голосом сказал:

— Ничего, Афанасий Андреич. А ведь правду она говорила — хороший ты парень.

И потряс его за плечо.

Шея Дитюка побагровела. Он снял с головы фуражку и, вытирая ею лицо, словно в этом была нужда, сдавленно прошептал:

— Правдивая она была, это что и говорить.

Сняв через голову маузер и протянув его Мальцеву, Дитюк сказал:

— Возьми на память.

Потом глухо попросил:

— И если я чего-нибудь не так сделаю, даю тебе полное право: шлепни ты меня иа месте. Не обижусь.

Дитюк выступил с частью отряда в степь. Жнрба, немного задержавшийся в лагере, наткнулся на партизана, идущего куда-то с лопатой.

— Конь где? — спросил Жирба.

— Нету, — прнзнался партизан.

— Загубил?

— Да ни. Железнодорожный пролетарнат попросил шпалы им возить чи бревна.

— Забери коня, — приказал Жирба.

— А совесть? — спросил партизан.

— Что совесть?

— Люди же для нас мост строят. Стараются! Можно сказать, одиими голыми руками. А я для них коия жалеть буду?

— Заберн коня, — повторил Жирба, — а то худо будет.

Партизан уныло поплелся к строящемуся мосту.

Через некоторое время партизан подъехал на тачанке к санитариому вагону. С кнутом в руке он поднялся на подиожку и заглянул внутрь.

Нина Костина ухаживала здесь за ранеными. Наклоннвшись к молодому парню с синим, обескровленным лицом, она говорила ласковым, воркующим голосом:

— Да ты не стесняйся, голубчик. Я женщина замужняя, всего насмотрелась.

Подойдя к другому, она растерянно посоветовала:

— Ты стони, не сдерживайся, так легче будет.

Раненый схватил ее за руку и сжал изо всех сил, изнемогая от боли.

Выйдя в тамбур, Нина прислонилась к стене и прошептала горестно:

— Господи! И лечить нечем. Лекарств нет. И крови я переносить не могу. Вся слабею. Плакать хочется...

— Где тут наши? — выступив, спросил партизан.

Нина, увидев его, зло закричала:

— Ты куда? В сапогах заразы наносишь!

Потом, успокоившись, спросила:

— Дружка пришел проведать?

Партизан решительно уселся на пол и, снимая сапоги, придушенно ответил:

— Я своих увозить буду. Не желаем их оставлять.

Взяв сапоги под мышку, он хотел пройти в вагон, но Нина преградила дорогу.

— Куда? — произнесла она, задыхаясь.

— Пусти, баба!

— Да, баба! — крикнула она. — Да, баба! А ты кто? Трус, зверюга несчастная! На тачанках затрясти раненых до смерти хотите? Совести у вас нет. Удрать решили, всех бросить?

— Да ведь моста не сделают, — колеблясь в своем упорстве, возразил партизан.

Нина открыла дверь в вагон и, показав партизану на лежащих раненых, снова задвинула ее.

— Видел? — спросила она дрогнувшим голосом. — Видел, как люди за правду мучаются, посмотрел? Ну и уходи.

И стала толкать партизана вниз со ступенек.

Смущенный партизан сел на пустую тачанку, подобрал вожжи. Рабочие проносили мимо него спиленные телеграфные столбы.

— Эй! — крикнул партизан.

Рабочие обернулись. Спрыгнув с тачанки и зачем-то уминая сено на настиле ладонью, партизан закричал с отчаянной решимостью:

— Клади, ребята!

Мимо строящегося моста проезжал на коне Жирба. Взгляд его остановился на Храмовых. Четверо сыновей тянули вверх огромное бревно. Внизу, стоя по горло в воде, старик Храмов

поддерживал бревно руками. Лицо старика было искажено, багрово от усилий.

Жирба, презрительно глядя на Храмова, спросил:

— Стараешься?

От натуги старик не мог выговорить ни одного слова. Подняв голову, он с усилием просипел:

— А ну, сыны! Ослобони меня маленько.

Сыны перехватили бревно, и сейчас же лица их начали багроветь, как до того у отца.

Старик, потирая грудь, пытался ответить Жирбе, но дыхание у него еще не наладилось. Обращаясь к Михаилу, он хрипло попросил:

— Миша! Пошли ты его к...

Михаил вскинул голову, сделал глотательное движение, но тоже не мог произнести ни слова.

Тогда старик сделал такой неприличный жест, что сыновья его, ослабев, выронили бревно и стали хохотать. А старик в восторге захлопал руками по воде.

Жирба, плюнув, отвернулся и поехал тряской рысью к эшелону, где были раненые.

Войдя в вагон с мрачной торжественной миной, Жирба снял фуражку и поклонился всем.

— Родные браты мои! — произнес он с надрывом. — Проститься пришел.

И вдруг, вытащив из кобуры наган, он положил его на стол, насыпав тут же рядом горсть патронов.

— Здесь на всех хватит. Чем от беляков позорные муки принимать, лучше уж самим себя кончить.

Раненые, наклоняясь с полок, хрипели:

— Кузьма! Ты что, Кузьма?

— А вот что. Конец всем пришел. Стиснули нас здесь белые. Дитюк бросил всех, в степь ушел. Простите меня, браты, и прощайте.

Поклонившись в пояс, Жирба отстранил ловившие его руки раненых, выбрался из вагона, вскочил на коня и поскакал в степь вдогонку отряду.

Паника, как пламя, охватила санитарный эшелон. Падая, волочась по полу, выползали из вагонов раненые, искалеченные, вопили о предательстве...

Нину сшибли, когда она пробовала вернуть беглецов обратно. От моста на крики прибежали вооруженные железнодорожники, решив, что прорвались белые.

Костина не дали говорить. Люди рыдали и умоляли о спасении. Тогда Костин приказал железнодорожникам взять на ру-

ки самых беспокойных, отнести к мосту, показать, что он уже почти готов, и принести обратно.

Это паломничество отняло у рабочих свыше двух часов. А между тем цепи белых становились плотнее, прибывающие к ним части все теснее смыкали свое зловещее кольцо.

Вокруг моста уже рыли окопы. Часть партизан и железнодорожников уже вела усиленную перестрелку.

Но артиллерийского огня белые не открывали. Они, видимо, ждали, когда будет закончен мост, чтобы стремительным натиском смести его защитников и овладеть переправой.

Все же к вечеру терпение лопнуло: начался упорный артиллерийский обстрел лагеря и моста. Снаряды бухались в воду, тотчас из реки вздымался огромный водяной столб и медленно опадал. Несколько снарядов угодили в готовые клети.

Михаил Петрович, бегая между рабочими в дыму и грохоте, кричал:

— Вы что думаете? Если к спеху — так тяп да ляп можно?! Перекладывай заново!

И рабочие послушно переделывали настланные пути. Гнев старика, его злая придирчивость внушали людям бодрость.

Но когда в воду рухнула тридцатиметровая, только что сложенная из шпал клеть, Михаил Петрович растерялся.

— Это что же такое? — бормотал он скорбно и удивленно. — Манька шьет, а Васька порет? Нешто в таких условиях работать можно?

Озабоченный, он спустился на берег и попросил Костина, чтобы он велел навалить вокруг моста сена, соломы и всякой трухи.

Когда все это сложили и подожгли, лагерь окутался черным дымом. Уходящее солнце стало похоже на луну. Скрытые густыми и горькими клубами, задыхаясь, то и дело протирая глаза, люди все же получили возможность работать, так как противник лишился видимого прицела.

25

Отряд Дитюка наткнулся на беспечно расположившуюся в хуторе крупную часть белых. Внезапным ударом хутор был взят. Свыше двух сотен пленных Дитюк посадил в амбары, конюшни и просто в овечьи загоны.

Узнав из допроса пленных, что в соседней станице стоит примерно такая же часть, Дитюк вызвал к себе Жирбу и приказал послать гонца к своим, чтобы узнать, как там идут

дела. Если мост еще не готов и силы белых не увеличились, тогда он наверняка успеет взять и станицу.

Жирба, выслушав Дитюка, сказал:

— Зачем кого-нибудь посылать? Я и сам съезжу.

Дитюк, смущенно улыбаясь, попросил:

— Только ты про хутор ничего не говори.

И поспешно объяснил:

— Ни к чему это. Понимаешь? Я ребятам просто для удовольствия позволил.

— Ну вот еще! Не маленький, — сказал Жирба, подавляя в себе желание съязвить по поводу извиняющейся улыбки командира.

Оседлав лошадь, Жирба поехал в степь и, выбрав угрюмую, густо заросшую кустарником и травой балку, просидел там до вечера, вздрагивая от каждого шороха. Жирба боялся змей, а их в степи водилось очень много.

Вернувшись, он доложил Дитюку, что мост еще не готов, а беляков сколько было, столько и есть, да, по-видимому, и те собираются уходить, чтобы переправиться вброд на другую сторону.

Обрадованный Дитюк приказал готовиться к выступлению.

Получив подкрепление, белые части, окружавшие мост, открыли по всей линии огонь, подготовляя решительный штурм.

На строительстве моста, подходившем к концу, осталось несколько человек. Все остальные засели в окопы.

Внезапно с севера показался черный узкокрылый аэроплан. Он был послан Мамонтовым на помощь осаждавшим. Осажденные решили, что это снова знакомый гонец из Царицына. Но когда самолет, кружа над лагерем, стал бить по обозам беженцев из пулеметов, лагерь охватило смятение.

Спустя несколько минут с севера появилась вторая машина. Угроза двойного удара с воздуха поколебала бойцов. С минуты на минуту могла начаться паника. Костин, бросившись к мосту, приказал Глушкову заложить взрывчатку, чтобы, пропустив людей, уничтожить мост. А эшелоны, раненые? Как быть с ними?!

Второй самолет приближался к лагерю. Первая машина стала вдруг встревоженно подыматься навстречу новому залетному гостю.

Кувыркаясь в воздухе, обе машины вступили в бой. Невиданное зрелище этого единоборства увлекло всех. Даже со стороны противника огонь почти прекратился. В наступившей тишине было слышно только зловещее бормотание моторов.

Огромные крылатые тени ныряющих в небе машин носились по степи.

Бойцы, лежавшие до этого пластом на земле, приподымались сначала на колени, а потом, забыв об опасности, и во весь рост.

— Клюй его, клюй! — шептал, опираясь на плечи сыновей, старик Храмов с закинутым вверх восторженным лицом.

Иногда казалось, что оба крылатых противника хотят сшибиться грудь с грудью, сцепившись в клубок, упасть на землю и продолжать драться здесь с соколиной яростью.

Иногда казалось, что одна из машин, оборвавшись с невидимой нити, неудержимо несется вниз. Но снова раздавался гул, частая пальба мотора, и, описав вензель, самолет опять взмывал ввысь.

Глушков дергал Костина, кивал головой вверх, говорил гордо:

— А муфточка-то на нем моя — лично сваривал!

Обе машины опутывали друг друга петлями, бились почти вплотную. Внезапно над вражеским самолетом показалось черное облачко.

Кивая носом, он стал как-то заваливаться, и вдруг, круто повернувшись, рухнул на землю. Шума падения не было слышно. Люди кричали «ура!», обнимались, забыв все.

Ожесточенный огонь белых многих свалил на землю. Как бы в отместку за это оставшийся самолет устремился на белых. Косо скользнув над цепями врага и обдав их пулеметным огнем, машина повернула к мосту и, торжественно описав медленный круг, повернула снова на север, к Царицыну.

Мальцев выскочил из окопа. За ним бросились люди яростно, врукопашную. Но прорвать оцепление не удалось.

Белые отступили, не размыкая кольца.

Приставший к отряду казак Пухов с собственным пулеметом, выменянным за корову, сидя в окопе и сердито подсчитывая патроны, жаловался:

— Патронов жрет, чертова машина, — не напасешься.

— А ты, паря, видать, жадный? — спросил старик Храмов.

— Жадный, — согласился Пухов и объяснил: — Патроны-то у меня не казенные, а купленные.

Мост был готов. Когда на него вступили первые эшелоны, мост пошатнулся, затрещал, но выдержал. Глушков, махая машинисту, чтоб подался назад, кричал:

— Сразу нельзя его уминать, нужно сейчас с ребятами подбивку дать! Тогда снова тряси!

Атакой по всему фронту ответили белые на первую попытку перехода моста. Силы железнодорожников и партизан иссякали, а Дитюка все не было. Постепенно людьми начало овладевать

тревожное беспокойство. Линия боя все приближалась, охват становился теснее...

Старик Храмов, пробираясь где ползком, где на карачках, нашел Мальцева возле бронепоезда. Он командовал здесь огнем батарей. Наклонясь к уху Мальцева, старик прохрипел:

— Я пойду с ребятами, авось удастся Дитюка сыскать. А то что же получается? Измена?!

Мальцев кивнул в сторону белых:

— Прорвешься?

— Ничего, — сказал старик. — У меня ребята старательные. Только вы поддержите, потрудитесь, когда мы пытаться будем. Уж пожалуйста!

Через несколько минут пятеро Храмовых — отец и четверо сыновей — вылетели на пластающихся в воздухе конях в степь и помчались прямо на цепи белых.

Противник сначала растерялся. Белые, вероятно, решили, что это перебежчики. Но, когда старик Храмов, перепрыгнув на всем скаку через окоп, бросил клинок на голову пригнувшегося офицера, отважное намерение лихих всадников было разгадано.

Первым, схватившись за шею, медленно опрокинулся из седла сын Захар. Потом старик увидал, как второй сын, Петр, спрыгнув с коня, свалившегося с перебитой ногой, долго и яростно отбивался шашкой от штыков солдат, набросившихся на него со всех сторон. Старик застонал, но не умерил бега коня, чтоб прийти на помощь сыну. Теперь позади скакали только двое — старший Михаил и младший Павел. Павел все время оборачивался. Михаил жестоко стегал коня и смотрел только вперед.

Солдаты беспрерывно стреляли вслед прорвавшимся всадникам. И вдруг Павел тонко вскрикнул и, тотчас замолчав, с удивленным, виноватым лицом, не спуская с отца туманящихся глаз, начал клониться к шее коня.

Михаил, подскочив к нему, обнял брата, но, когда хотел перевалить на седло, Павел был уже мертв.

26

Дитюк, победно заняв станицу, велел вынести на крыльцо барского дома плюшевое кресло. Торжественно восседая в нем, он решил поговорить с пленными. Это случилось с Дитюком впервые: раньше он вообще не брал пленных.

Партизаны, толпясь вокруг с веселыми лицами, с любовным восторгом глядели на своего командира.

— Что ж у вас — в башке вместо мозгов коровьи лепеш-

ки? — со снисходительным торжеством спрашивал Дитюк выстроившихся перед ним солдат. — Не понимаете, против кого шли?.. Мы — за рабоче-крестьянский класс. За вас, дураков. В мировом масштабе жизнь легкую, приятную хотим устроить. А вы что?

И, махнув рукой, сказал с величественным пренебрежением:

— Ну ладно, на этот раз живите.

— Господин командующий, уж не знаю, как вас звать-величать, — выступил вперед пленный казак. — Позвольте спросить...

И, указывая на пленных, сказал:

— Интересуемся мы: правда, что большевики всем хотят землю задаром раздать?

— Что значит всем? — перебил его Дитюк. — Кому захотим, тому и дадим.

— Что, выкусил? — весело сказал Жирба, подошел к пленному и сильным движением нахлобучил ему фуражку.

— Буде, — утомленно произнес Дитюк и приказал партизанам: — Гоните их отсюда в шею, да полегче, обижать не надо, — все ж таки темные они.

Внезапно в рядах партизан произошло замешательство. Два измученных всадника рысью подъехали к крыльцу. Поперек седла у старика Храмова лежал убитый сын Павел. Старик слез с лошади и в напряженной тишине, подняв на руки тело сына, бережно положил его на крыльцо перед Дитюком.

— Вот... — сказал он глухо.

Партизаны, теснясь молчаливой толпой, смыкались перед крыльцом.

А старик, стоя перед Дитюком и глядя в его лицо с ненавистью, закричал изо всех сил:

— Ты убил моих сыновей! Ты!

И, обращаясь к партизанам, со скорбью спросил:

— Братцы, что же стоите? Чего ждете? Ведь там люди гибнут. Полдня бьются, уж сил нету больше. Что же вы, братцы, а?

Дитюк растерянно спросил:

— Кузьма, ты же был там, Кузьма?

Жирба, расталкивая людей, подошел к своей лошади, стоявшей у крыльца, торопливо отвязал поводья и, вскочив на коня, закричал:

— Врет старик! Не верьте ему! — И хотел ехать.

Но партизаны загородили Жирбе дорогу. Один из них, подойдя вплотную к нему, спросил:

— Значит, врет старик, а?

— Врет, — нехотя подтвердил Жирба, отворачиваясь, и дал шпоры коню.

Но тогда партизан вдруг прыгнул на спину его коня и сбросил Жирбу наземь. Толпа тотчас молча и зловеще сгрудилась над ним.

Тело Жирбы несколько раз взлетало вверх и тяжело падало. Затем его разбитую тушу швырнули на крыльцо, и кто-то зло крикнул Дитюку:

— На, бери, получай! Твоей души приказчик!

Партизаны вернулись в строй. Несколько голосов наперебой сказали старику Храмову:

— Принимай команду, папаша!

Возле потрясенного Дитюка осталось всего десятка два бойцов, не решавшихся покинуть своего командира. Понурый, бледный, Дитюк сел на коня и, махнув рукой оставшимся, поскакал за колонной. Догнав ее, он пристроился в самом хвосте.

Партизаны, придя на рысях к месту боя, застигли белых уже у самого моста. Часть железнодорожников и партизан билась на мосту, часть — в эшелонах. Дрались врукопашную.

Врубившись неожиданно с налету в гущу неприятеля, партизаны опрокинули врага.

Храмов, подскакав к Костину, спросил:

— Еще маленько потрепать можно?

Эшелоны переваливали через мост. Мост скрипел и оседал. Пока происходила новая подбивка, переправлялись беженцы, потом снова эшелоны.

Дитюк в неистовом бесстрашии искал смерти в бою. Прорвавшись к батарее противника, установленной на кургане, он, крутясь на лошади, рубил разбегающуюся прислугу. Наконец, увидев, что остался один, Дитюк соскочил с коня и, повернув с нечеловеческой силой орудие, стал бить по цепям белых в упор. Лоб его был рассечен, кровь стекала на глаза, и он все время вытирал ее с лица.

Несмотря на все душевное горе и отчаяние, он наслаждался этим жестоким боем в одиночку. Он хватал снаряды из открытого зарядного ящика, вгонял их в ствол, дергал шнур... Орудие, подпрыгнув, с грохотом выдыхало горячую смертоносную сталь.

Конь Дитюка бродил возле хозяина и равнодушно щипал траву. Но вдруг Дитюк услышал ржанье, похожее на стон. Оглянувшись, он увидел коня уже на земле с вытянутой по-птичьи шеей.

На нежных губах пенилась кровь, которую конь продолжал слизывать в последнем усилии...

Цепи белых снова начали смыкаться. Последние эшелоны переходили мост. И уже двинулись партизанские части. Неистовствуя, Дитюк поставил пулемет на щит пушки и стал бить по солдатам, карабкающимся на курган. В жестоком презрении к самому себе, Дитюк искал смерти. И когда он смотрел на мост, видел, как переправляются на тот берег родные ему люди, невольно со щемящей скорбью вспоминал последние торжественные минуты своего любимого Тараса. Но кричать отсюда людям ему было незачем и нечего.

На сердце Дитюка стало вдруг тоскливо и пусто... И это было страшнее смерти!

— Афанасий! Афанасий Андреич! — неожиданно услышал Дитюк позади себя. Он оглянулся.

Под склоном кургана стоял самодельный бронеавтомобиль, подаренный ему железнодорожниками. Кто-то, приоткрыв дверцу, махал ему оттуда рукой, звал.

В первый момент Дитюк хотел отказаться, но, чтобы не подвергать из-за себя смертельной опасности людей, он выпустил из пулемета последнюю очередь и побежал к автомобилю.

Железный возок загрохотал и тронулся. В потемках Дитюк разглядел Мальцева. Мальцев, не спуская взгляда с тонкой железной щели, продолжал отстреливаться. Промчавшись через мост, броневик встал. Дверца открылась. Дитюк, шатаясь, вылез наружу.

Мост горел. Густые отблески пламени освещали темную гладкую воду.

Какой-то партизан произнес грустно:

— Жалко! Строили, мучились...

Другой спросил уничтожающе:

— А ты его строил?

Первый партизан ответил смущенно:

— Я, конечно, извиняюсь... Больно сооружение степенное.

Но тут вылез из броневичка Михаил Петрович, ведший машину, и вмешался в беседу:

— Разве ж это мост? Мне бы хоть денька три лишних накинули. Вот тогда бы я показал, как нужно мосты строить.

Дитюк слышал все эти слова и не понимал их. Он видел людей, партизан, но ему казалось, что все это видит кто-то другой... А его, Дитюка, нет.

Протяжно, торжественно завыли паровозы, дернулись колеса, прокатился волной стук буферов — это двинулась темная громада эшелонов.

Где-то, должио быть очень далеко, запели партизаиы. Дитюк слышал пение так, словно нахсдился под водой.

Ои не заметил, как подошли Костин с жеиой, Мальцев, старик Храмов.

— Вы не контужеиы? — спросила Дитюка Нииа.

Дитюк равнодушно посмотрел ей в лицо и ничего не ответил. Повернувшись, он вдруг пошел в пустую темную степь, размахивая руками. Его остаиовил, схватив за плечо, Мальцев. Участливо заглядывая ему в глаза, сказал:

— Афаиасий Аидреевич, да ты это что?

А старик Храмов дотроиулся до руки Дитюка и пробормотал:

— Погорячился я... Гад тебя подвел... Да и характер твой, — добавил ои совсем тихо.

В степи показалнсь два ярких сиопа света. Огни быстро приближались. Запыленный автомобиль с закреплеиным иа сидеиье пулеметом остановился. Из машииы вышел человек в кожаной куртке. Подиося к козырьку руку, ои спросил:

— Где командующий группой прикрытия?

— Вот, — показал Мальцев иа Дитюка.

Шагнув к Дитюку, воеиный сказал:

— Распишитесь в получеиии боевого приказа.

Дитюк раскрыл рот, словио от удушья, и умоляюще глядел то на Костииа, то на Мальцева, то иа старика Храмова.

— Я посвечу, — сказал Костии и зажег спичку. — Где расписываться?

Дитюк с мучительиым усилием взял карандаш и медлеино, не спуская молчаливого. вопрошающего взора с окружавших его людей, вывел свою подпись.

АНТОЛОГИЯ
ГЕРОИЧЕСКОГО
РАССКАЗА

К. СИМОНОВ

В СВОИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Размышления о подвиге комсомольца Анатолия Мерзлова

Я уже читал в «Комсомольской правде» и о мужественном поступке, стоившем жизни восемнадцатилетнему комсомольцу Анатолию Мерзлову, и о том, что его имя занесено в книгу Почета Центрального Комитета комсомола, когда товарищи из «Комсомольской правды» позвали меня к себе в редакцию и положили передо мной письма, пришедшие в газету.

В одном все письма сходились: их авторы, все без исключения, отдавали должное мужеству Анатолия Мерзлова. Но дальше в нескольких письмах ставился вопрос:

— Да, это, конечно, мужество. Но стоило ли его проявлять по такому поводу? Стоило ли идти на риск, как выяснилось впоследствии — смертельный, ради того, чтобы спасти из огня трактор? Можно ли равнять цену трактора с ценой человеческой жизни? Сгоревший трактор можно заменить другим, а сгоревшую человеческую жизнь другой не заменишь.

Я излагаю не текст писем, а лишь примерный ход мыслей их авторов.

Товарищи из «Комсомолки» попросили меня сказать на страницах газеты, что думаю по поводу таких писем я, человек, много писавший о войне и встречав-

ший там многих людей, неоднократно и сознательно рисковавших жизнью.

Мое первое побуждение было — ответить очень коротко, что в моем личном представлении человек, совершивший подвиг, рискуя собственной жизнью, безоговорочно прав. И что, хотя я не знаю, хватило ли бы у меня самого, в мои пятьдесят семь, решимости в подобных или схожих обстоятельствах поступить так, как поступил Мерзлов в свои восемнадцать, но я хотел бы найти в себе силы поступить так, как он, а не растеряться, как тот, второй, сорокалетний, тракторист, которого Мерзлов по-мальчишески звал дядей Колей.

Так мне сначала хотелось ответить и этим ограничиться.

Но потом я понял, что ограничиться этим не могу: для того чтобы составить собственное представление о происшедшем, а главное, о тех нравственных выводах, которые из этого следуют, мне надо сначала съездить туда, где все это было.

И вот я за двести двадцать километров от Москвы, в селе Прудские Выселки, в окрестностях старого русского города Михайлова, в котором я был в последний раз почти тридцать один год назад, в декабре сорок первого, в то утро, когда армия генерала Голикова выбила оттуда войска Гудериана.

Не сразу, а уже по дороге к Михайлову я задним числом подумал, что товарищи из «Комсомолки» в данном случае обратились ко мне, а не к другому писателю моего поколения, наверно, потому, что кто-то в газете вспомнил мою старую корреспонденцию, присланную тогда, в сорок первом, из Михайлова.

«Ну что ж, — подумал я, — они по-своему правы. Знакомые по войне места рождают в нас не только воспоминания, но и сравнения. И эти сравнения порой бывают нужны».

Позже я еще вернусь к этому. А пока попробую дать почувствовать то, что почувствовал я сам там, в селе Прудские Выселки, сначала в одной из комнаток правления колхоза, где я застал пришедших туда в обеденный перерыв мать и отца погибшего, а потом в их осиротевшем, притихшем доме, где заканчивался мой разговор с ними.

Мне, как, наверно, почти каждому немолодому человеку, несколько раз в жизни доводилось быть первым вестником непоправимого; доводилось приходить и говорить «он умер» про того, кого минуту назад считали живым.

Сейчас я разговаривал с двумя людьми, которые уже давно, больше двух месяцев, знали, что их сын умер, что его нет, но все равно меня не оставляло чувство вины перед ними. Своими вопросами я возвращал их к тому дню, когда их сын совершил то, что он совершил, и к тому дню, когда он умер, и к тем че-

тырнадцати суткам, которые пролегли между тем и другим в борьбе за его жизнь.

И не сразу, а лишь потом, где-то в середине нашего разговора, я понял, что мера моей вины, человека, расспрашивающего отца и мать об их погибшем сыне, не так велика, как мне сначала показалось. Горе их было так глубоко, что разговор еще с одним человеком, вынудившим их своими вопросами снова вслух вспоминать при нем о сыне, не мог разбередить это горе — оно с одинаковой силой и с одинаковой болью существовало внутри их и когда они говорили о нем, и когда они молчали о нем.

Нина Петровна Мерзлова и Алексей Михайлович Мерзлов, мать и отец погибшего Анатолия, люди стойкие и глубокие. И пока я говорил с ними, мне через них, через их человеческие личности, через их взгляд на жизнь, через их собственное отношение к поступку погибшего сына постепенно открывалась и личность того восемнадцатилетнего юноши, которого я уже никогда не увижу и никогда не спрошу, как он сам-то смотрит на свой поступок — стоило ли рисковать своей молодой жизнью из-за «железки», как выразился о тракторе автор одного письма.

Стойкие люди — это не те, у которых не дрогнет голос и не упадет слеза. Стойкие люди — это те, которые сами не дрогнут в трудную минуту жизни, которые сами не упадут на колени перед бедой.

Нина Петровна, вспоминая о сыне, не прятала слез, они несколько раз появлялись у нее на глазах, а иногда она вдруг улыбалась сквозь слезы, когда вспоминала какие-то милые ее сердцу, вызывавшие эту улыбку подробности детства ее сына. Улыбалась между слезами, наверное, потому, что в ее памяти существовала не только смерть сына, а вся его жизнь, со всеми ее подробностями, трогавшими и смешившими ее, а иногда удивлявшими и вызывавшими ее материнское уважение к мальчику, а потом к подростку и юноше.

Родители Анатолия Мерзлова говорили о своем сыне с уважением. Это слово точнее всего определяет то главное чувство, которое стояло за всем, что они рассказывали. Не умиление, не восхищение, а именно уважение. Он рос в их семье и вырос в человека, которого они уважали. Уважали его отношение к людям и к делу, к младшему брату и сестре, к молоденькой жене, к товарищам. Они уважали его за то, как он работал, с какой любовью и ответственностью относился к порученному ему делу и как к части этого дела — к тому старенькому, но отремонтированному им и безотказно работавшему трактору, который он решился спасти от огня. Они не изумлялись и не восхищались этим поступком своего сына. Они испытывали к своему сыну бо-

лее прочное и сильное чувство — чувство глубокого уважения.

Отец, Алексей Михайлович, не проронил слезы, когда говорил о сыне, только голос у него был медленный и трудный, голос человека, который знает, что сумеет себя сдержать, но которому это нелегко дается, и поэтому он настороже к самому себе.

Он увидел сына почти сразу же, через каких-нибудь десять минут после того, как тот, обессилев в борьбе с огнем, все-таки вырвался, выполз из пламени, в котором уже, казалось, не могло остаться ничего живого. А когда выполз, сам, прежде чем успели к нему подбежать, сорвал с себя остатки обгоревшей одежды и сам дошел до мотоцикла с коляской, сказав тому, другому, который растерялся, только три слова:

— Дядя Коля, вези!

А через несколько сот метров сзади, третьим, на мотоцикл сел работавший тут же, в поле, отец, и, пока они ехали несколько километров до районной больницы, Анатолий не крикнул, не застонал, не пожаловался отцу на то, что с ним произошло. За всю дорогу сказал только одно слово: «Прикрой», и показал обожженной рукой на свое обожженное лицо, которое нестерпимо резало встречным ветром.

И отец, пока они доехали до больницы, прикрывал от ветра, держа перед его лицом вчетверо сложенную газету.

И еще одно слово сказал отцу:

— Сам...

Это когда ему помогли вылезти из коляски у больницы и хотели понести его по лестнице на второй этаж в операционную. Но он, сказав «сам», сам поднялся на второй этаж и сам лег на операционный стол. И там, на операционном столе, молчал, терпел. И потом еще тринадцать суток, вплоть до самых последних, когда уже потерял сознание, молчал и терпел. А терпеть пришлось много. Несусветнее боли, чем от этих страшных ожогов, не придумаешь.

То самообладание, которое Анатолий Мерзлов проявил в первые страшные минуты и с которым он тринадцать суток боролся со смертью, не отчаиваясь, не жалуясь, за все время — ни при отце, ни при матери, ни при враче, ни при товарищах, ни при жене — не проронив ни одного жалобного слова, задним числом убеждало меня в том, что смертельный риск, на который пошел Мерзлов, спасая свой трактор, не был просто вспышкой мальчишеской отчаянности, мгновенным бездумным взрывом.

На смертельный риск пошел человек твердый, человек с самообладанием, решивший исполнить свой долг так, как он его

понимал, и надеявшийся, что он сумеет это сделать, сумеет оказаться победителем в этой схватке со стихией.

Самообладание было воспитано в нем всею недолгою жизнью, а мгновенность решения обусловлена обстоятельствами, ибо есть обстоятельства, в которых другие решения, кроме мгновенных, вообще исключены.

Человек, которого уже нет, вырос старшим сыном в семье, где и мать-доярка, и отец-комбайнер оба работали и по целым дням не бывали дома. С детства готовил еду себе, брату и сестренке, и готовил, по отзыву матери, хорошо. И младших держал в руках, был с ними и строг, и справедлив. Это тоже по отзыву матери. Был очень сильный парень, очень крепкий физически, но не любил ввязываться в драки и вообще ни в какое баловство. Когда мать отговаривала его идти куда-нибудь вечером: «Смотри, еще в драку втянут», отвечал коротко: «Сам не влезу, и меня не втянут». И действительно, никто никогда его ни во что худое не втянул. Никого не боялся, но и силой своей никогда не злоупотребил. Был молчаливый. Любил музыку и технику.

Мать была недовольна: «Чего это вдруг трактор будет у нас под окнами стоять?»

Отвечал, что опасается, как бы там, где оставишь трактор, кто-нибудь вдруг чего-нибудь не отвинтил.

— Так ведь если там, не дай бог, чего и отвинтят — не твой ответ,— сказала мать.— А если здесь, у дома,— тут уж на полный твой ответ!

В спор не вступал, отвечал коротко:

— Пусть стоит у дома.

Когда ребята, товарищи Анатолия, добивали, затаптывали потом огонь на поле, у одного из них обгорела голень. Когда он пришел к Анатолию в больницу, Мерзлов сказал ему:

— Покажи, как у тебя обгорело.

Наверное, хотел увидеть, как это выглядит у другого. Посмотрел и ничего не сказал. А товарищ, когда вышел, не мог успокоиться, все повторял:

— Мне вот ногу обожгло только, и то невыносимая боль, а он все терпит, такой ожог огромный, как у него, терпит! Как он только терпит? Слова не скажет!

В больнице Анатолий в первый же день спросил про свой трактор:

— Как трактор?

Трактор его не спасли и спасти не могли, но ему сказали неправду, в данном случае хорошо понятную,— что трактор более или менее в порядке, можно будет на нем работать.

— Вентиляторный ремень сгорел? — спросил Анатолий.

— Вентиляторный ремень сгорел,— сказали ему.

Да, конечно, перед лицом той борьбы между жизнью и смертью, которая шла в теле Анатолия, там, в больнице, цел или не цел трактор — не имело значения! Чтобы человек жил, люди готовы были отдать ему свою кровь и свою кожу. И что рядом с этой ценой — цена трактора?

Но для человека, лежавшего и умиравшего в больнице, было важно: цел ли его трактор? Если бы это было для него неважно, он бы не спрашивал. О неважных вещах в таких случаях редко спрашивают.

Человек, умиравший в больнице, бросался в огонь не очертя голову, он не был самоубийцей и ценил себя и свою жизнь не меньше, чем другие люди. Но в его понимании цены человека, в том числе и собственной цены, очевидно, входило понимание цены выполненного или невыполненного долга.

Он считал своим долгом спасти свой трактор и считал, что сумеет его сделать. А смертелен или не смертелен риск, на который в то или иное мгновение своей жизни идет человек, чаще всего выясняется не сразу, а потом, когда все уже совершилось.

Иногда риск оказывается не таким смертельным, как ему показалось в ту, первую, секунду, а иногда — наоборот. И вся трудность как раз в том и состоит, что меру риска невозможно заранее взвесить на медленных аптекарских весах. Когда время не ждет и надо или рисковать, или нет, тот, кто начинает слишком долго размышлять над мерой риска, в результате вообще чаще всего не рискует.

Бывает, что люди, пошедшие на оправданный или неоправданный риск и пострадавшие при этом, потом, в минуты слабости, в минуты сомнений, вспоминая, говорят о том, что они сделали: «Эх, не надо бы!»

Насколько я понял из всего услышанного мною там, в селе Прудские Выселки, от многих и разных людей, рассказывавших мне о Мерзлове, он — и это совпадало для меня с представлением о его личности и характере, возникшим из этих рассказов,— ни другим, ни самому себе не сказал: «Эх, не надо бы!»

Он сказал другое, сказал одному из пришедших к нему в больницу товарищей, молодых трактористов:

— Надо бы сиденье взять с трактора. С ним бы лучше.

Товарищ не сразу понял, что хотел сказать ему Анатолий. И переспросил.

Тогда Анатолий объяснил, что зря он не вспомнил, не сообразил там, в огне, взять это сиденье, чтобы прикрыть им лицо, когда вырывался из огня,— меньше бы лицо обгорело!

Вот о чем он жалел, умирая, этот сильный и стойкий человек. Не о том, что рискнул жизнью, а об оплошности, о том, что, совершая подвиг, при всем своем самообладании все-таки допустил эту оплошность.

Отвлекусь в прошлое. Прудские Выселки — всего в нескольких километрах от Михайлова, в котором я был тридцать один год назад.

По правде говоря, глядя на нынешний Михайлов, я не мог вспомнить, где что тогда, в сорок первом, происходило в нем и вокруг него. Нынешний еще летний, с непожелтевшей зеленью садов городок, с речкой посередине, с перекинутыми через нее мостами и мостиками, уж очень непохож был на тот зимний, разоренный. В нем и реки-то, как мне помнилось, не было, был только лед, и на льду, так же как и на улицах, сожженные и целые немецкие машины и танки, а в воздухе запах войны, гари, бензина, пороха.

В том давнем, зимнем городе не было бетонной стелы на въезде с надписью: «Воинам 10-й армии, освободившим г. Михайлов 6—7.XII.1941. 328 с—д. 330 с—д.». А через город в трескучий мороз, нахлобучив ушанки и подняв воротнички шинелей и полушубков, шли солдаты тех самых 328-й и 330-й дивизий, чьи имена сейчас вписаны в историю города.

Не было тогда и танка тридцатьчетверки, который стоит сейчас на высоком постаменте на обрыве над рекой.

На постаменте написан номер танка: 3312 — и сказано, что, изготовленный в 1942 году на одном из уральских заводов, этот танк участвовал в Сталинградской, потом в Курской битвах, потом был перевооружен более мощной пушкой и в составе 4-й гвардейской танковой армии вошел сначала в Берлин, а потом в Прагу.

Когда я подошел к этому танку, с другой стороны к нему подошел человек примерно моего возраста, в штатских брюках навыпуск и в кителе без погон, с мальчиком лет пяти или шести, должно быть внуком. Он стал вслух читать мальчику надпись, но мальчика заинтересовало другое.

— А в нем люди есть? — вдруг спросил он, глядя на танк.

— Сейчас нет,— сказал старый солдат.

И я подумал о людях, которые были в этом танке. Может быть, кто-то прошел в нем весь путь, от начала до конца, а кто-то другой влез в этот танк уже в дороге, заменяя погибших и раненых. Вряд ли от Сталинграда до Праги в танке сидели все те же самые люди! Но прошел он весь этот неимоверно долгий

путь, потому что в нем были люди; танк без людей всего-навсего очень большая железка.

Танк поставили здесь, на косогоре, не потому, что он участвовал в освобождении Михайлова — как раз в этом он не участвовал. В боях за Михайлов — думаю, что память не подводит меня,— в 10-й армии тогда, в декабре сорок первого, почти не было танков. Ездивший со мной фотокорреспондент «Красной звезды» где-то разыскал один и снял вместе с экипажем, но я сам под Михайловом танков так и не видел. Пехота и артиллерия воевали здесь почти без танков и все-таки гнали перед собой немцев, наступая по пятнадцать-двадцать километров в сутки.

Танк поставлен здесь просто в память о войне, о том, что фашистам, доходившим до Михайлова, через три с половиной года после этого пришлось подписывать акт о безоговорочной капитуляции в Берлине.

Вернувшись из Прудских Выселков, я зашел в Михайловский райвоенкомат, и там мне сказали, что в боях за Михайлов погибло 246 человек, что они похоронены в Михайлове и вокруг него в двенадцати братских могилах и что каждый год на эти могилы помянуть своих близких приезжает около ста человек с разных концов страны.

А на всей войне, за все ее четыре года, от начала и до конца, на всех ее полях сражения — от Москвы до Берлина — отдало свою жизнь за Родину около десяти тысяч человек, жителей этого Михайловского района.

И танк напоминает обо всех жизнях, отданных за Родину и здесь, под Михайловом, и под Сталинградом, и под Берлином.

Возвращаясь через Михайлов в Москву и во второй раз остановившись перед этим танком, я подумал о том, что, хотя он поставлен здесь уже несколько лет назад, когда Анатолий Мерзлов был еще мальчиком, школьником пятого или шестого класса, а все-таки после всего, что я услышал теперь о Мерзлове, в моей памяти будет связана с ним не только свежевыкрашенная охрой оградка на сельском кладбище, за которой еще нет памятника, но и этот танк, прошедший от Сталинграда до Праги.

Потому что в поступке Мерзлова есть нечто, ставящее его в моем сознании в один ряд с солдатами, заставляющее думать о нем как о человеке, не только готовом первым броситься в огонь, спасая свой трактор, но и при других обстоятельствах готовом первым подняться в атаку.

Кстати, первому подняться в атаку — это почти самое трудное, если не самое трудное на войне. И именно на это — самое трудное на войне — у Мерзлова хватило решимости, а у человека, который был там, в поле, рядом с ним, — не хватило...

Товарищи Мерзлова сказали мне, что, думая о близком призыве в армию, он, тракторист, хотел стать танкистом.

Но это просто совпадение, не в этом дело, и не об этом я думал, глядя на танк. Я думал о более важном — о солдатском характере его поступка и о том смертельном риске, на который он пошел и который дает право называть этот поступок подвигом.

Человек живет не в безвоздушном пространстве — я думал об этом, думал о Мерзлове.

Он воспитывался в семье, в которой привыкли работать смолоду: работать много, хорошо, добросовестно, с полной отдачей сил. И отец и мать Мерзлова — люди, привыкшие сполна отвечать за то дело, которое они делают, и таким же, как они, вырос их сын, вырос не в какой-нибудь другой атмосфере, а в атмосфере именно этой семьи.

Но, кроме атмосферы семьи, есть еще атмосфера страны, той земли, на которой живут и работают люди. Да, конечно, сейчас не сорок первый и не сорок пятый год. Но десять тысяч жителей той округи, того небольшого кусочка советской земли, на котором вырос и воспитался Мерзлов, отдали когда-то свою жизнь за то, чтобы эта земля осталась нашей, чтобы она не стала территорией, на которой живут рабы фашистского рейха. И хотя это было давно — это самопожертвование осталось частью атмосферы, частью того воздуха, которым с детства дышал Мерзлов. И в решительные минуты его жизни это тоже оказалось важным.

И наконец, атмосфера этого небывало трудного лета: атмосфера битвы за хлеб, достигшей такого накала, когда слово «битва» перестает быть метафорой. Я говорю не о том, что, не будь такого неимоверно жаркого лета, не будь солома, которую подгребали тракторами, такой сухой и готовой вспыхнуть, как порох, может быть, она и не вспыхнула бы и ничего бы и не произошло,— все это так! Но я говорю об атмосфере этого лета в другом смысле — она настраивала таких людей, как Мерзлов, на солдатский лад, на готовность не отступить, сделать все, что в их силах, в этой битве за хлеб.

Вот почему я говорю, что и атмосфера семьи, и атмосфера страны с ее солдатскими в самом высоком смысле этого слова традициями, и атмосфера этого лета, похожего на битву,— все

это вместе взятое сыграло свою роль в то мгновение, когда Мерзлов поступил именно так, а не иначе.

Бывают в жизни людей часы и минуты, когда Родина становится до предела конкретным и точным понятием. Иногда — это винтовка, которую, и теряя сознание, не выпускают из рук, иногда — это человек, которому отдают свою кровь, а иногда — это хлеб, которому не дают сгореть.

Не хочу, не могу, да и просто не имею права вкладывать собственные, приходящие мне в голову мысли в сознание человека, которого уже нет, которого я уже не могу спросить, что он на самом деле думал в те секунды. Но в одном я внутренне уверен: в те секунды, когда Мерзлов бросился спасать свой трактор, этот трактор был для него какой-то частицей его страны или еще точнее: его отношение к этому своему трактору было какой-то частицей его отношения к своей стране.

Были в его душе незримые нити, которые связывали одно с другим. И эти молчаливые и крепкие нити не порвались, не лопнули в душе этого человека в минуту одного из тех испытаний, когда нашу человеческую душу пробуют на разрыв.

Думая о Мерзлове, я вспомнил о Даманском. Не обо всей истории с этим маленьким островком — которую, кстати сказать, тоже не грех держать в памяти,— а о своих тогдашних разговорах с молодыми, восемнадцати-девятнадцатилетними солдатами, ровесниками или почти ровесниками Мерзлова.

Обстоятельства совершенно иные, но необходимость мгновенного решения, мгновенного действия — такая же. И решения в несхожих обстоятельствах — схожие. Наверное, поэтому я и вспомнил о них, о тех ребятах, думая о Мерзлове.

Бригадир тракторной бригады Павел Агафонович Сапожников, который когда-то ушел на войну в возрасте Мерзлова, в восемнадцать лет, и после нескольких ранений все-таки дошел до Балтики, вспоминая Мерзлова, несколько раз повторял сокрушенно:

— Не был я там в ту минуту! Только-только в другое место отлучился. Всего полчаса, как отлучился. Только-только...

И за этим горьким «только-только» я чувствовал недосказанное — то, что не раз приходилось слышать на войне: если бы был именно в эту секунду именно здесь, может быть, все было бы как-то иначе, по-другому...

Мы заговорили с Сапожниковым о «железке», о мнении тех, кто считает, что за «железку» не стоит рисковать жизнью. Сапожников стиснул большие тяжелые руки и укоризненно, даже сердито усмехнулся:

— Железка, говорите... И трактор — железка, и кран — железка, и турбина — железка. Теперь на железке вся Россия держится. Отсюда и считать надо — стоило или не стоило...

Вспоминаю сейчас эти слова Сапожникова и думаю, что да, конечно, преуменьшать цену человеческой жизни — бесчеловечно. Да, конечно, жизнь человека дороже трактора. В этом случае — дороже трактора, в другом случае — дороже чего-то другого. Все верно, все так!

А с другой стороны, спрашивается: на что способен человек, живущий в постоянном сознании того, что его жизнь дороже всего остального. Способен ли вообще что-нибудь спасти — винтовку, трактор, самолет, да и самое главное — другого, попавшего в беду человека,— тот, кто в решительное мгновение, перед тем как пойти на риск, начнет считать, что сколько стоит? Ради чего есть основания рискнуть собой, а ради чего нет?

Подозреваю, что такой человек не только трактор из огня, но и ребенка из воды не вытащит, хотя и будет при этом считать, что человеческая жизнь дороже всего на свете. Подразумевая при этом, конечно, прежде всего свою собственную жизнь. В этом-то и весь секрет!

Мать Анатолия, Нина Петровна, показала мне письма, которые приходят к ним в семью каждый день с разных концов страны. Она доярка, у нее много работы на ферме, да и дома семья — муж, двое детей, младшие брат и сестра Анатолия. Но она все-таки почти каждый вечер отвечает хотя бы на несколько писем. Отвечает, сидя в комнате, где рядом со столом, за который она садится, стоит пустая кровать, где спал погибший сын. Отвечает, полная неутихшего горя, отвечает сквозь слезы. Но все-таки отвечает. Видит в этом свой долг перед людьми, которые сочувствуют ее потере и разделяют ее собственный взгляд на сына — что как бы страшно и тяжело все потом ни обернулось, а все-таки он поступил так, как должен был поступить.

Я сидел в этой комнате и читал эти письма, многие из которых действительно невозможно оставить без ответа. Я даже переписал себе несколько из них, но приведу здесь только одно, пришедшее из Кемеровской области от молодой женщины и поразившее меня глубиной последней своей фразы.

«Я сейчас сижу пишу, а у самой слезы так и навертываются. Ведь и мой брат тоже тракторист и тоже — восемнадцать лет, он служит в армии. Да, я очень сожалею, что гибнут вот такие хорошие люди, как ваш сын. Ведь его друг не пошел спасать, а он — и даже слов не найду таких, как вас благодарить за то, что вы вырастили такого сына, верного Родине и себе».

«Верен Родине и себе». Да, пожалуй, именно эти слова выражают нравственную суть того, что сделал Анатолий Мерзлов. Сделал, потому что видел в этом своем тракторе частицу народного достояния, то есть в конечном счете — частицу Родины, и, оставаясь верным себе, не мог поступить по-другому.

Видимо, так!

Письма, полные нравственной поддержки, написанные самыми простыми и добрыми, идущими от сердца словами, идут и идут со всех концов страны в семью Мерзловых...

Но, как бы сильна ни была эта нравственная поддержка, все равно отцовское и материнское горе остается неутешным, и это тоже надо помнить, думая о горькой цене подвига, совершенного ее сыном.

Когда-то, в те времена, когда я впервые был в Михайлове, я писал в одном из своих фронтовых стихотворений:

Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей...

И вспомнил эти строки сейчас. К несчастью, это правда. Так это и есть...

В. ЛИПАТОВ

ГЕНКА ПАЛЬЦЕВ, СЫН ДМИТРИЯ ПАЛЬЦЕВА...

1

Милиционер Анискин считался самым толстым человеком в деревие. Директор маслозавода Черкашин весил сто пять килограммов, ио участковый уполномоченный был на голову выше его, намного толще, хотя, сколько весит он, никто не знал, так как сам Аиискнн говорил: «А ты попробуй взвешай меня!» Несмотря иа полноту, участковый по деревне ходнл быстро, особеино в прохладные дни, — с людьми поговорить любил, а директора маслозавода Черкашина терпеть не мог.

В деревие Аиискин работал бог зиает сколько времеии, в каком находился звaиии, жители не помнили — участковый раз в три года иадевал форму, да и то тогда, когда ездил в райои. Это объясиялось его грандиозиой толщиной, и участковый говорил: «Если я буду каждый день форму носить, то мие иикакая зарплата ие хватит!» Летом Анискин ходил в широких хлопчатобумажиых штанах, в серой рубахе, распахнутой иа седой волосатой груди, и в тапочках сорок шестого размера; в грязь ои носил кирзовые

сапоги, а зимой влезал в серые валенки, от которых его ноги, действительно, походили на слоновьи.

Когда участковый зимой шел в валенках вдоль деревни, то снежный скрип слышался от околицы до околицы, и деревенские женщины, прислушавшись, говорили: «Шесть часов времени, надо квашенку заводить!» Летом участковый поднимался в половине седьмого, и его путь по деревне отмечался запальным дыханием. С пяти-шести часов вечера до восьми участковый спал, а потом распивал чаи вприкуску — летом во дворе, а зимой — в маленькой кухоньке, где на стенке висели цветные фотографии из «Огонька».

Жена участкового, наоборот, была худа, голос имела тихий и ровный, глаза монгольские и называлась, конечно, Глафирой. Она нигде не работала и потому считалась в деревне аристократкой, хотя никто и никогда не видел ее сидящей без дела — она с утра до вечера трудилась. Глафира содержала огород, разводила живность, собирала орехи, грибы и ягоды, но милицейский дом зажиточностью не славился — кроме самого Анискина и Глафиры, в нем всегда было несколько едоков, да приходилось посылать деньги то одному сыну, то второму, то дочери, так как детей участковый старался учить долго. Дети у Глафиры рождались легко, розовощекие и здоровые...

В лето 196... года приблизительный вес Анискина оценивался в сто двадцать килограммов — не больше и не меньше обычного. Так что душным июльским днем, часа в четыре пополудни, когда оставалось немного времени до спанья, участковый спокойно шел себе длинной улицей деревни и старался прижиматься к высокому обскому яру, чтобы лицо обдувал тенистый ветерок. Река текла мирно на север, кружились бакланы, скрипя уключинами, перебиралась на противоположную сторону лодка-завозня. Река была как река, небо как небо, а под яром, фыркая, точно лошади, купались ребятишки. Увидев на крутояре громадную фигуру Анискина, они загалдели пуще прежнего, принялись обливаться водой и бегать.

— Целый день сидят в воде, это надо же придумать! — остановясь, сказал участковый.— Это надо же придумать...

Прицыкнув пустым зубом, он достал из кармана носовой платок, внимательно посмотрел на него, подумал и, широко расставив ноги, нагнулся. Участковый поднял с земли кровавый обломочек кирпича, обмотал его платком и, по-бабьи размахнувшись, бросил сверток под яр.

— Намочите! — крикнул он ребятишкам. — У меня голова не чугунная...

Когда платок упал к воде и ребятишки наперебой бросились к нему, участковый неторопливо выложил руки на пузо, склонил голову на плечо и начал туда-сюда покручивать большими пальцами. Глаза у Анискина выкатились по-рачьи, шея исчезла, он медленно-медленно, точно его придерживали, обернулся к человеку, который стоял за его спиной.

— Ну? — тихо спросил Анискин. — Ну?

— Стою! — так же тихо ответил человек.

Ему было лет двадцать пять, были на нем клетчатая рубаха и брюки галифе с сапогами, сидела на голове серая кепка, но весь — с головы до ног — он был не таким, каким должен быть человек в клетчатой ковбойке. Стекала с лица парня бледная унылость и хворь, из вырубленных худобой глазниц запально глядели иконные глаза невыразимой красоты. Но диво дивное, чудо великое начиналось ниже — немощную эту голову, тонкую ребячью шею подпирал могучий торс борца; неохватные широкие плечи, выпирала могучая грудь, стояли канцелярскими тумбами короткие ноги, а на голых руках — неизвестно для чего, неизвестно почему — вспыхивали и гасли блестящие от пота мускулы. Жило тело парня отдельно от головы, принадлежали голова и тело разным людям. «Ну и ну! — тихо подумал Анискин. — Ну как две капельки воды похож на своего отца Митрия! Ну и ну!»

— Чудной ты, Генка! — тоскливо прицыкнув зубом, сказал участковый. — Лицо у тебя ангельское, а тело волчье...

— Разве я в том виноватый, — жалобно ответил Генка. — Разве это моя вина...

— Должно быть, виноватый, — задумчиво сказал Анискин. — Был бы невиноватый, я с тобой по такой жаре не валандался бы.

Покручивая пальцами на пузе, участковый блестящими глазами смотрел на Обь, затаенно покряхтывал, и река отражалась в глазах — расплавленная на солнце вода и лодка на ней, старый осокорь на крутояре, пологая получина и ребятишки, что, карабкаясь руками и ногами по желтой глине, уже поднимались наверх. Первым вскочил на кромку земли самый бойкий и веселый из них, с мокрым платком в руке бросился к участковому и закричал восторженно:

— Намочил, намочил, дядя Анискин!

Но участковый еще несколько секунд стоял неподвижно, набычив шею и расставив ноги. Мальчишка с платком притих, согнал с лица улыбку, пошел к участковому на заскорузлых пальцах мокрых ног. Мальчишка осторожно потрогал его за вы-

ставленный локоть, подияв голову, заглянул участковому в лицо, и, расцепив руки, Анискин одну из иих положил иа плечо парнишки.

— Ах, Виталька ты, Виталька Пирогов, — сказал участковый. — Виталька ты Пирогов, Ванюшки Пирогова сын...

Потом Анискин выпрямился, приняв от мальчишки платок, сухо сказал:

— Ты, Виталька, вали купаться, а ты, Генка, завяжи платок сзади... Мне-то не видать!

Генка — парень в ковбойке и в сапогах,— дыша осторожно и запально, завязал платок на затылке участкового, отошел в сторонку и опять притих, так как Аиискин блаженио зажмурился и зябко повел плечами. С плохо выжатого платка вода текла иа широкий иос участкового, струилась по груди, заросшей седыми волосами, стекала на траву.

— Господи! — простонал Анискин. — Как хорошо-то!

В платке с четырьмя узелками походил участковый на восточиого первобытного бога.

— Вы бы искупались! — сказал Генка.

— Сам купайся!

И опять спокойно, по-слоновьи нелепо переставляя иоги, пошел по улице участковый — глядел в землю мрачно, думал тяжело и иапряженно, заметно сутулился, хотя при грандиозной толщине сутулым, конечио, не был. Не поздоровавшись, а только чуточку шевельнув бровями, он миновал деда Крылова, с палкой сидящего иа лавочке, не поглядел на окна колхозной конторы, ие улыбнулся женщине, которая с полными ведрами шла иавстречу. Безмолвно и грозно прошел участковый через половиму деревии к тому дому, где иаходилась милицейская комната. Возле калитки Анискин остановился, запустив руку меж досками, чтобы открыть вертушку, замер.

— Ну на какой хреи, Геика, ты есть такой? — тоскливо спросил он. — Вот на что ты есть такой, Генка?

Было так тихо, как может быть на краю деревни, где сразу за домами иачинаются луг, кедрачи и мелкие березы, что уступами поднимаются к кладбищу; где к последнему дому подбегает веселый ельник, деревья которого похожи на воинов в монгольских острокоиечных шапках, а желтые шишки горят чешуйками на кольчугах.

— Пройдем! — тихо сказал участковый. — Пройдем!

Зайдя в темноватую комиату, Анискии приказал Генке встать у дверей, сам сел на табуретку и выложил иа стол пудовые руки, сплошь покрытые светлыми волосами. Несколько мгиовений

участковый сидел неподвнжно, затем по-мнлицейскн выкатил глаза н с придыханием произнес:

— А?!

— Мне бы три дня пересидеть, — сказал Генка. — Мне бы только пересидеть до парохода вниз... Трн дня!

— У тебя губа не дура, Генка, — подумав, ответнл участковый. — Конечно, в понедельник придет «Пролетарий», так тебе н остается два дня, чтобы на нем смыться... У тебя губа не дура! — повторнл он и вдруг оглушительно крнкнул: — Садись! Саднсь, страма!

Вторая табуретка стояла в углу, н, заметнв ее, Генка пошел саднться — шиворот-навыворот ступалн звериные иоги, непонятно замедленно плыла литая спина, сама собой, отдельно от туловища, двнгалась к табуретке голова. Плавными, округлымн были все движения Генки, а сев, он изящными двнжениямн положил рукн на колени, по-детски вздохнул и посмотрел иа участкового преданными, ласковыми, сияющими глазамн. Он так посмотрел на Анискнна, что участковый поежился, как от холодной воды, и печально сказал:

— Истинный ты бандит, Генка... Через всю кабинету прошел, а ни одна половица не скрипнула.

Голодные, сновали по стенам мнлнцейской комнаты черные тараканы: их было много, очень много, но в обычные дни участковый Анискнн на тараканов внимания не обращал, а только нзвинялся за них перед посетнтелями и улыбался при этом. Сегодня же на тараканье царство участковый посмотрел зло, прнщурился колюче, хотя по-прежнему всматривался в самого себя. Что-то в себе самом пытался разглядеть Анискин, но не мог и от этого страдальческн морщился.

— Ты бы рассказал, Генка, чего набедокурил? — вдруг вежливо спроснл участковый. — Только ты уж не ври, касатнк, а?

— Ой, мама родиая, — обливаясь ласковой влагой, проникновенно прошептал Генка, — да когда я вам врал, дядя Аиискнн, да когда это было со мной, чтобы я вам врал...

— Всегда! — ласково ответил Анискин. — Всегда, родной!

— Ой, да неверно, да неверно! Я, может, когда по мелочам что н врал, а по-большому я завсегда правду говорил, так как скрытности во мне сроду ие было, такой я от родной моей милой мамочкн прирожденный, что на вранье неспособный н во всем перед вами, дядя Аннскнн, открытый...

Генка Пальцев пел да пел, помаргивал да помаргнвал биб-

лейскими ресницами, а участковый Анискин все дальше и дальше уходил от него. Вот уж совсем далеко-далеко дрожал заупокойный голосок Генки, застилались туманом его слова; частой, как бы комариной сеткой весь покрылся он — уже не тело и голова жили отдельно друг от друга, а Генкин отец — Дмитрий Пальцев — сидел в темной милицейской комнате. Он сидел, смотрел на Анискина глазами русской богородицы, и под участковым вдруг покачнулась табуретка, уплыл из-под ног пол... Пахнуло сырой прелью сврага, ударила в зрачки большая зеленая звезда; ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов; заболел под левым соском звездчатый шрам и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови, что текла в зеленый луч звезды...

— Тихо, тихо... — шепотом сказал Анискин и сделал рукой такое движение, точно хотел убрать с лица несуществующую паутину. — Тихо...

Они молчали минуту. Потом участковый спросил:

— Что ты сделал на хуторе, Генка?

— Бочата снял с парикмахерши, — ответил Генка. — Золотые...

— Ну!

— Она запищала, дядя Анискин, — еле слышно сказал Генка, — тогда я ее немного придушил...

— Насмерть?

— Ой, да навернос, как вы можете подумать такое, дядя Анискин, зверь я или человек, чего бы я стал ее насмерть из-за часов-то... Вы всегда что-нибудь придумаете, дядя Анискин, такое придумаете, что даже подумать страшно, не то что выговорить, прямо обидно мне на все это...

Генка пел все тише, паузы между словами делал все длиннее и понемногу вытягивал ноги, распластываясь на табуретке. Он все утишивал и утишивал голос, пока не перешел на шепот, так как участковый смотрел на Генку неподвижными задумчивыми глазами. Из них на Пальцева текло невидимое, но ощутимое, связывало Генку по рукам и ногам; в глубь Генки и через него смотрел Анискин, в печенки и в селезенки.

— Ну ладно! — сказал участковый. — Теперь я все про тебя знаю, Генка... Все знаю, ровно и не получал из райотдела телеграмму, чтобы задержать особо опасного рецидивиста... Понял, не из телеграммы узнал, а от тебя самого...

Генка теперь сидел на табуретке так, словно лежал — сползли с колен перевитые мускулами руки, обвисли ноги-тумбы, за-

острился славянский нос. Потом Генка по-рыбьи хватил ртом воздух.

— Когда пришла телеграмма?

— Третьего дня... Не думал я, что ты такой дурак!

Брезгливо, страдальчески поморщившись, участковый прицыкнул зубом и поднялся с табуретки с таким видом, как поднимается человек, которому давно надо было сделать это, но он не решался. Встав, Анискин подошел к русской печке, снял с шеста коробку с надписью «Дуст» и, вынув из нее щепотку серого порошка, посыпал припечек.

— Парикмахерша жила еще два часа, — приглушенно сказал участковый. — Ты зачем, Генка, фонарик засветил, когда ее душил?.. Дура ты, дура!.. Да с такой мордой, как у тебя, по карманам шарить нельзя, не то что по мокрому делу... Вот женщина и опознала твою фотографию... Теперь тебя, Генка, расстреляют! Это беспременно надо произвесть! — Участковый тоскливо покачал головой. — Я тридцать два года работаю в деревне милиционером, а убийц еще не было... Драки бывали, воровство случалось, а убийц... Ты первый, Генка!

— Не задерживай меня, дядя Анискин, не отдавай райотделу, — жалобно и страстно попросила Генкина голова. — Не отдавай!

Деревенская слышалась тишина: ни звука не было, ни привязочки, на которой мог бы отдохнуть напряженный слух. И только шуршали, шуршали за припечкой тараканы.

— Я никого из своих деревенских зря райотделу не отдавал, — негромко сказал участковый. — Ты вспомни, Генка, кого из деревенских я зря райотделу отдал?

— Никого! — набухнув, прошептали жаркие Генкины губы. — Никого...

— Тебя я, Генка, возьму, — еще тише продолжал участковый. — Я беспременно тебя должен взять, но я тебе дам такое условие, через которое ты можешь спастись и стать человеком, если превозмогешь трусость... А если она, трусость, сильнее тебя, Генка, то тут тебе — гроб!.. Так что решай — принимать тебе условие или нет...

— Какое условие?

— А вот какое!

Анискин прошелся по комнате, оперевшись руками в наличники, посмотрел на улицу. Увидел он светлую от солнца Обь, синие кедрачи за ней, а за кедрачами — пустоту; полтора километра было от берега до берега реки, но еще больший простор расстилался за нею, так как за Обью начинались Васюганские

болота; начинались и шли на десятки, сотни километров, ровные и унылые. Над болотами тучей висело смрадное комарье, жалобно пищали длинноногие кулики, и солнце торчало на одном месте, словно его остановили.

— Слушай мое условие, Генка! — сказал Анискин. — Даю тебе срок до двенадцати ночи или, как говорят райотдельские штукари, до ноль-ноль часов... Уходи ты до этого срока из деревни. Ты меня не видал, я тебя не видел... Уходи, Генка!

— Обласок дашь? — одними губами прошептал Генка. — Обласок...

— Ни лодку, ни обласок не дам! — жестко ответил участковый. — Ты сам знаешь, что я к ним приставил охрану... Пешком уходи, Генка!

Опять не сидел, а лежал на табурете Пальцев, но был ужс повернут лицом к окну, где лежала Обь, кедрачи за ней, а за кедрачами...

— Это ведь все равно расстрел... — прошептал Генка.

— А ты как думал! — не сразу отозвался участковый. — Ты что думал, когда душил мать двух детей?.. Но иди в болота, бог с тобой! Выйдешь живым — человеком сделаешься, погибнешь — тоже правильно будет. Сам ты теперь над собой хозяин, Генка... На этом наш разговор оконченный!

Онемев, Пальцев не шевелился — лежали перекисшим тестом на костяке мускулы, стекали на грудь звериной тоской глаза русской богородицы.

— Страшный ты, Генка, — прицыкнув зубом, сказал Анискин. — Каждый человек от страху бледнеет, а ты краснеешь, ровно хватил стакан водки...

Минут через пять Генка с табуретки встал, запинаясь ногами одна за одну, пошел к двери.

— Финыч есть? — вдруг вежливо спросил Анискин. — А, Генка!

— Ну чего же ты такое говоришь, дядя Анискин? — в дверь запел Генка. — Откуда у меня может быть финыч, вот придумаете же такое, что и подумать невозможно, что дажс обидно...

Он пел и пел, но участковый не слушал — он глазами прилип к телу Пальцева и удовлетворенно качнул головой, так как по спине Генки, от плеч к бедрам, а от бедер — к левому карману галифе прокатилась быстрая волна.

— Сволочь! — восхищенно сказал Анискин. — У тебя ведь в левом кармане пистолет, Генка... Ну совсем сделался серьезный рецидивист!

2

Старый осокорь на берегу шелестел по-дневному, Обь в синеве густела, под яром не купались ребятишки, так как шел шестой час, и уже слышалось, как на ближних покосах погуживали машины и покрикивали бабьи голоса: так бывает к вечеру, когда воздух делается прозрачным и легким. Он доносит до слуха каждый звук, и если в деревне тихо, то можно слышать пароход, который шипит за дальней излучиной Оби, крик бакланов за отмелью, до которой шесть километров, и стон кукушки в березах.

Тихо было в деревне, и участковый Анискин неподвижно стоял посередине дороги, сложив руки на пузе и медленно покручивая большими пальцами, думал: «Вот ведь до чего выдался тяжелый день, что и не знаешь, куда ногой ступить...» Он еще минуточку постоял на пыльной дороге, потом сам себе согласно кивнув головой, пошел к тому дому, что был сложен из сосновых брусьев и в котором жил учитель восьмилетней школы Филатов. Анискин приблизился к дому, но во двор заходить не стал, а подшагал под открытое окошко. Участковый прислушался и думающе наморщился, так как не мог понять, что за звук раздается в комнате, затем вдруг широко улыбнулся.

— Владимир, — позвал Анискин. — Ты бы выглянул на час... Мне с тобой побеседовать охота.

Комариный писк электрической бритвы затих, досадливо проскрипел венский стул, все убыстряясь, пробежали по полу шлепки босых ног, и учитель Филатов высунулся в окошко. Маленький, осыпанный солнечными пятнами, как веснушками, он отворачивал от участкового левую недобритую щеку.

— Доброго здоровья, Владимир Викторович! — поздоровался Анискин. — Бреетесь?

— Здравствуйте, товарищ участковый! — нехорошим голосом ответил учитель и повел худой рукой. — Прошу заходить в дом.

Но участковый Анискин в дом учителя Филатова не пошел, сделал еще шаг к окну и внимательно посмотрел в лицо Владимира Викторовича. Левая щека у математика была, конечно, недобрита, но это было пустяком по сравнению с тем, что веки у него припухли, как от пчелиного укуса, щеки были одутловаты и синюшны, а пальцы рук так дрожали, что электрическая бритва, зажатая в них, больно ударялась о подоконник. Заметив это, Владимир Викторович криво улыбнулся и спрятал бритву за спину.

— Владимир Викторович, а, Владимир Викторович, — сказал участковый. — Ты присядь на окошко, а я рядом постою...

— Спасибо! — хрипло ответил учитель. — Спасибо, но садиться на подоконник я не буду...

Он хорохорился, учитель Владимир Викторович, но посмотреть прямо в глаза Анискина не решался, пользуясь тем, что левая щека недобрита, отворачивал голову все круче и круче от участкового, пока не отвернулся совсем. Теперь стало видным его правое ухо, просвеченное солнечными лучами и от этого красное, как плакаточный кумач. «Ну, до чего хороший парень, этот учитель!» — затаенно улыбаясь, подумал Анискин.

— Это ты хорошо скумекал, Владимир Викторович! — весело сказал участковый. — Это ты здорово смикитил про электрическую бритву...

— Простите, товарищ Анискин, не понимаю...

— А чего уж тут понимать, — ответил участковый и вдруг сделался серьезным. — Тут и понимать нечего...

Приглушенным, как вечерняя деревня, стал участковый Анискин — тоже, отвернувшись от учителя, прислонился спиной к брусчатой стене, руки опустил, голову склонил на плечо. Дышал он трудно и с присвистом, кожа лица серела, а ворот рубахи широко распахнулся на седой груди. Таким был участковый, каким давно не видели его в деревне, и учитель Владимир Викторович покосился на него.

— Бессонница у меня, Владимир Викторович, третий день бессонница, — тоскливо вздохнув, сказал Анискин. — Третью ночь не сплю, по улице хожу и свою жизнь наизнанку перевертываю... Я как шубу себя вывертываю, Владимир Викторович, и нет мне от этого спа-покоя. Чего-то жалко, чего-то боязно, чего-то охота... Собаки лают, луна светит, Обишка себе течет... Тоска меня берет, Владимир Викторович, когда глазами себе за спину гляжу... — Он помолчал секундочку и, прицыкнув зубом, добавил: — Это у меня оттого, Владимир Викторович, что большое несчастье на деревне приключилось...

Подняв голову, Анискин насильственно улыбнулся, поправил пальцами седые волосы и постоял еще немножко в тихости — точно из дальней дали, из бесконечной непонятности возвращался участковый к дому из свежих брусьев, к окошку, к учителю Владимиру Викторовичу, на которого смотрел невидящими глазами. Медленно-медленно возвращался Анискин, но вернулся все-таки.

— Я ведь что про бритву-то болтал, — непонятно улыбнувшись, сказал он. — А то, Владимир Викторович, что электриче-

ской бритвой, конечно, бриться с похмелья сподручиее, чем опасной... Не порежешься, если руки дрожат...

— Товарищ Анискин! — сказал учитель. — Товарищ Анискин!

— Шестьдесят лет товарищ Анискин, — сухо ответил участковый. — А только я тебе, Владимир Викторович, всю правду скажу, раз у меня сегодня такой тяжелый день... Я, может быть, вчера бы и промолчал, но вот сегодня... Ты это чего пьешь и по ночам свою учительшу ругаешь? — гневно спросил Анискин и по-рачьи вытаращил глаза. — Это ты какое право имеешь по шестьсот грамм водки за вечер выпивать и с родной женой ругаться?..

— Я не хочу отвечать на ваши вопросы, — сказал Владимир Викторович и саркастически улыбнулся. — Не кажется ли вам, что вы переоцениваете свои права и обязанности?

Владимир Викторович уже не отстранял от участкового лица, снова вынул из-за спины дрожащие руки, как гусак, вытянул тонкую шею и шипел по-гусаковски. Маленький он был, тщедушный, и, поглядев на него повнимательней, Анискин про себя улыбнулся и подумал: «Вот так всегда бывает: чем пе плоше мужичонка, тем с бабой ведет себя ругательней!» Однако вслух участковый не улыбнулся, а покачал головой и сказал:

— Ты только не думай, Владимир Викторович, что мне твоя учительша пожаловалась. Ты ее оставь с краю, так как я сам ночью твой скандал слышал, когда под луной шатался... Большой был скандал, Владимир Викторович, далеко от твоего дома слышный...

После этих слов Анискин отошел от раскрытого окна и сел на чурбачок, что был отрезан строителями от толстого бруса. Солнце освещало участкового сбоку, большой желтый квадрат лежал на его спине, и казалось, что это не солнечный блик, а желтая заплата. Он молчал, как молчал и учитель — голова у Владимира Викторовича все еще была задрана гордо, глаза прищурены, но уже на синюшные от вчерашнего перепоя щеки наползал румянец, а губы так дрожали, точно с них рвались слова.

— Я ведь знаю, отчего ты начал пить, Владимир Викторович, — совсем тихо сказал Анискин. — Тебя этот пьянюга Черкашин каждую субботу к себе затаскивает, поит чем попало и жалится тебе на то, что его зазря с колхозных председателей спихнули... — Участковый горько хмыкнул. — Черкашин — человек злобный, вредный, и ты на него, Владимир Викторович, начинаешь походить.

— В чем же? — спросил учитель. — Нельзя ли поточнее...

Он опять криво улыбнулся, этот учитель Филатов, пожал иронически плечами, хотя и видел, что до странности необычным, на себя непохожим был участковый, — не поплясывали в серых глазах Анискина желтые искорки, не говорил он задумчиво: «Так! Эдак!» — не поворачивал лицо к светлой Оби, чтобы обдувал щеки прохладный ветер.

— Ты в том Черкашину стал родной брат, Владимир Викторович, — протяжно сказал участковый, — что в людях видишь одно плохое... Потому и жену материшь, потому и в твоем классе по арифметике семь двоек, хотя по русскому — четыре... Ты на три двойки хуже о людях думаешь, чем Евгений Самойлович, что русскому языку ребятишек учит.

Анискин замолчал — лежала желтая заплата на спине, большие и заскорузлые, висели руки, чернел меж раздвинутыми губами пустой зуб. Секунд десять сидел молча участковый, потом вдруг неярко улыбнулся.

— И ко мне ты стал несправедливый, Владимир Викторович, — сказал он. — Ну вот за что ты меня в ту субботу при Черкашине унтером Пришибеевым назвал?.. Черкашин на меня злой, что я его пуще других с председателей уводил, так неужто ты для его радости меня унизил... Ведь ты раньше ко мне, Владимир Викторович, справедливо относился.

Анискин от земли голову не поднял, но по звуку из окна понял, что учитель математики прикусил нижнюю губу, неслышно положил бритву на подоконник, сжал пальцами теплое от солнца дерево. Точно наяву увидел участковый, как покраснело маленькое лицо Владимира Викторовича, повлажнели от стыда его темные глаза и как перестали трястись от волнения его похмельные руки.

— Федор Иванович... — прошептал математик. — Федор Иванович...

— А вот Федор Иванович я лет двадцать, — улыбнулся участковый. — Сначала Федюнькой звали, потом — Федькой, потом — Федором...

Участковый встал с чурбака, медленно заложил руки за спину, но вдоль улицы не пошел, а в первый раз за все это время повернул лицо к сияющей Оби. Струился от нее, конечно, легкий ветер, пропитанный влагой, обдувал щеки участкового, открытую грудь и могучую шею. И тот же обский ветер ерошил волосы Анискина, которые были сплошь седы, но оставались густыми, как в далекой молодости.

— Я, Владимир Викторович, — сказал Анискин, — на тебя

за унтера Пришибеева не обнжаюсь теперь — молодой ты еще н глупый. Ты еще не понимаешь, в какое лучшее время живешь... Ведь раньше-то за унтера Прншнбеева... — участковый вяло махнул рукой. — Эх, да что говорить, Владнмир Внкторович!.. Молодо еще, зелено!

Не посмотрев больше на учителя, ие обернувшись нн разу назад, участковый пошел длинной улицей деревии — держал ноги косо-косо, сандалиямн оставляя на пыльной дороге круглые следы, через два шага на третнй покачивал головой. Двигался Анискин нетороплнво, но шаг у него был емкий, и вскоре он скрылся в розовом свете солнца.

3

Как всегда, участковый проснулся около восьми часов вечера, открыл глаза, полежал немножко в тншине и неподвижности, прислушнваясь к звукам дома, — похажнвала по тугим половнцам Глафнра, шепталась с подругой в соседней комнате младшая дочь Зинанда, поревывала в хлеве стельная корова. Под снтцевым пологом стояла жарища, духота, но Анискин не вспотел, так как во сне движений не делал.

Думалось участковому о разной разности — у Колотовкииых потерялся теленок, пятый день нету; Мурзины ждали сына нз армнн в отпуск, н потому вполне свободно моглн настраиваться на варку самогона; в первой брнгаде колхоза запропастились две бороны — старых, но ловких для конской запряжки; у Панкн Волошнной опять ночевал Ванька-тракторист, парень на двадцатом году, которого родителн собиралнсь женить; рыбак дядя Анисим приторговывал на сторону запрещениой к лову стерлядью... Много всякой всячнны лезло в голову Анискину, но только теперь участковый прнзнался сам себе в том, что весь этот день с утра н до вечера непрерывио и тяжело, как река обкатывает камень-голыш, ворочал он в своей большой голове простой вопрос: «Уйдет или не уйдет?»

Шел лн Аннскнн к дому учителя Владимира Внкторовича, говорил ли с нним, вспомннал лн прошлое, заваливался ли спать — маячило в мозгу неотступное: «Уйдет нлн не уйдет?» Но если раньше Аннскнн об этом не думал открыто, мысль о Генке насильственно гиал от себя, то теперь, под пологом, в прохладностн покоя, ои подумал о Пальцеве во всю силу. И как только он начал думать об этом, то понял, что и его приход к учителю, и торопливый сон под пологом, и вот теперешнее

бессмысленное лежание — все было трусливым уходом от Генки Пальцева.

На последней мысли участковый застрял надолго — вздымал и ворочал ее неотступно, впитывал и отбрасывал, чтобы снова неотступно въесться. Тысячи нитей уходили в прошлое, разили и ласкали, баюкали и будоражили; Анискин то как бы вывертывался наизнанку, то как бы собирался в комочек. Как баран в новые ворота упирался в мысль Анискин и оказывался в хороводе непонятности. «Мать твою перемать!» — наконец выругался он полушепотом и тут только заметил, что покрыт липким потом. Думая о Генке, он, оказывается, ворочался в постели, делал ненужные движения руками и ногами.

— Глафира! — звучно позвал Анискин.

Никто не отозвался, шаги не прозвучали, но в разрезе полога вдруг показалось смугло-цыганское лицо, сверкнули угрюмоватые глаза:

— Но!

— Просыпаюсь — самовар ставь!

— Самовар давно вскипелый.

Глафира исчезла так же бесшумно, как и появилась, и Анискин сердито погрозил ей вслед пальцем. «Вечно все знает!» — подумал он, сбрасывая ноги с кровати и попадая ими в разношенные сандалии.

В доме перекатывалась из комнаты в комнату тишина, обычная, но неприятная для Анискина — по вечной его занятости получалось так, что жизнь семьи проходила для него незаметно, не вокруг него, а на отдаленной параллельности. Хорошо это было или плохо — об этом никто не задумывался, так как участковый Анискин не только для своей семьи, но и для всей деревни жил тайной, непонятной, необычной жизнью. Он был так же загадочен, мало похож на человека, как тот высокочиновный генерал, что все сидит и сидит в своем кабинете.

Сегодня Анискин чаевничал, как всегда, один — блаженство, восторг, удовольствие, откровенно читались на его раскрасневшемся лице. Все было так, как обычно, но пил чай участковый не на дворе, а в кухоньке. И, зная, что живые сутки мужа крутятся в доме вокруг трех сидений за столом; вокруг завтрака, обеда и ужина, пришла в кухню и села напротив мужа жена Глафира. Спокойно, отдыхающе, тоже с блаженством на лице сидела она. Странно это было, невозможно, но худая, мосластая Глафира чем-то походила на полного мужа — то ли манерой глядеть, то ли прихмуром бровей, то ли мужской складкой на переносице.

— Помидоры кончила полоть? — скосив глаз, спросил Анискин.

— Но.

Потекли длинные уютные минуты — Анискин пил стакан за стаканом, хрустел сахаром, смачно отгрызал зубами кусочки сала и отдувался на обе стороны. Молчала и Глафира, глядя в пол, на ухо, прямая прядь черных волос, загнутый палец босой ноги — все говорило о том, что хорошо, блаженно сидеть ей рядом с мужем.

— Ботинки Федьке купила? — протяжно спросил Анискин.

— Но!

— Это почему же?

— Они почто ему из свиной кожи-то!

Опять постояла особая, принадлежащая только анискинскому дому тишина. Участковый послушал ее, хотел что-то сказать, но раздумал и махнул рукой.

— На той неделе куплю Федьке ботинки! — поняв его, сказала Глафира. — Продавщица Дуська как узнала, что Федьке надо, так заказ на район послала. Ты ее опять прижимаешь?

— А сдачи не дает ребятишкам!.. Третьего дня Петьке Сурову три копейки недодала.

— А Дарьиной Люське целый пятак! — подумав, сказала Глафира.

— Пятак? — Анискин поставил стакан на стол, грузно повернулся к жене. — Пятак?

— Но. Она думает, что если я полаилась с Дарьей, то про пятак не узнаю. А Дарья не будь дура — приди и скажи. «Мы, — говорит, — хоть с тобой и полаились, но пятак ребенку недодавать — это наглость надо иметь!» Дуська-то, поди, знат про это, то и торопится Федьке ботинки раздобыть.

— Я это дело на карандаш! — улыбнулся Анискин и покачал головой. — Ох, уж эта Дуська, Дусенька, Дусек! Куда ей деньги-то?

— Пальто ново справляет! Три-то воротника шалевых привозили, так она один ведь взяла...

— Про то я знаю.

— Что же тогда спрашиваешь, на что деньги? Думаешь, у ней воротник на третий год пойдет лежать?

— И все-то ты знаешь! — внезапно строго сказал Анискин и отвернулся от жены, которая, однако, никак не отреагировала на его изменившийся голос — сидела такая же блаженная и счастливая. Она только еще глубже стала смотреть в пол, ниже нагнула тонкую жилистую шею. Улыбка вдруг пробежала по ее впалым щекам.

— У Федьки-то уж тридцать девятый размер! — сказала она.

— А ты сороковой возьми! — после паузы отозвался Анискин. — Сама, поди, сообразила!

— Но.

И опять в молчании застыла комната. Анискин выпил еще два стакана чаю, потом решительно перевернул пустой стакан, пружинисто поднялся. Стол и табуретка заскрипели, заныл под слоновой тяжестью пол, встрепенулась, но снова замерла Глафира, которой не хотелось прерывать блаженные минуты безделья.

— Счас без пятнадцати девять! — сказал Анискин. — Пойду в колхоз — крупные делишки есть. Ты мне спать в сенках постели.

Он вытер полотенцем вспотевшее лицо, бросил полотенце на подоконник и пошел косолапо к дверям. Шел он неторопливо, как ходил всегда, и Глафира тоже не изменила положения — сидела на стуле, низко опустив голову, но, видимо, по звуку шагов поняла, что муж уже подходит к дверям.

— Анискин! — позвала Глафира.

— Но.

— Ты бы, Анискин, взял пистолет-то! — очень тихо сказала Глафира.

Анискин остановился в дверях, медленно, словно собранный на тугих шарнирах, повернулся к жене. Думал он недолго.

— Не возьму! — махнув рукой, сказал участковый. — Я его убивать не собираюсь!

4

Без пятнадцати двенадцать луна высоко висела над деревней, лунные тени укоротились так, что уже не шли за ногами Анискина, луна от желтизны походила на кусочек недорогого янтаря, вправленного в темную ткань звездной расцветки. Прохладной, светлой и легкой вызрела обычная нарымская ночь.

В темени Анискин чувствовал себя превосходно — не болело сердце, не ныли ноги, не схватывало под ложечкой сосущее чувство угасания; здоровым, бодрым, веселым ощущал участковый себя ночью и потому в молодой первозданной свежести воспринимал все, что происходило вокруг. Хорошо светила Анискину луна, пела по-молодому далекая гармошка, как бы к нему тянула лунный зигзаг Обь.

Гармошка пела волнующее: рассказывала, как собирались

комсомольцы на гражданскую войну, как пожал ои подруге руку и гляиул в девичье лицо; про небольшую рану, про мгновенную смерть рассказывала гармошка, и остаиовился Аиискин, так как о его молодости, о нем самом пела гармошка. «Смешной я, но хнтрый! — подумал участковый. — Ведь знал, когда Генкин арест обозначить — на ночь!» Помолодел от гармошки, стал даже красивым участковый уполномоченный Анискин!

Геикнн дом стоял иа окраине. Внсел на старой ветле засохшнй скворечиик, в хлеве тревожно помыкивал недавно подкастрированный бычок, сплошным золотом лежала на окнах лунная печать. Двор заполияли теин — отбрасывал их журавель-колодец, малеиькне кладовочкн н стаечкн, чуланчикн н подчуланчнкн. Словно самн по себе, а ие от луны жнлн во дворе дома эти тенн, серовато-темиые, словно не луиные. Аиискин подошел к дому, долгнм взглядом посмотрел на иего. «Эх, Мнтрнй, Митрий!» — подумал он.

Никто в деревне не знал, почему, ио в скворечннке дома Дмнтрня Пальцева н его сына Генкн ннкогда не селнлнсь скворцы. Взволнованиые, нервные птнцы прнлетали с юга в родные края, в драке и спешке заннмали подряд все скворечники в деревие, а вот скворечннк пальцевского дома облетали. «Эх, Митрнй, Мнтрнй! — опять тоскливо подумал Анискин. — Мнльоны людей Советская власть взяла в себя, а ты как был, Мнтрнй, подкулачником, так нм н остался!»

Участковый без скрипа открыл плотиую высокую калитку, вошел во двор, волоча за собой серовато-черную тень без ног. Теиь иаискосок прошнла двор, вильиула меж чулаичиками и сараюшками, замерла возле большого сарая. В открытые дверн охотно н уверенно залезал лунный свет, матово высвечивая внутренность. На одной матовости виднелнсь две зеленые точки и одна белая полоска.

Войдя в сарай, Аннскнн понял, что это такое — две зеленые точкн и одна светлая полоска. Оскалив белые зубы, с остекленевшимн глазамн сидел на перевериутом корыте Геика. Ои держал в руке матово-тусклый пнстолет, рука неловко согиулась, так что нензвестно было, куда направлено оружне. Когда проскрнпел и замер по песку Аннскнн, ствол пнстолета повернулся к участковому. Повернулся н замер.

— Убью! — сказал Генка.

Обнажив зубы, Аннскнн нехорошо улыбнулся.

— Не убьешь! — сказал он. — Раз не ушел, значнт, не убьешь! Ты такой же трус, как твой отец... Потому я решнл тебя еще попытать — сможешь ли ты стать человеком? Нет! Я даже

краешком мысли не думал, что ты уйдешь, потому и дал тебе условие... Теперь вижу, что тебя надо отдавать под расстрел!.. Убийцы от нас не уходят...

Косолапой, неторопливой походкой, шаркая задниками стоптанных сандалий, участковый пошел на Генку. Шел прямо на зияющий зрачок пистолета, шел большой, толстый, похожий на загадочного восточного бога.

А. БЫСТРОВ

МАТЬ

Узнавая о Степановых, вживаясь в их судьбы, я как бы вошел в их неказистый дом под камышовой крышей, с земляным потолком на кривом сволоке, сроднился с доброй и хлопотливой Епистимией Федоровной, ее сыновьями. Никогда не забуду, как Епистимию Федоровну мне довелось встретить.

В станицу Днепровскую собрался народ на полувековой юбилей колхоза имени Димитрова, берущего начало от коммуны «Всемирная дружба». Пришли и приехали ветераны. На площади — толпа. Встречи. Говор. Седая женщина припала головой к памятнику, вздрагивающими пальцами гладит родное имя в длинном перечне павших.

— Епистимия Федоровна... Степанова... — прошелестело вокруг меня.

К обелиску шла худенькая старушка в длинном платье-сарафане, какие носят пожилые женщины в русских деревнях, в белом платке. Она опиралась на руку единственной оставшейся в живых из ее детей дочери Валентины Ми-

хайловны. Мужа Михаила Николаевича Епистимия Федоровна похоронила в голодном тридцать третьем году.

Седая женщина посторонилась у памятника. Епистимия Федоровна подошла к каменной стене, на которой столбцом — Степанов, Степанов, Степанов...

Она прикасалась к именам сыновей, рука замирала. Мать, видимо, мысленно всматривалась в каждого.

Александр погиб спелым летом восемнадцатого года.

Первый свой хлеб убирали Степановы. Все прежние годы у пана Шкуропатского арендовали землю, батрачили на него. Советы отдали его владения хуторянам. Михаил Николаевич похлопывал мешки по тугим бокам — свои. Улыбалась, забыв про усталь, Епистимия Федоровна — будет теперь их большая семья с калачами.

Не поняли сразу, что над головой запели пули. От Тимашевской били красные. С большой могилы (кургана) со стороны Роговской — белые.

Хутор — посередине.

Борьба ставила свинцовый вопрос: с кем? Выбор стоил жизни.

Старыми порядками, которые хотели вернуть беляки, Степановы были сыты по горло. Сама Епистимия Федоровна еще девчонкой испытала горечь барского хлеба. С девяти лет пасла индюков и гусей у богатой хозяйки. Корми их, а сама голодная. Зимой, в мороз, совсем застыла во дворе, осмелилась попросить у барыни теплую юбку. Та пила чай, разомлевшая, покосилась на чернявку: «Перья за гусями собирай, почаще наклоняйся — согреешься».

Из такой же, нуждой повитой семьи и Михаил Николаевич. Взял замуж красавицу Пистиму — стали вместе делить батрацкую долю. Только и было счастья, пока гуляли свадьбу.

Хорошо, по крестьянской душе поворачивали дела ревкомы и Советы. Большевики в точку угадывали давнюю мечту мужика. Неподалеку, в монастыре, обосновалась коммуна «Всемирная дружба», голь перекатная вставала на ноги.

Но нагрянули белые. Михаил Николаевич прятался от мобилизации в камышах. Степановы стали врагами атамана.

Епистимия Федоровна так вспоминала те времена:

«Атаман знал нашу семью, как людей, настроенных против царизма и белогвардейщины, оказывавших всяческую помощь Красной Армии. Мы собирали и возили хлеб красноармейцам, укрывали их у себя в доме от белых казаков». (Из письма бывшему коммунару «Всемирной дружбы» Ф. А. Палкину.)

После перестрелки Саша поехал искать разбежавшихся лошадей. В степи его схватили белые.

«Сашу привели к атаману в Роговской избитого, атаман стал сам избивать Сашу. И вместе с ним его избивали прислужники атамана — белые казаки. Выкрутили ему руку, выбили глаза и зубы, затем расстреляли и бросили в яму, где было много казненных». (Из того же письма.)

Ему было семнадцать. Фотографий его не сохранилось.

Степановы прямо причастны к истории. С разгромом контрреволюции на Кубани они, если можно так сказать, — ведущая семья на хуторе. Первыми идут в товарищество по совместной обработке земли. А вскоре они — первые колхозники. Пятеро Степановых — первые комсомольцы.

Удивительная это была семья. Большая, дружная, открытая.

Часто, стараясь понять истоки подвига, мы ищем в прошлом героя необычные, некие микрогероические поступки, считая их первыми проявлениями его характера. Но из детства и молодости Степановых я не могу привести ни одного эффектного случая. Мои собеседники вспоминали — легко, сразу — нечто более важное и глубокое, что лежало в основе поведения Степановых: их семейную потребность жить честно, полной мерой, их горячее товарищество, заботливую любовь к матери, жизнелюбие.

— По праздникам мамаия звала нас: «Помогите испечь бублики», — Валентина Михайловна, рассказывая, уходит в себя, улыбается оживающим в памяти далеким картинам. — Кто раскатывает тесто, кто лепит баранки, кто подносит противни маме к печке... Напечем полную торбу — набегут наши друзья и подружки, к вечеру все съедим. «Дывись, пекла, пекла, и ничего нема», — будто бы удивится мамаия, а сама с утра знала, что на день не хватит.

Бывший друг детства Степановых Василий Сергеевич Скиба начал с того же:

— Какие были Степановы? А такие... Мы, ребятня, целыми днями у них толкались. Своих сколько, а тут еще нас, чужих, орава. Мать загонит всех, душ двадцать на печку, печет оладки да нам бросает.

И всем казалось, что Степановы богато живут. А всего богатства у них было — две кровати, шкаф, сундук да старая люлька, подбитая мешковиной, в которой мать всех вынянчила. Отец сам сделал. Был он у них и плотник, и бондарь, и кузнец.

Богато они жили не по достатку, а по душе.

В горелки играли у них, сказки рассказывали у них, — продолжал Василий Сергеевич. — Глядя на отца, и мы мастерили. Даже балалайку склеили. Мы той балалайке до немоты рады были.

Он покачал головой, дивясь той давней радости.

Посмотрел на нас их отец, Михаил Николаевич, и говорит: «В Тимашевской у Красного моста один человек скрипку продает. Если хотите, возите солому в станицу на продажу — будут вам деньги». Бросились мы запрягать коней. Три ночи возили — днем-то лошади в хозяйстве нужны. И вот приехали со скрипкой. Василий потом хо-ро-шо играл. А Николаю купили баян. Ну и по хутору моду взяли: кто гитару, кто мандолину своим приобрел. Васька-то собрал всех, и вышел у нас оркестр. Мало-помалу сладились. Да как еще играли! На олимпиаду ездили.

А когда стансовет конфисковал панскую дачу, мы сделали в зале сцену. Концерты давали, спектакли ставили. В пьесах Николай был мастер притворяться. Ну прямо-таки артист. В этом зале, кажись, и первое комсомольское собрание проходило. Василия избрали секретарем. Все Степановы, которые были в молодой поре, вступили.

Дружные, решительные были, — заключил В. С. Скиба, — верховодили. Но никого не обижали. Этого не было.

Отсутствие громких поступков... Тихое богатство души.

В любое время, кто хотел, шел к их колодцу за водой. Хотя в каждом подворье есть свой колодец. Вода казалась вкуснее? Просто к Степановым хотелось зайти, поговорить.

Епистимия Федоровна учила детей добру, чести, трудолюбию, все делать на совесть.

— Приехала мамаия ко мне в Ростов, — снова я возвращаюсь к воспоминаниям Валентины Михайловны, — поставила я ей любимые вареники. «Ну, Варя, — она меня так звала, — что у тебя за варенники? Как лапти. Надо чтобы вареник улыбался...» В городе она тосковала: «Весь свет в окошке. На хуторе я вышла — и с народом».

Ее простые житейские истины открывают душу светлую, праведную и такую обаятельную, покоряющую своим благородством, что и думать ни о чем не думаешь, лишь прислушиваешься, как льется мягким светом на тебя благодать материнского сердца, как растет в твоей душе ответная благодарность.

Они, эти простые в семье истины, вырастали в высокие нравственные установки личности, которые потом выдержат самые суровые испытания.

Федор работал в колхозе конюхом, потом счетоводом. В армии взяли в полковую школу. Стал командиром отделения. Приняли в комсомол. Прошел курсы младших лейтенантов, назначили командиром взвода.

Каким он был? В его личном деле сохранилась характеристика тех лет. Официальный стиль, заданная форма, но и

сквозь эту официальность видится живой представитель Степановых — с их характером, взглядами и принципами:

«Был образцом дисциплинированности, вел борьбу за железную воинскую дисциплину в группе... Много работал над собой и оказывал помощь отстающим товарищам. Пользовался авторитетом среди комсомольцев и курсантов. Поручения комсомольские выполнял с желанием. Волевые качества хорошие, инициативен, смел, решителен и обладает большой настойчивостью. Организаторские способности хорошие. Решения принимает быстро, проводит их в жизнь энергично».

Дисциплинированность Степановых — от трудолюбия, от полной отдачи делу. Так у них велось: взялся — сделай на совесть, вареник — тот чтобы улыбался...

В апреле тридцать девятого Федор «убыл по директиве». Вскоре на песчаных барханах у реки Халхин-Гол разгорелось трудное, ожесточенное сражение с японцами. Почтальон принес Епистимии Федоровне похоронку.

«Ваш сын Степанов Федор Михайлович — подлинный герой РККА. В боях за неприкосновенность нашей могучей социалистической Родины проявил себя честным, мужественным патриотом, беззаветно преданным Родине, делу коммунизма.

Он лично участвовал в боях. Был примерным, отважным бойцом и чутким товарищем.

С глубокой скорбью сообщаю Вам, что он погиб 20 августа 1939 года как герой».

Подвиг есть подвиг, независимо от того, совершен он в большой войне или в малой. Потому что не бывает большой и маленькой смерти. Его мера — за что отдана жизнь. И в поединке правый — герой.

Уже работала учительницей Валентина. Какую «выходку» выкинула она на рабфаке! Ее подружка училась на медицинском — туго у нее шло дело. Приехала подружкина мать, попросила Валентину: «Помоги». Не колебалась — вот степановская закваска! — оставила свой рабфак, перешла на медицинский. Догнала занимавшуюся с самого начала группу, «вытянула» подругу да заодно окончила курсы медсестер. Двери в медицинский институт перед ней были открыты. Но она вернулась на педагогический.

Павел тоже хотел быть учителем. Окончил педучилище в станице Ленинградской. Но надвигавшаяся гроза круто изменила его судьбу. В армии он попал во 2-е Киевское артиллерийское училище.

Это все, что о нем пока известно. В первые дни войны пропал без вести. Удалось лишь узнать: командовал взводом 141-го га-

убичного артполка 55-й стрелковой дивизии, огнем встретил фашистов на граиице.

Остальиое можно лишь представить. Потому что мы знаем, что творилось в первые дни фашистского нашествия. Верится, есть в живых одиополчане Павла Степаиова — отзовутся, расскажут, как он погиб.

Василий — первый вожак комсомольцев хутора — и в армии все переживал за дела в колхозе. «Пиши, — просил он жену Веру в письмах, — что у тебя нового, как дома, а также в колхозе». И подписывался со всегдашней своей шутливостью: «Непромокаемого полка твой разлюбезный муж».

Ему повезло — на военных дорогах встретил брата. Так обрадовались оба, что забыли узнать адреса. Пришлось писать домой:

«Видел Филю случайно. Встретились, ну, поздоровались, посиделн, иаверное, с час, поговорили — он пошел. Вы мне напишите его адрес, а то я с ним говорил, а адрес забыл спросить у него».

Два листочка в клеточку — на штемпеле число: 13.10.41. Больше письма от него ие приходили. Его тоже считали пропавшим без вести, но потом выясиилось: Василий оказался в партизаиах.

Из Днепропетровской области Вере Ивановне, жене, прислала письмо бывшая партизанка Мария Федотовна Рудая (Прнсоха).

«В партизаиском отряде, во взводе разведки он был одним из лучших бойцов, аккуратио выполиял боевые задания, — писала она. — В начале ноября его взяли каратели, держали в Покровской тюрьме. 7-го забралн и меня. Мне пришлось сидеть в одной камере с ним. В том, что сделал, не расканвался, на допросах не предавал товарищей.

15 ноября его увели из иашей камеры, и все жалели, что ушел от нас шутливый, веселый аиекдотчик. Несколько раз еще видела его в щелку. Он сообщал о ходе допросов.

Первого декабря его увезли на расстрел. Василий Михайлович не зачериил, умирая, своего имени».

Ои похоронеи в братской могиле в селе Сурско-Михайловка, иа Днепропетровщиие.

Как бы ни было тяжело, никто из Степановых ни в одиом пнсьме не пожаловался иа судьбу. Войиу они воспринимали как дело, которое надо обязательио сделать, и делать его должен не кто-то, а имснно они.

Но и иа фроите им было легче оттого, что могли ладить с людьми, были готовы к солдатскому братству.

Илья телеграфировал сестре: «Нахожусь госпитале, здоровье хорошее, поздравляю Новым годом».

Он лежал после ранения с параличом обеих рук. Потому и послал телеграмму — писать не мог. А когда пальцы на одной руке ожили, нацарапал Валентине Михайловне в Алма-Ату (была там в эвакуации):

«Одна рука пришла уже в действие. Надеюсь, скоро будет и другая работать, и я смогу снова защищать любимую Родину. Дорогая Валюша, я знаю, тебе очень трудно, но ведь, родная, все надо перенести и со всем мириться... Настанет время, мы опять встретимся. Это будет тогда, когда уничтожим всех немецких негодяев».

Читаю другое письмо и снова вижу Илью на белой подушке, под белой простыней. Ему трудно пошелохнуться, а он, кое-как прислонившись к тумбочке, пишет:

«Живу я хорошо. Нитки попались крепкие, и живот держится крепко. Правда, внутренний шов разошелся, но это не имеет большого значения. Да, скоро будем давать фрицам перцу».

«Нахожусь опять среди старых друзей и товарищей. Жизнь
2 боевая, жизнь фронтовая, жизнь кипучая, веселая. Скучать некогда и незачем. Пиши, что слышите от родного гнезда, как мама».

Слово «мама» подчеркнуто в письме.

Милая, добрая мама была с ним всюду.

«Здравствуйте, мама. Я жив, здоров. Сообщите, как живете, как здоровье. Много думаю о Вас, живу мысленно с Вами, родная мама. Часто вспоминаю дом, нашу семью».

Он был кадровым военным, окончил 1-е Саратовское автобронетанковое училище, но дом всегда оставался для него отрадой души. Валентина Михайловна написала ему из Алма-Аты о яблоках, а на него повеяло ароматом своего сада.

«Да, ты говоришь о яблоках... Как бы я сейчас покушал их. Ведь я их в этом году и не видел. Не только яблок, но и вообще никаких фруктов». И снова возвращался к суровой правде войны: «Ну ничего. Побьем фрицев, тогда — жить. Хорошо жить будем».

Командир роты 70-й отдельной танковой бригады, капитан, коммунист Илья Степанов погиб 14 июля 1943 года в бою на Курской дуге. Он похоронен в братской могиле в селе Афанасове Калужской области.

Филипп в колхозе руководил бригадой.

— Хороший был в обхождении, работящий, — соседка Степановых Екатерина Родионовна Тыщенко, и ныне живущая на хуторе, долго рассказывает о нем. — Старая хата у них обветшала, и он затеял новостройку. Жили они тогда — он с женой Алек-

сандрой и детьми, Епистимия Федоровна да последыш Сашка, в честь старшего Александра так назвали. Другие братья — кто со своими семьями, кто в армии. Саша учился в школе. Филипп остался за главу в доме.

Дела в бригаде шли ладно, хлеб родился большой. Бригада и бригадир ходили в передовиках. В апреле сорок первого «Правда» напечатала снимок — Филипп Степанов на поле озимой пшеницы.

Хату не достроил. Ушел воевать. Досадовал: война оторвала от дела.

В письмах домой спрашивал о работе в поле: «Вы, наверное, сев кончили в колхозе колосовых». И в шинели он оставался хлеборобом.

Лил на него дождь — он не тужил. На то война. Надо перенести, надо смириться. Но, промокнув до нитки, тайком вздыхал: «Как там у них, дома, крыша?»

Полз под пулями, бежал с винтовкой наперевес к вражеским траншеям — думал, как обхитрить врага, и в затишье раскладывал, что и как по домашнему хозяйству, правил домом издалека, зашифрованного полевой почтой:

«Шура, насчет питания смотрите, экономьте, чтоб было что кушать. Сейте в огороде кукурузу на зерно. Ну и хозяйничайте, а то на меня пока не надейтесь».

Рядом ходила слепая смерть. Сейчас жив, вдруг нет тебя. Раздобыл клочок бумаги, пишет Филипп жене:

«Жалей детей. Когда они вырастут, то пусть жалеют тебя и бабушку. Это мое пожелание. Если, может, меня не будет, то письмо береги, покажешь им, когда будут большие».

Александра Моисеевна сохранила письмо. Филиппа не стало. Красноармеец 699-го стрелкового полка Ф. М. Степанов в апреле сорок третьего попал в плен, умер 10 февраля сорок пятого в лагере — 326 «Форелькруз» под Падерборном.

Александра Моисеевна исполнила волю мужа — вывела детей в люди. Евгений — инженер, коммунист. Георгий работает слесарем. Чтя завет отца, они не оставляют мать без своей заботы.

Иван рос в тихой восторженности от красоты жизни. Все на хуторе было обласкано его сердцем — и хаты в зелени садов, и голубое заречье, и одинокий куст над водой. Дул ветер со степи — подставлял лицо, плыло по небу белое облачко — провожал его взглядом.

Взрывы не заглушили его поэтического чувства. Перед атакой он писал матери стихи:

Помни, мама, детство наше
В далеком хуторе глухом.
Как мы делили горе наше
Над речкой в домике своем,
Семью веселую большую,
Друзей, соседей полон дом,
Баян и скрипку удалую.
Их нежный звук. И патефон.

Команда не дала дописать. «Мама, ввиду ограниченности времени мое стихотворение это, посвященное тебе, не смог закончить. Через несколько минут начнется бой».

Его послужной список недолог: семилетка, колхозник, комсомолец (общественное поручение — уполномоченный по займу и редактор колхозной стенгазеты), старший пионервожатый, заведующий Домом пионеров, помощник секретаря райкома комсомола. Затем Орджоникидзевское Краснознаменное военное училище, комсорг роты. Отличные характеристики, отличная аттестация — все делал по-степановски добротно, честно, на совесть. Воевал с финнами, на побывку приехал победителем. И коммунистом.

Потом — снова письма, с другой войны:

«Знай, мамаия, что я до последнего дыхания буду помнить тебя и всю нашу семью. Я о вас никогда не забываю — и в дни, когда смотрим смерти в лицо. Может случиться, что мы больше не увидимся в жизни никогда. Ведь страшная здесь идет война и погибают тысячи людей, а боев впереди еще много и много. Моя последняя надежда, может, это письмо получишь, и этот кусочек бумаги будет напоминать тебе о сыне Иване и его любви к матери и ко всей нашей семье».

И замолчал. Командир пулеметного взвода 310-го стрелкового полка младший лейтенант И. М. Степанов пропал без вести в 1941 году. Позже было установлено: в братской могиле в деревне Драчково Смолевичского района Минской области похоронен партизан Степанов Иван Михайлович.

Почему партизан? В 1970 году районная газета «Ленински заклик» рассказала, что в одном из боев воинскую часть, где служил Иван Степанов, окружили фашисты. Командиры решили идти на прорыв. Степанов был тяжело ранен и попал в плен. Но ему удалось бежать. Осенью 1942 года он добрался до деревни Великий Лес Смолевичского района, остановился в доме Петра Иосифовича Норейко, у которого была дочь Мария. Молодые люди полюбили друг друга, а потом и поженились. Узнав, что в соседних лесах действуют партизаны, Иван решил, что и здесь можно бить врага...

Ивана и его жену выдал предатель. Ивана долго избивали,

допрашивали, но он ничего не сказал, только просил, чтобы отпустили Марию. Фашисты расстреляли его за деревней, на окраине леса.

Автор очерка Н. Мицкевич узнал об этом от самой Марии Петровны.

Александр — младший — «мизинчик», как его звали дома, уходил в армию последним, в сентябре сорок первого. Добровольцем. Прибежал домой — глаза горят:

— Маманя, меня берут!

Мать села на лавку, уронила руки на колени.

— Война, маманя...

Епистимия Федоровна молча пошла собирать вещевой мешок. Седьмой за четыре месяца.

Сели перед дорогой. А он, солдат завтрашний, мальчишка совсем еще, забрался на колени к матери...

Воевать Александр начал от Сталинграда.

«Мама, почему Вы тоскуете о нас? — писал он домой. — Наоборот, Вам надо гордиться тем, что у Вас столько сыновей на фронте с оружием в руках защищают любимую Родину. Скоро, мама, мы возвратимся домой с победой. А если суждено будет нам погибнуть, то знайте, что мы погибли за счастье советских людей, за мир и счастье на земле».

Светлая его юность еще не перестрадала школьные сочинения в свои, кровные слова. Но он уже видел всю серьезность войны, и природная степановская непосредственность все больше проступала в нем.

«Шура, Дуня и все, берегите маму, пусть меньше работает да за топкой ходит».

На топку в войну собирали курай — перекати-поле.

«Мама, живу я очень хорошо, обо мне не беспокойтесь — буду жив, здоров. Напишите, получили вы деньги, которые вам посылал, кажется, раза два?»

«Валя, пиши домой, чтобы мама ехала к тебе во что бы то ни стало. Понятно? Вот. Побеспокойся и поскорей, твой брат мизинец».

Война снимала «окалину» — оставалось истинное, живое. Это истинное, живое было и есть самое важное, что вело и ведет человека через все тяготы и невзгоды, на подвиг и смерть — без громких слов. Это самое важное нельзя обмануть и предать, потому что это и есть сам человек.

Ставка приказала форсировать Днепр с ходу. Рота Степанова

первой в части переправилась на правый берег, захватила семь домов на окраине села. Селище. Враг пошел в контратаку.

«Патроны кончились. Тов. Степанов продолжает в упор расстреливать наседающего врага из личного оружия, уже свыше 15 солдат и офицеров убиты, враг наседает. Тогда Степанов погибает от взрыва собственной гранаты, вместе с ним гибнет группа фашистских мерзавцев». (Из наградного листа.)

Двадцатилетнему коммунисту, старшему лейтенанту Александру Степанову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Вернулся с войны один Николай, старший сын. Епистимия Федоровна и жена Дуня на радостях не заметили его хромоту, кинулись обнимать. Сжалось сердце: очень уж худ.

Достал запылившийся баян. Попели и поплакали.

Николай пришел из госпиталя. Изрешетило осколками. Провалялся с января до августа победного года. Списали вчистую. Раны затянулись, а здоровье так и не поправилось. Умер дома. Говорят, перед смертью просил не заказывать оркестр. «Пусть кто-нибудь на баяне сыграет походный марш...»

...С затаенным дыханием я входил в дом Степановых на хуторе 1 Мая. Тот, который не достроил в свое время Филипп. В нем сейчас другие хозяева, другая обстановка. Но сохранились стены, которые видели Степановых живыми, окна, в которые к ним смотрело солнце.

«Жив» и колодец в углу двора. Я поднял крышку, в глубине сверкнул пятачок воды — достал ведром, напился через край. Представилось: они приходили с работы в колхозе и, разгоряченные, вот так же пили через край холодную воду, обливали друг другу спины.

Теперь уже никто из соседей не ходит сюда за водой. Нынешние хозяева — другие люди. Меня еле пустили: «Идут и идут, как в музей».

А почему, действительно, этот дом не музей?

Епистимия Федоровна жила в каждом из своих сыновей, и все они жили ею. Девять раз она повторилась в них. Как же велик ее девятикратный подвиг!

Какой наградой его вознаградить? Год назад «Комсомольская правда» опубликовала стихотворение:

Случай Вам непредвиденный!
Так придумай, страна,
для нее исключительно
новые ордена —

чтоб за каждого сына,
прямо так и назвать:
«За Илью», «За Василия»,
чтоб носила их мать.

Поэтическое предложение об именных орденах, понятно, всего лишь литературный образ. Но ведь эти строчки можно прочитать по-другому, без кавычек — за Илью, за Василия... За себя. Есть у нас такие ордена.

«Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью, — писали ей Маршал Советского Союза А. А. Гречко и генерал армии А. А. Епишев. — Вам шлют они сыновиее тепло своих сердец, перед Вами, простой русской женщиной, преклоняют колени».

Она умерла в феврале 1969 года. Хоронили ее с воинскими почестями на той самой площади, где я ее видел. Около величественно-скорбного обелиска с именами сыновей. Под плакучими ивами. У огня Вечной славы.

Е. НОСОВ

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Весна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным просторам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским связистом сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под соляр-

ки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах, — после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша неподвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежачим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешение снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы; белые бинты, белые халаты сестер и врачей, и этот белый, постоянно нависший над головой потолок, изученный до последней трещинки... Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь промокли от тлеющих под ними ран. Воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его усластить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей, мы просверлили в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергиваем их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам старая госпитальная нянька тетя Зина. — Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте...

С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, и

в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал, и мы, раненые, — со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой, унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишка. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении, среди этих мрачных болот, Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю меня уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки, с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, по-

вернутым ко мне спиной. Подштаиники спустили с него до колен, и мне виднелся его кострец, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, иа котором с каждой мииутой увеличивалось и расплывалось темное пятио.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расползался незнакомый вкрадчивый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал в цинковый тазик извлеченный осколок или пулю. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватиую глухоту сосиовой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго иатянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся, как-то мученически, неприязненио, красиоватыми от бессонницы глазами взгляиув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока ои приводил руки в порядок, одиа из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда произительно-госково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с иами ие играли в прятки, да и иекогда было и не было условий, чтобы щадить нас милосердием.

Обработанный солдат какие-то минуты еще остается в одиночестве иа своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Оиа произиосила это с механической одиотонностью, как, иаверное, уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежат за палаткой на сосиовых лапах. И тем, которых еще только везут сюда, и многим другим, которые в этот час находятся к западу от сосновой рощи, еще целы и невредимы, но падут вечером или иочью, завтра, через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым, запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому.

Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят. Сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, другая вытирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони...

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посредине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и, когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь, — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежащих и подавали на нары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и, хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезала едкая сырость Балтики, в щелистый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавать родную сторону по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?!», «Есть горячие щи! Щи горячие!», «Покурим, покурим! — и, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: — Самосадик я садила, сама вышла прода-а-ва-ать...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от войны.

— Иитересно, где теперь нашн? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась тоска и зависть.

Войска восточиопрусского направлення шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводкн Совннформбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были эискнми частями, и ннкто ие знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, ио мы уже как-то определнлись, или не повезло...

— На войне как в шахматах, — сказал Саша. — Е-два — е-четыре, бац! — н нету пешкн. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала иад щитком кроватн наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой.

К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешок с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а еслн и садился, то в иеудобной позе, с высоко задраииой ногой.

— Теперь мат будут ставнть без нас, — задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед, Бородухов.

— Да как-то ни то ии се... Шел-шел и инкуда ие дошел... Охота посмотреть, как Берлнн будут колошматить.

— Зато дома иаверияка будешь. А то мог бы еще два вершка схлопотать. Под самый конец.

Бородухов заметио напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он нз меленских мужнков-лесовиков, уже в летах, кряжист н матер телом, под которым тугая панцирная сетка провнсала, как веревочный гамак.

Минные осколки угодили ему в тазовую кость, ио лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранеиие, н потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетиой обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзиой путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза н подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжнла раздроблен-

ная лопатка, внутри клешни безвольно пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворотило, перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупповских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих попахивало собственным тленным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя понять и допустить собственную смерть я по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание... Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое... Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в песке. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, но страху нагоняла изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, хотя проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще все ликовало, быть может, в это самое мгновение я все еще хохотал над удиравшими танкистами — и закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями...

— А ты не балуй на войне, — резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь. — Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом».

Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в извозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, если позволяли фронтовые условия — гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какие медали... — слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин. — За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел. За четыре-то года... Повида-а-ал...

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же. В окруженье однова попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Дак и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет. Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова...

— Небось перепугался?

— Дак и страшно... А то как же.

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда. Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что... Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег; и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, обрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная

сестра Таия подсажнвалась к нему и иачинала кормнть с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живиика.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, пареиь. Вон скоро и война коичится. Пошто уж теперь зазря гинуть-то.

Копешкнн, будто виемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, ио зубов ие разнимал, крепко держал нмн свою боль, сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуреииые резцы.

— Ему бы клюквы надавнть, — говорнл Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копешкниа сестру с тарелкой на коленях. — Дак где ж ее взять... Нежели посылку нз дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот так добро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз иа имя Копешкина пришло пнсьмо — голубеиький косячок из тетрадочной обертки. Сестра поднесла коиверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спроснл Бородухов.

Подериутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлнсь в тихой медлениой улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Папаиы-то есть?

Копешкпн с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшимн крупннками гипса иа волосках, показывая остальиые трн.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таия предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам, — сказал Бородухов. — Своими-то глазамн лучше.

Косячок развернули и вставнли ему в руки.

Весь остаток дня лнсток проторчал в иедвижных руках Копешкнна, будто вложениый в станок. С ним он и спал иочью. А может быть, и не спал... Лншь на следующее утро попросил перевернуть другой стороиой и долго разглядывал обратиый адрес, где крупными иеловкнмн буквами, иаписанными послюнявленным черннльным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский райои, деревня Сухой Житеиь».

Перед маем из нашей палаты ушлн сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие иа дорогу и отправилн по домам. Это тоже означало конец войны. Раньше их иаправнлн бы в так называемый выздоравливающий батальон, на какне-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхо-

зах фураж, с тем чтобы потом, еще раз пропустив через жестокое сито комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие и там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места были привилегированными: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, кареглазыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны были и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже коротко остриженный под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу, — рассказывала нянька, — а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. «Ты что ж это, сынок, стоишь, — говорю ему, — давай, милай, помогну». Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Чего ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном, — разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу... — не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко, спрашивает, — переводил я шепот Копешкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит. — Что посеяно.

— Зеленое. Хлеб будет.

Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виделось нам, лежащим у дальней стены, — очистившемуся, синему, высокому — чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.

— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку! Доскандыбаю до своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыплются!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливчиков — Саенко и Бугаев почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они забирали курево, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и, когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганской трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы

захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Схватите пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай... Птица поет. — Михай культей обнимал Таню за плечо и подводил к подоконнику. — Слышишь, как поет? А ты говоришь — форточка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому както даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было настороженно — и слух и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник, Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Любек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери он настороженно поворачивал голову. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью?

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гул-

кой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: он был строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых случаях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду и благодаря этому получавший всяческие поблажки — лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: он похаживал в общежитие к ткачихам и не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста. «Чтобы носить эту Звезду, — сказал он ему, — одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены.

— ...выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнилы.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни ректификату йе трохы.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и будничио как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та ясно ж дило...

Шаги и голоса отдалились. «Бу-бу-бу...»

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитывали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощу-

тил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как о сук, потерся глазами о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнув с койки, Бугаев схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, просись!

Бугаев запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная. Победа, а ты дрыхнешь! Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался. Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана... — сопел Самоходка. — Я бы тебе... вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы! — окликнул Бородухов. — Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая...

Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубном, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего резиновым набалдашииком костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стеие выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам!

Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измучеииая бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли ие дважды обериутая полами халата, перехваченная пояском, оиа все еще держала руку иа выключателе, вглядываясь, что мы натворили.

— Куда это годится, все перевериули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаев! Подиимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Аиатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит...

Таия подсела к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропиичик сделаю. И всем иемедлеиио спать!

Но иикто, казалось, не в силах был утихомирить пчелиио загудевшие этажи. Где-то кричали, топали иогами, выстукивали морзянику иа батарее. Аиатолий Сергеевич ие вмешивался: наверио, поиимал, что сегодия и ои иевластен.

Меж тем за окиом все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые ликующие ракеты, и от иих по стенам и лицам ходили цветиые всполохи и причудливые теии деревьев.

Город тоже ие спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросеиок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдиую одежку — пижамные штаны нлн какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном исподнем белье, — повалнли на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окиа, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука н скрипа костылей. Нам было слышио, как госпитальный садик наполнялся бурлнвым гомоном людей, высыпавших нз соседиих домов н переулков.

— Что там, Михай?

— А-ай-ай... — качал головой молдаванни.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, внжу... Целуются, внжу...

Люди не могли иаедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне н победе. Кто-то сннзу заметил высуиувшегося Михая, послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окиа мелькнул подброшенный букет.

Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

— Да миленькие ж вы мои-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, разглядевшая Михая. — Ох да страдальцы горемычные! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо... — долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротиинушки вы мои! — продолжала вскрикивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну, не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:

Идет война народна-йя-яя...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за ним песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас...

Оркестр смолк, и сразу же, без роздыха, лихо, весело трубы ударили «Яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?!
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь!

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка —
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, йн-и-и-их...

Между тем начали митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался.

Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и с каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка, — на нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестьем по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх

жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворио, будто иа малое дитя, накииул на безрукого молдавaииia гимиастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пуговицы. — Никто иичего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасио! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреииего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узиать, какого будете чину?

— Как — «чину»? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э... — замотал головой Михай.

— Ои у иас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ннчего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотиые погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к шнроким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на храиение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Нэ надо... — покраснел Мнхай, у которого, как мы знали, имелась одна-единственная медаль «За боевые заслуги». — Чужих нэ надо.

— Какая разиица? Если у вас есть свои, то какая разиица? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, нэ хочу.

— Скромность тоже украшает. Так... Одиу секундочку. Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой деиь! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимиастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— «Отечествеииая», папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И «Славу» повесь.

— Можно и «Славу». Можно и полиого кавалера, — нимало

не смутившись, предложил старичок, видимо поняв, ~~что~~ Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал Самоходка, — как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим, — улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения.

Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивается и устраивает перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имею благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть прикидывая, какие можно к нему

применить декорацию и реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь, — сказал строго Бородухов.

— Но, может быть, он желает?

— Ничего он не желает. Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю, — старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. — Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай кончай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед... — сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце.

Саенко и Бугаев вернулись в палатку с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом, зареванная по случаю праздника, с распухшим носом, тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие, — концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. — Суп-то нынче добрый... Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то этажам выбегала, сколь носилок перетаскала — и ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилось. Аж не верится. Какого супостата одолели, какую юдолю вытерпели. Как вспомню, как вспомню....

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталося.

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товарищи! — поздравил он усталым, по-детски тонким голоском. — Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядись.

— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку. — Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

— Ни, хлопци. Нема часу. — Он вытер рукавом халата потный лоб. — У меня ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывся як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, это вино досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко осторожно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих, разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди.

Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, обещали какое-то таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли... — предложил Саенко.

— Да давайте.

— Пусть сперва Михай, — сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой. — Бугаев взял Михаев стакан. — Ты давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинув голову.

— Ну, браток... за Победу!

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы посмотрели, как Бугаев, наклонив стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень, — удовлетворенно сказал Бугаев. — Это де-

ло. Ничего, наловчишься... — Он вытер пнжамиым рукавом Михаев подбородок, по которому скользиула алая струйка н, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить. — Я одиого такого знал, как ты, так он приспособился: зубами брал стакан за край и высасывал все до доиышка!..

— Виио пить можио. А как его теперь дэлать будешь? — Михай тряхнул узлами рукавов. — Вину рукн нужны.

— Ничего, браток! Не падай духом. Жинка поможет.

— А-ай-ай... — Михай покачал головой.

— Ну будет, будет про это... — прервал Бородухов и степеино провозгласил: — Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как оиа дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладио! Живым жнть, жнвое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздииком, поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет подсиежннков, принялась кормнть его с ложки.

Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца вплесни, — посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговеется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу иа волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж этн лекари! Хуже жаидармов. Может, ему только н осталось, что посошок выпнть. Сердца у вас иету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, — решительным тоиом сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону н покачала головой.

— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь, — засмеялась Таня.

— Честное гвардейское! Я ведь к тебе, можио сказать, привык. Осталось только расписаться. — Саша заметно охмелел, да и все тоже порозовели, заблестели глазамн. — Ребята, поехали? Нашимн дружкамн будете. Такую свадьбу сварганим... Эх, н хорошо у иас, братцы! Деревня высоко-высоко, а виизу Волга... Всю вндать, на пятнадцать верст туда н сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Нэ-э, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскннул рыжие бровн. — Как что? Не был — не говорн!

— Нет, брат, — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Нэ пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую, — он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду нэ пьем, мы пиво пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копешкину бульон. — Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени... А пиво я люблю чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал, — и добавил задумчиво: — Оно, поди, теперь не из чего варить...

Таня кое-как покормила Копешкина и ушла.

Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири.

Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаев — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле», — думал я, слушая разговоры.

Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника.

Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю...

— Тише, ребята... — Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Копешкин поморщился.

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?

Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял... — Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну, и что там у вас?

— Хорошо тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Где-то там, в неведомом краю, стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина она — центр мироздания.

Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов. Вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевер-

нутый венок. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копешкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с вниманием разглядывал рисунок.

Потом прошептал:

— Домок, прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.

Копешкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшегося кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжело вздыхал между песнями и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житене.

Но Копешкина уже не было...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую, промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим, отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную, праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое нечто, именуемое прахом. И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. —

Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился...

Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт.

— Ох ты, — проговорила нянька, подняла с пола сброшенную санитарами картинку с копешкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, — такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о Победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них... Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном... — сказал Саша.

— Ну... прости-прощай, брат Иван, — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку. — Вечная тебе память...

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

П. НИЛИН

МОДИСТКА ИЗ КРАСНОЯРСКА

Между Буером и Ревякой тайга не такая уж широкая. Но все-таки в конце зимы, после неудачного боя под Дударями, партизанам пришлось пробираться через нее двое суток. И казалось людям, что за всю гражданскую войну более гиблого места они не встречали во всей Сибири.

Люди истомились, изорвались, изголодались. И когда на вторые сутки пути ветер принес из деревни запах домашнего дыма, многие уже не могли идти.

А некоторые пошли быстрее.

Выбиваясь из последних сил, они яростно рубили и ломали ветки, заграждавшие путь, до крови раздирали о сучья руки и лица, карабкались на горы валежника, проваливались в глубокий, сверху обледенелый снег и снова карабкались.

Запах домашнего дыма горячил сердца.

Лес постепенно редел. Попадались свежеспиленные лиственницы, обуглившиеся пни. И наконец из-за деревьев выглянула маленькая нарядная церковь. Она, правда, вы-

глянула на одно мгновение — метель тотчас же заволокла ее.

Люди шли навстречу этой последней, предвесенней метели, цепляясь друг за друга. Шли так час, или два, или сорок минут. И вот когда они почти потеряли надежду набрести на жилье, перед ними совсем неожиданно выросла изба.

Может, это была последняя изба на всем свете. После неудачного боя, тяжелого отступления через тайгу мир казался опустошенным, мертвым.

Избу завалило снегом по самые окна, замело все подступы к ней и ступеньки высокого крыльца. Непонятно даже, живет ли кто-нибудь здесь. Да это и неважно. Важно, что это изба. И люди устремились к ней по глубокому, распушенному метелью снегу.

Их было девять — все, что осталось от третьего взвода. А где их командир, никто не знает. Может, он отстал. Может, его убили. Или, может, он собирает разбежавшихся бойцов. Народ был случайный во взводе, недавно собранный, еще не обстрелянный, и вдруг попали всем скопом в такую мясорубку под Дударями. Мало, наверно, кто выберется из тайги. А тот, кто выберется, будет до смерти вспоминать эти самые Дудари.

Но пока вспоминать еще рано. Надо хотя бы обогреться, обсушиться, передохнуть.

Девять измученных бойцов забрались на высокое крыльцо и вторглись в огромные сени, разделившие избу на две половины — направо дверь и налево дверь. Налево дверь наглухо затворена, не достучишься, а ломать ее нелегко. Да и незачем ломать: направо дверь открыта. Здесь, должно быть, гостевая половина. В ней просторно и не холодно. На столе — потушенная лампа, на полу — солома. В углу — иконы.

Ни у кого уже не было сил лезть на широкую, чуть теплую печь. Полез один Семка Галкин. Он забился в самый теплый угол. Остальные полегли на полу.

Они, думалось, теперь будут спать неделю, месяц, год, пока не отдохнут, не наберутся сил.

Но вот метель утихла, и внезапная тишина разбудила людей. Снова уснуть было невозможно; в духоте разомлевшее тело стало ныть и зудеть.

Им бы в баню сейчас хорошо. У сибиряков бани — первое средство от всех болезней, даже от тоски. Но где ее искать тут, баню?

Люди лежали в разных углах и молчали. Не хотелось ни говорить, ни думать. И спать не хотелось. А надо бы спать: впереди еще ночь длинная.

На печке зашевелился Семка Галкин. Он почесался, повздыхал. Потом неожиданно громко чихнул и сказал сам себе:

— Будьте здоровы, Семен Терентьич! Двести бы тысяч вам на мелкие расходы!

И, по-стариковски солидно крякая, слез с печки.

В избе по-прежнему было темно и тихо. Только пол скрипел под ногами.

Семка лениво потянулся, сладко зевнул и сказал вздыхая:

— Н-да... Выходит, правильно говорится в песне: судьба играет человеком, она изменчива всегда — то вознесет его высоко, то опять же бросит в бездну навсегда.

Никто не отозвался.

Осторожно шагая, чтобы не наступить на лежащих на полу, Семка пробрался на середину избы, нашарил на столе у стены лампу, зажег ее и, сев на табуретку, стащил с себя рубаху.

Лампа слабо горела. Семка подкручивал фитиль и все ближе придвигался к лампе, как бы стараясь собрать в свою давно не стиранную рубаху весь ее бедный свет.

Вдруг он услышал у себя за спиной сердитый голос.

— Застишь!

Семка вздрогнул и оглянулся. Около него, неслышно придвинувшись, уже сидел, также сняв рубаху, старик Захарычев. Он ворчал:

— Ты что ж думаешь, французский крендель, для тебя, что ли, одного лампа поставлена?

— Я ничего не думаю, — сказал Семка, — я только удивляюсь: неужели ж она сейчас потухнет? — И кивнул на лампу. — Керосину-то в ней самая чуточка.

Но старик Захарычев, занятый своим делом, промолчал. И все остальные, собравшиеся вокруг лампы, промолчали.

Семка опять вздохнул. Потом, ни к кому не обращаясь, уж совсем некстати сообщил:

— Мамаша моя, Прасковья Федоровна Галкина, живет в Иркутске, на Шалашинковской улице. Ежели кто поедет в наш город, могу дать точный адрес...

Все, наверно, оставили где-нибудь мамашу, жену или отца. Но Семка Галкин заговорил о своей матери так, точно равной ей не было. Очень, оказывается, выдающаяся у него мамаша. Он вспомнил, какие она делала пельмени, какие шаньги пекла. Но эти воспоминания о пельменях и шаньгах были, как видно, неприятны людям, сидевшим вокруг лампы. Обременительны иногда для солдатских сердец мирные воспоминания.

— Будет брехать-то ерунду! — поглядел на Семку искоса рыжий мужик Енотов Яков. — Для чего это нужны глупости

про пельмени, когда их нету и не предвидится в скором времени?

— А вот я, может, на побывку в Иркутск поеду, — сказал Семка. — Может, меня специально отпустят из отряда на побывку. Неужели же меня моя мамаша не покормит в таком случае пельменями?

— Она что, купчиха, твоя мамаша? — сердито спросил старик Захарычев.

— Зачем купчиха! — обиделся Семка. — Она обыкновенная женщина. На кожевенном заводе работает...

И он продолжал вспоминать, бередя свою и чужие души. Он говорил, что в Иркутске сейчас, наверно, картины показывают в иллюзионе Донателло или Ягжоглу на Большой улице. В цирке Изако, наверно, еще борются сейчас Иван Яго с японцем Саракики. Интересно: кто кого? И вообще интересно: как сейчас в Иркутске?

— Белые сейчас в Иркутске, — проворчал Захарычев. — Белые. Колчаковцы. Вот ежели мы их вышибем оттуда, тогда и будет разговор. Про пельмени.

— О-о, это долгая песня! — махнул рукой Семка. — Когда их теперь вышибешь. А покамест они нас вон куда загнали...

— Ты что, агитацней занимаешься? — нахмурился Захарычев. — Ты это брось...

— Да я ничего, я просто так, — чуть оробел Семка. — Я просто вспоминаю, как я лично жил...

У Семки Галкина в Иркутске на конфетной фабрике есть, между прочим, девушка, Вера Табабыкина. И про нее он тоже вспомнил вслух.

Но ведь у всех есть девушки, жены, матери. Или были. И все бойцы сидят сейчас мрачные вокруг угасающей лампы. Все делают вид, что не слушают Семку. Но слова его беспокоят всех.

Наконец он, надев рубаху, уходит от лампы. Опять залезает на холодную печку и сидит там один. Может быть, он продолжает думать об Иркутске.

Долго его не слышно. В избе становится еще тише. В лампе догорает последний керосин. Лампа потрескивает. И вдруг Семка, ни к кому не обращаясь, говорит:

— Потухнет скоро лампа.

Над этим, наверно, многие уже думали. Однако никто не решался это сказать. Семка сказал. И от слов его стало еще тоскливее.

В самом деле, как быть, если потухнет лампа?

А Семка свешивает с печки лохматую голову и говорит:

— Сейчас потухнет. Я же вижу. В ней керосину осталось петуху секретную часть помазать. Перед пасхой.

— Не каркай, шалопай! — оглянулся на него старик Захарычев. — Она погорит еще, бог даст.

И всех немного успокаивает эта надежда на бога, в которого многие давно уже не веруют.

Выйти бы на улицу, поискать чего-нибудь насчет еды. Давно не ели. Но все сидят голые, и никто не собирается на улицу.

А Семка Галкин по-прежнему лежит на печке и опять, ни к кому не обращаясь, говорит:

— У меня ведь судорога правой ноги. Мне по-настоящему-то полный отдых надо дать. Всему телу.

Никто не откликается и на эти слова.

За окнами слышен неясный, далекий шум. Он то затихает, то возникает вновь, то отдаляется, то приближается. Это, наверно, входят в деревню те, кто следом за этой девяткой бойцов выбрался из тайги. Они проходят мимо избы туда, дальше, в глубь деревни. Изредка слышно, как бойцы в гулком ночном воздухе перекликаются охрипшими голосами. И командирские голоса слышны. Командиры, должно быть, уже наводят воинский порядок, расставляют посты.

Скоро и из этой избы обязательно кого-нибудь пошлют в караул. Вот почему Семка и заговорил о своей ноге. Никому ведь не хочется идти в ночное охранение. Не хочется даже думать об этом.

И действительно, какие уж они теперь бойцы! Одежонка у них рваная, валенки разбитые, тела истомленные. Им бы домой сейчас. Да и домой-то едва ли они доберутся в таком состоянии.

На крыльце застучали чьи-то ноги в мерзлых валенках. Кто-то хозяйственно счищал с них снег и при этом яростно притопывал, сотрясая шаткое крыльцо. Ни у кого не было сомнения, что это идет командир Базыкин, Ерофей Кузьмич. Значит, он нашелся все-таки. И их нашел, своих бойцов.

Все настороженно взглянули на дверь.

Плотно притворенная и чуть пристывшая, она долго не отворялась, только взвизгивала, когда ее дергали снаружи. Наконец распахнулась со звоном и скрипом, и из морозного облака, ворвавшегося в избу, вышли на свет угасающей лампы две фигуры, старичок и юноша — Авдей Петрович Икрянцев и неразлучный с ним племянник Ванюшка Ляйтишев.

— Это чего такое? — спросил Авдей Петрович, забыв, должно быть, поздороваться. И строго посмотрел на всех. — Чистые, ей-богу, французы...

— Почему французы? — обиделся за всех старик Захарычев.

— По сбличию, — сказал Авдей Петрович. — По обличию вы, я гляжу, похожи на французов, какие они были в одна тысяча восемьсот двенадцатом году под Москвой. Есть даже такая картина — мерзлые французы. И вот вы тоже...

Захарычев, как, наверно, все здесь сидевшие, был задет этими словами. Но достойно ответить Икрницеву не сумел. И никто, должно быть, не сумел ответить. Или не хотели отвечать.

А Икринцев дальше спрашивал, уже посмеиваясь, почему эти партизаны так тихо сидят, почему их в деревне не видно, почему у них печка холодная.

— Разве положено военным лицам вот этак сидеть — без движения?

В голосе его проскальзывали начальнические нотки, хотя начальником Авдей Петрович никогда не был.

Он хотя и служил в разведке у знаменитого Башлыкова, но был, в сущности, таким же, как все, рядовым. И так же, как все, только что совершил отступление через тайгу, так же, как все, увязал в глубоких обледеневших сугробах, так же, как все, карабкался на горы бурелома.

Но полушубок на нем, и шапка, и валенки были сейчас заметно исправнее, чем у всех. Будто он вышел не из тайги, а приехал с ярмарки. И молодцеватый вид его внушал уважение.

Даже больше того. Все почему-то почувствовали себя немножко виноватыми перед ним, таким крепким, самостоятельным старником. Все стали поспешно одеваться.

А Авдей Петрович уже откровенно командовал.

Еще раз пощупав печку, он сказал, что ее сейчас же надо топить, просто немедленно.

— Надо хворост пойти собрать. Тут вон, глядите-ка, какие жерди лежат у избы под снегом. Надо бы их вытащить из-под снега, переломать. Вот тебе и дрова...

Перед ним, удивленно глядя на него, стоял, подогнув одну ногу, Семка Галкин.

Авдей Петрович кивнул на него.

— Вот ты, молодой человек, например, чего стоишь? Сходил бы хворосту принес. Ведь оно для всех, тепло, необходимо. Даже птица, хотя бы воробей, заботится об своем тепле...

— Воробей тут ни при чем, — сказал Семка, растягивая слова. — А у меня, понимаешь ли, какое дело — судорога правой ноги. Наверно, надо так считать, что ревматизм развивается. Меня сейчас палкой гони обратно через тайгу, я ни за что десяти шагов не сделаю...

Ои сказал это как бы с сожалениемм, но и с оттеиком гордости. И покосился на Ванюшку Ляйтишева, на племянника Авдея Петровича.

— Так чего ж ты тут находишься? — обеспокоеино спросил Ванюшка. — Тебе в таком случае немедленно надо на курорт ехать, на кислые воды. Разве же тебе можно воевать в таком положении? Ты же тяжелобольиой герой об одной иоге...

Все отрадио хохотиули.

— А в чем дело? — покраснел Семка Галкин. — Откуда вы такие явились? Может, я действительно болею...

— Так лезь скорее на печку, — посоветовал Ванюшка. — Лезь, я тебя подсажу...

— Будя, лобанчик, — остановил племянника Авдей Петрович, — не коифузь молодого человека. Он еще сам одумается...

— Да он меня и не оконфузит никогда, — сказал Семка. — Подумаешь... И правда, лобаичик, — усмехнулся он, поглядев на излишне выпуклый лоб Ванюшки, когда тот снял свою лохматую японскую шапку и хлопиул ею об стол:

— Трофейиая.

Белобрысый, малеиький, курносый, Ванюшка смотрел на людей исподлобья, ио не сердито, а весело, озорно.

Скиивув полушубок и оправив рубаху под ремнем, он опять повериулся к Семке.

— У иас в Чите жил один такой...

— Ах, вы из Читы? — почему-то удивился Семка.

— Вот именно, — подтвердил Ванюшка. — Так вот, у нас в Чите жил один такой царский генерал Хрубилов. У него вот тоже такая же, как у тебя, болезнь была. Ои ходил вот эдак...

И Ванюшка ловко изобразил, как передвигался генерал на развииченных ногах.

Все опять засмеялись.

— Будя! — уже строго крикнул иа племянника Авдей Петрович. — Нашел себе занятие! — И спросил Семку: — А ты чего, молодой человек, правда, ходить не можешь?

— Да ну вас! — отмахиулся Семка.

И вышел на улицу в одной рубахе.

Минут через пять ои принес охапку хвороста и сердито бросил ее у печки.

Потом другие пошли за хворостом. И скоро у печки выросла гора дров.

— А ты чего за дровами не идешь? — спросил Семка Ванюшку. — Или тебе не положено? Все фокусы показываешь, насмешки строишь. Вудто шибко образоваиный. Не люблю я таких людей...

— Каких? — поинтересовался Ванюшка, прищурившись.

— Вот как ты с дядей, — показал на старика Семка. — Он тоже вон всех поучает, это... как это... экзамеиует... А самн-то вы...

— За дядю я ручаться не могу, — улыбнулся Ванюшка, — я меня, если я захочу, ты можешь очеиь сильно полюбить. Прямо сразу. — И еще хотел что-то сказать, но его отозвал дядя.

Дядя уже растопил плиту, отыскал ведро и послал племянника за водой. А сам пошел во вторую половину избы, к хозяевам, поспрошать, нет ли у них посудины какой-нибудь чая вскипятить.

Хозяева сидели на своей половиие, как куры, нахохлившись. Их испугал шум передвижения войска, и они делали вид, что спят. Так лучше всего. Неизвестио ведь, что за люди вошли в деревню. На прошлой неделе тут проходили японцы, ловили гусей, озоровали с девками, одного человека повесили. Потом появились какие-то новые — американцы, что ли, в толстых, шнурованиых башмаках, крупиые, гладкие, как сытые кони, увели с собой двух женщин, сказали, что накажут за агитацию. А теперь опять вот какие-то люди пришли...

Авдей Петрович разговорился с хозяевами. Они подивились, что такой старик тоже воюет, послушали краткий его рассказ про войну и еще подивились. Оказалось, что по годам он чуть ли не старше хозяйского дедушки, еле живого от древности. А молодых-то мужиков в деревне не осталось. Все воюют. Что ж делать?

В конце концов хозяйка вынесла партизаиам несколько кружков мороженого молока, чугун вареной картошки, две буханки хлеба и три копчеиые рыбины.

Авдей Петровнч все это порезал, поколол, поделил. Уселся среди бойцов, во главе стола, у все еще горящей лампы, как председатель.

И вот теперь, когда ои скинул полушубок и расстегнул ворот на рубашке, показав свою черно-коричиевую шею, всем стало заметио, что он очень старый старичок, совсем старый, что лет ему, на взгляд, может быть, сто, а может, и того больше.

Убеждали в этом особенно его глаза — небольшие, но необыкновеино глубокие, с запрятанным где-то на самом дне все еще живым, озорным огоньком, будто разгоравшимся сейчас, в чахлом свете лампы. Повидали, наверно, эти глаза иа своем веку с чертову бездну всякого. И когда он остаиавливает их на ком-нибудь, кажется, что он зиает про этого человека все и хо-

чет еще узиать только какую-нибудь уж вовсе пустячную мелочь.

Никто не выдерживает долго его взгляда. Все оии отворачиваются или опускают глаза. И всем почему-то неловко при этом, чего-то стыдно, хотя ои иикого прямо не осуждает. Он спокойно пьет из блюдечка жидкий морковиый чай и говорит:

— Служил я верой и правдой двум российским государям. Был даже уитер-офицером драгуиского его сиятельства графа Голенищева-Кутузова полка. Вот как. На коиях, зиачит, ездил. Конный солдат был. Как говорится, драгун. А теперь я окончательно пеший. Вот какое дело. И ничего...

Выпив кружку чая и иаливая себе новую, он опять говорит:

— Зубы у меия, слава богу, целые. Ноги еще тоже хорошо ходят. Бог даст, и эту войиу отвоюю. А там видать будет, что будет. Помирать пока неохота. Не вижу пока надобности помирать...

Старик Захарычев томится от желаиия тоже что-иибудь такое сказать. Но долго ему ие удается перебить Икриицева. Накоиец ои улучает такую возможиость, когда Икринцев закуривает.

— Ноги — это действительно значеиие имеют, — многозначительио подиимает палец Захарычев. — А зубы... Я, например, свои зубы иа коидитерском товаре съел. Я кондитером служил. И теперь у меия своих собствеииых зубов осталось восемь штук. Но я об них не тужу. Зубы завсегда можио новые вставить. Допустим, золотые. Даже красивше. Вот я три штуки вставил еще в шестнадцатом году. — И Захарычев оскаливается, чтобы все могли увидеть, какие у иего зубы.

Должио быть, ему хочется хоть в чем-нибудь проявить свое превосходство иад этим старичком Икриицевым, который вдруг не только завладел всеобщим вииманием, но и как будто приобретает власть иад людьми.

— А теперь уж, как белых разобьем, я остальиые вставлю, — продолжает Захарычев. — Тоже обязательно золотые. Такая у меия мечта...

— Не богатая мечта, — замечает Икринцев и прячет в жиденьких усах усмешку. — Ну что ж, каждый сам в свою силу мечтает. — И, подкручивая фитиль у лампы, смотрит, щуря выцветшие глаза, на племяииика. — Ты бы, лобаичик, сходил иа деревню, поспрошал керосинчику. Может, у кого иайдется. У наших хозяев, вон видишь, я испытывал — нету.

Лампа, на удивление, все еще горела, ио все хуже и хуже. Ваиюшка Ляйтишев оделся и вышел иа улицу.

Захарычев, скрыв обиду, сиова заговорил о преимуществах

золотых зубов над костяными, настоящими. Но его никто не слушал. Да и он, видимо, понял, что тема эта не ахти какая важная. И замолчал.

Вскоре лампа потухла.

Впотьмах люди опять сидели угрюмые, разобщенные. Семка Галкин снова залез на печку и, повозившись недолго, кажется, задремал.

Старик Захарычев в углу стал тихо читать молитву, готовясь ко сну.

Остальные продолжали сидеть за столом, хотя чай давно был допит. Сидели и молчали.

Авдей Петрович вспомнил:

— У меня, ребята, есть книга хорошая. Братья Гримм. Сказка. Я ее постоянно с собой ношу. Вот бы почитали сейчас!

Авдей Петрович вынул книжку из сумки. Она была аккуратно завернута в клеенку. Он развернул ее. Но читать было невозможно — темно.

Авдей Петрович вздохнул. И за ним вздохнули все. И Семка Галкин вздохнул на печке. И старик Захарычев. Хотя каждый вздохнул, может быть, по своему поводу.

В это время дверь, неплотно закрытая, отворилась, и в темноту опасливо вошла девушка, укутанная в шаль.

— Здравствуйте, солдатики, — сказала девушка голосом нежным и доверчивым.

Из темноты, однако, никто не отозвался.

— Не «солдатики», — наконец медленно проговорил Семка Галкин с печки, — а «товарищи военные». Надо знать...

— Ну, военные, — поправилась девушка и уселась на табуретку, которая была ближе к двери. — Я к вам зашла на минутку. Может, вы мне чего присоветуете?

Человек пять сразу окружили девушку, разглядывая ее. Но она сидела не шевелясь и не раскутываясь, робкая, должно быть, очень молодая.

— Я к брату сюда приехала, — несмело рассказывала она. — А брата нету. Он, говорят, к партизанам ушел. А я сама из города Красноярска приехала. Я там модисткой работаю. Ну куда мне теперь деваться?

Девушка склонила голову, пошевелила шаль. Похоже, утерла или смахнула слезу.

Суровые сердца дрогнули.

Семка Галкин поспешно слез с печки.

Старик Захарычев предложил девушке:

— Да ты раздевайся, чего же... Можешь пока остаться у

нас. Погреешься. Покушаешь вот, чего у нас тут есть, — показал он на стол.

— Боюсь я, товарищи военные, — жалобно сказала девушка.

— Кого же ты боишься?

— Вас боюсь, товарищи военные. Вдруг вы меня обескуражите...

— Ну уж, обескуражим! — возмутился старик Захарычев. — Что мы, звери какие-нибудь, что ли?

И Авдей Петрович вмешался в разговор:

— Ты, девушка, не опасайся. Мы ведь не японцы какие и не кто-нибудь. Мы есть красные бойцы, партизаны. Разве мы можем себе такую глупость позволить?

— Вы-то, видать, старичок, — ответила девушка тоненьким голоском. — Вас-то я нисколечко не боюсь. А вот эти, которые помоложе...

Авдей Петрович заметно обиделся, отошел к окну, замолчал.

Другие продолжали уговаривать девушку снять шаль, попить еще теплого чайку. Это с мороза хорошо — отогреть душу.

Но девушка была непреклонна.

Тогда Семка Галкин сказал:

— За всех я, конечно, не могу говорить и тем более ручаться. Но за себя я отвечаю. Залезай вон на печку, там тепло, уютно. Я даю тебе честное политическое слово, что я тебя не обижу. Я сознательный...

И горло его сжала спазма, голос задрожал.

Но девица только хихикнула.

Семка Галкин, однако, не обиделся и не отошел от нее. Дрожа всем телом, он стал шептать ей что-то на ухо.

Девушка доверчиво наклонила к нему голову. Потом вдруг слегка отвернула шаль и сказала довольно громко:

— Если бы вы меня полюбили, тогда другой разговор...

— А я тебя полюблю, — жарким шепотом пообещал Семка. — Я даю тебе слово...

— Все равно, — вздохнула девушка. — Военным никак нельзя верить. Сегодня вы здесь, а завтра опять же в другом месте. И, во-первых, я не допускаю, что вы можете меня полюбить с первого взгляда...

Семка снова стал шептать ей в ухо что-то такое, чего не могли расслышать даже те, кто ближе всех стоял к ним. И опять сказал вслух:

— Я даю тебе слово. Я же сам из Иркутска. Я ничего не скрываю...

Но и после этих горячих заверений девушка не сдвинулась с места и еще плотнее укуталась в шаль.

В избе стало тихо, как-то особенно тихо.

И в тишине, как выстрел, прозвучал плевок Авдея Петровича.

— Где ж он, песий сын? — сказал Авдей Петрович про племянника и снова плюнул. — Глядите, как облепили девицу! Глядеть даже некрасиво. Срам...

И отвернулся к окну.

Девушка по-прежнему сидела на табуретке.

Семка Галкин опять зашептал ей что-то на ухо.

Авдей Петрович надел полушубок, стал подпоясываться.

— Пойду поищу его, поросенка. Где он может быть?

И только Авдей Петрович взялся за дверную скобу, как девушка вынула из-за пазухи бутыль с керосином и протянула ему.

— Вот вам, дядечка.

Потом она сбросила с себя шаль, распахнула полушубок. И все увидели Ванюшку Ляйтишева.

— Ах ты, подлая душа! — огорчился Авдей Петрович. — Даже родного дядю не пожалел, охальник! Говорит: «Вы старичок, я вас не опасаюсь». Вроде получается, я совсем уж не опасный и никуда не гожусь?..

И не мог сдержаться, захохотал, когда захохотали все.

Семка Галкин, сконфуженный, растерянный, полез на печку.

— А чего он говорил тебе на ухо? — спросил Ванюшку старик Захарычев, кивнув на Семку.

— Это секрет, — сказал Ванюшка. — Я чужих секретов не выдаю.

Отдышавшись на печке, Семка тоже засмеялся, как бы желая оправдаться.

— Мне сперва подумалось: может, действительно это модистка? Ну и что ж особенного?

— А уверял, что никогда не полюбишь меня, — напомнил Ванюшка. — А ведь без малого почти что полюбил...

Авдей Петрович опять зажег лампу.

В избе стало светло, просторно и весело. Общий смех взбодрил людей, освежил.

— Прямо как спектакль устроил, — похвалил Ванюшку сердитый Енотов. — Не хуже, как я в Благовещенске видел, в городском саду, еще при царе. Тоже там один все переодевался.

А Ванюшка уже при свете лампы прошелся по избе, подражая девичьей легкой походке, и пропел девичьим голосом:

Эх, подружка моя,
Что же ты наделала!
Я любила, ты отбила,
Я бы так не сделала.

При этом он помахивал над головой воображаемым платочком, смешно сгибал колени и обиженно вытягивал губы.

Все снова смеялись. И дядя смеялся.

А когда немного улеглось веселье, старик Захарычев, глядя на Ванюшку, сказал Авдею Петровичу:

— Артист.

— А что вы думаете? — не скрывая гордости, ответил Авдей Петрович. — Свободно может быть артистом. Ведь не все же артисты от бога приехали, некоторые и пешком пришли...

— Это совершенно верно, — подтвердил старик Захарычев. — Очень просто может даже знаменитым артистом стать. Если его учить по-настоящему. А почему же? Будет артистом, как, допустим, этот самый...

— Как Шаляпин, что ли? — спросил Енотов.

— Нет, зачем! Я другого хотел сказать. Этот... Ну, его еще на коробках папиросных рисовали... Ну как же его?..

Но фамилию этого артиста так и не смогли вспомнить.

За окном послышались частые выстрелы.

Авдей Петрович и Ванюшка первыми вышли на улицу. За ними поднялись и остальные.

Это небольшой белогвардейский отряд, заблудившийся, как выяснилось потом, сбил наше сторожевое охранение и вошел в деревню.

Бой продолжался часа два и затих так же внезапно, как начался. Белогвардейцев удалось окружить, хотя они и оказали сопротивление.

Пленных заперли в поповском сарае около церкви, выставили охрану. И партизаны снова разбрелись по избам.

— А где же лобанчик? — встревожился Авдей Петрович, вернувшись в избу. — Никто не видел моего племянника Ванюшку?

Ванюшка лежал на снегу в овраге и корчился в муках, раненный в живот.

— Как же это тебя угораздило? — наклонился над ним Авдей Петрович. — Все почти целы, а ты...

— Вот так, дядечка, получилось, — виноватым голосом ответил Ванюшка, преодолевая нестерпимую боль.

Его подняли, принесли в избу.

Местный фельдшер, сухопарый человек в латунных очках, осмотрел рану, сказал, что в его практике это исключительный

случай, но все-таки сделал перевязку и пожалел, что Дудари опять захватили белогвардейцы. А там, в Дударях, живет старинный фельдшер Зуев Егор Егорыч, который может делать даже хирургические операции. Но сейчас в Дудари не пробраться — и далеко и страшно. И еще с вечера был слышен взрыв — это, говорят, белые взорвали мост под Дударями. По льду же теперь, пожалуй, не пройти. Лед не крепкий. Март месяц на исходе. Последние морозы. Скоро весна.

Фельдшер все это говорил, стоя у топчана, на котором лежал Ванюшка.

— А в чем дело? — вдруг сказал Семка Галкин. — Я схожу в Дудари, если меня Базыкин отпустит. И если вы записку дадите к этому Зуеву, — обратился он к фельдшеру. — Я могу его привести сюда. Неужели же он откажется пойти со мной, если такое дело и он является тем более работником медицины?

— Зуев-то бы пошел, я его лично знаю, и записку я напишу, — пообещал фельдшер. — Но ведь я же говорю, и вы сами знаете, в Дударях белые...

— А в чем дело? — опять сказал Семка Галкин. — Раз я говорю — могу, значит, я сделаю. — И, помедлив, добавил: — Только пусть еще кто-нибудь со мной пойдет, чтобы я не оробел в случае чего.

— А говорил, что обратно этой дорогой через тайгу ни за что не пойдешь, — напомнил Захарычев. — Ведь другой-то дороги нету...

Но Семка ничего ему не ответил, пошел искать Базыкина, чтобы спросить разрешения пойти в Дудари. И Енотов с ним пошел.

— Боевой, оказывается, парень. И не обидчивый, — поглядел ему вслед Авдей Петрович.

И повернулся к племяннику.

— Лобанчик, слышишь? Этот паренек — Галкин, что ли, — за доктором хочет идти в Дудари. Слышишь?

Ванюшка лежал с закрытыми глазами. Он уже ничего не слышал. А Авдею Петровичу хотелось, чтобы племянник обязательно узнал, каким хорошим парнем оказался этот Семка Галкин. И он несколько раз повторил над Ванюшкой одни и те же слова.

Наконец Ванюшка открыл глаза.

— Не надо, — сказал он твердо и решительно, собрав, может быть, все силы. — Не надо. Белые его повесят в Дударях. А мне это не надо. Не надо доктора. Не успеет он.

В избу набилось теперь много бойцов, но к топчану Ванюш-

ки их не допускали. Он лежал на хозяйской половине. Хозяйка подсунула ему под голову две подушки.

Вскоре вместе с Семкой Галкиным и Енотовым пришел командир Базыкин. Он попросил фельдшера еще раз осмотреть раненого. Фельдшер осмотрел и развел руками.

— Безнадежно, — вздохнул он, выйдя на другую половину избы. — Я даже не понимаю, как он еще живет. У него все разрушено внутри. Посылать за Егором Егорычем, по-моему, бессмысленно. Неоправданный риск...

Не верить фельдшеру было нельзя.

Базыкин постоял подле Ванюшки, потрогал его выпуклый вспотевший лоб, сказал:

— Жалко. Золотой парнишка. Очень жалко.

И ушел. Против смерти ничего не мог сделать и Базыкин. Никто ничего не мог сделать.

И только Семка Галкин не поверил фельдшеру. Семка стоял у топчана, видел, как мучительно морщится Ванюшка, как неслышно шепчет что-то побелевшими губами. И все-таки Семка ждал, что вот сейчас Ванюшка вдруг откроет глаза, засмеется и скажет, что все это шутка. Просто он хотел всех обмануть, будто умирает, а на самом деле и не собирался умирать.

Семка стоял у топчана и напряженно ждал, что Ванюшка вот сию минуту откроет глаза. И глаза Ванюшки действительно открылись. Он увидел Семку и сначала захрипел. Или что-то забулькало у него в горле. А потом он ясно, но очень тихо сказал:

— Шаль я ночью приносил. Модистку показывал. Это я у попадьи шаль взял. Отдайте, пожалуйста. А то она подумает...

И опять закрыл глаза.

— Я сейчас сбегаю, отнесу, — заспешил Семка.

Авдей Петрович наклонился над племянником.

— Услужить тебе хочу, лобанчик. Может, хочешь чего?

— Пить мне, — попросил Ванюшка, не открывая глаз. — Скоренчка дайте попить.

— Сырой-то, сейчас, пожалуй, нельзя, — задумался дядя.

— Можно, — прошептал, как по секрету, племянник, — помираю я.

Дядя принес из сеней в ковшике холодной воды и, подложив свою темно-коричневую ладонь под затылок племяннику, поддерживал его вспотевшую голову, пока он пил.

Ванюшка выпил всю воду, не отрываясь, вздрогнул, вздохнул с удовольствием всей грудью и через полминуты умер.

И в этот момент, когда он умер, в сенях раздался хохот.

Это Енотов рассказал только что зашедшим бойцам, как Ва-

нюшка Ляйтишев ночью показывал модистку из Красноярска.

— Тише вы, дьяволы! — зашипел старик Захарычев. — Человек помер...

Все притихли. Кто постарше, сняли шапки.

— Пусть смеются, — сказал Авдей Петрович Захарычеву, — не мешай им — они солдаты...

А сам сел в углу на хозяйский, окованный полосками жести сундук и заплакал, упрятав лицо в мохнатую лисью шапку.

Ванюшку похоронили в тот же день к вечеру на взгорье, на сельском кладбище, вырыв в мерзлой земле небольшую, по росту его, могилу. Гроб ему сколотил из каких-то японских ящиков, брошенных здесь японцами, сам Авдей Петрович. Другого материала для гроба не было.

А на рассвете следующего дня весь отряд передвинулся на Вятскую заимку, чтобы там соединиться с отрядом Субботина и начать наступление на Дудари. И на Вятской заимке во время ночевки бойцы опять вспоминали эту модистку из Красноярска, как ее показывал Ванюшка Ляйтишев. И опять смеялись.

И никто, даже дядя, не вспоминал вслух о смерти Ванюшки. Будто смерти этой вовсе и не было. Будто просто Ванюшка Ляйтишев задержался по делам в той таежной деревне, которая называется Журиловка.

Она лежит, эта Журиловка, у самого края тайги, близ некрупного сибирского города Дудари.

С. ДИКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ — ВЫДЕРЖКА

1

Жизнь на берегу проще, чем в море. В ней меньше тумана, не так рискуешь сесть на мель, а главное, нет многих досадных условностей, что расставлены на пути корабля, словно вешки. Во всяком случае, в море не так уж просторно, как можно подумать, глядя с берега на пароходный дымок.

И вот пример.

В пределах трех миль здесь все называется настоящими именами — вор есть вор, закон есть закон, и пуля есть пуля. Возле берега командуем мы: «Стоп машину! Примите конец!» Но стоит только хищнику покинуть запретную зону, как вор превращается в господина промышленника, а украденная камбала в священную собственность.

...Короче говоря, «Осака-Мару» стоял ровно в четырех милях от берега. Только издали мы могли любоваться черными мачтами и голубой маркой фирмы на трубе парохода. То была солидная посудина — тысяч на восемь тонн, с просторными площадками для разделки сырца, глубокими трюмами

н огромным количеством лебедок и стрел, склоненных наготове над бортами, — целый крабовый завод, дымный и шумный, на котором жило не меньше пятисот ловцов и рабочих.

Возле «Осака-Мару», едва доставая трубой ходовой мостик, стоял пароход-снабженец. Он только что передал уголь и теперь принимал с краболова консервы.

Увидев пароходы, Колосков обрадовался им, как старым знакомым.

— Как раз к обеду, — сказал он, подмигивая, — крабы ваши, компот наш!

Да мы и в самом деле были знакомы. Каждую весну, между 15—20 апреля, краболов появлялся в Охотском море и бросал якорь на почтительном расстоянии от берега. Он обворовывал западное побережье Камчатки неутомимо, старательно, деловито, из года в год пользуясь одним и тем же методом.

Вечером, видя, что в море нет пограничного катера, «Осака-Мару» спускал с обоих бортов целую флотилию кавасаки и лодок. Около сотни вооруженных снастью суденышек, мелких и юрких, точно москиты, шли к берегу наперерез косякам крабов и сыпали сети с большими стеклянными наплавами. А на рассвете флотилия снимала улов — тысячи крабов, застрявших колючими панцирями и клешнями в ячеях. То было воровство по конвейерной ленте — прямо от подводных камней к чанам с кипятком. И в то время, как вся эта хищная мелочь копошилась у берега, их огромный хозяин спокойно дымил вдалеке.

Понятно, что в бочке над краболовом торчал наблюдатель.

Едва «Смелый» показал кончики мачт, как «Осака-Мару» тревожно взревел. И сразу, как стрелки в компасах, лодки повернули в открытое море носами.

Это было занятное зрелище: всюду белые гребни, перестуки моторов, командные выкрики шкиперов, подгонявших ловцов. Крабы летели за борт, моторы плевались дымками: «Дело таб-бак. Дело таб-бак!» А тот, кто не успел вытащить сеть, рубил снасть ножом, не забывая отметить доской или циновкой место, где утоплена сеть.

Кавасаки шли наперегонки, ломаной линией, сжимавшейся по мере приближения к кораблю; за ними тащились на буксире плоскодонные опустевшие сампасены, а дальше, замыкая москитный отряд, рывками мчались гребные исабунэ с полуголыми, азартно вопящими рыбаками.

Мы нацелились на две кавасаки. Одна из них отрубила буксир и успела уйти за три мили от берега, а другая стала нашей добычей.

Шкипер ее, позеленевший от досады и злости, оказался малоразговорчивым. Видя, что соседняя кавасаки показала корму, он кинулся с железным румпелем навстречу десанту и наверняка отправил бы кого-нибудь вслед за крабами, если бы наш спокойнейший боцман не положил руку на кобуру.

После этого все пошло как обычно. Шкипер опустил румпель, а команда стала кланяться и шипеть. Мы обыскали кавасаки и в носовом трюме нашли мокрую сеть, в которой копошилось десятка два крабов. Этого было вполне достаточно, чтобы привлечь к суду плавучий завод. «Смелый» сразу повернул к «Осака-Мару».

Между тем москиты успели выйти из погранполосы. Вдоль берега над водой висел только керосиновый дым — единственный след краболовной флотилии, а вдали, окруженная лодками, точно квочка цыплятами, высилась железная громада завода.

Мы подошли к «Осака-Мару» и подняли по международному коду сигнал: «Спустить трап». Никто не ответил, хотя на палубе было много ловцов и матросов. Не меньше полутораста здоровенных парней, еще разгоряченных гонкой, с любопытством поглядывали на катер.

Над ними, на краю ходового мостика, стоял капитан краболова — важный сухонький старичок с оттопыренными ушами и приплюснутым носом. Он не счел нужным хоть бы надеть китель и, придерживая на груди цветистый халат, демонстративно позевывал в кулачок.

— Вам что угодно? — спросил он, свесившись вниз.

— Спустите трап. Мы задержали вашу моторку.

— Я не могу понять вас!

2

Это был обычный трюк. Если бы мы заговорили по-английски, он ответил бы по-японски, мексикански, малайски — как угодно, лишь бы поиграть в прятки.

Из всей команды «Смелого» один Сачков знал десяток английских фраз. Лейтенант вызвал его из машины и предложил передать капитану, чтобы тот спустил трап и не валял дурака.

Славный малый! Он мог выжать из шестидесяти лошадиных сил девяносто, но построить английскую фразу... Это было выше сил нашего моториста.

Он застегнул бушлат, взял мегафон и закричал, напирая больше на голосовые связки, чем на грамматику:

— Алло! Эй, аната! Алло!

Я же и говорю, трап спустите... Понятно? Ну, вот это... Вот черт! Алло!

Он кричал все громче и громче, а капитан, вначале слушавший довольно внимательно, стал откровенно позевывать и наконец отвернулся.

— Вот дубина! — определил Сачков, рассердясь. — Прикажите снять с пулемета чехол... Сразу поймет.

— Это не резон, — сказал Колосков. — Если снимешь, надо стрелять.

— Разрешите тогда продолжать?

— Только не так.

На «Смелом» подняли два сигнала. Сначала: «Спустите трап. Ваши лодки нарушили границу СССР», а затем и второй: «Отвечайте. Вынужден решительно действовать». Только тогда капитан подозвал толстяка в фетровой шляпе (как оказалось, переводчика) и заговорил, тыкая рукой то на палубу, то на берег.

— Господин капитан возражайт! — объявил толстяк. — Господин капитан находится достаточно далеко от берега.

— Ваши кавасаки проникли в запретную зону.

— Господину капитану это неизвестно.

— Вы произвели незаконный улов.

— Извините. Господин капитан не понимает вопроса.

— Захочет, поймет, — спокойно сказал Колосков. — Передайте ему так: кавасаки арестована. Подпишите акт осмотра.

Капитан улыбнулся и покачал головой, а толстяк, не ожидая ответа, закричал в мегафон:

— Господин капитан отрицает. Господин капитан не знает этого судна.

На палубе грянул смех. Ловцы, восхищенные находчивостью капитана, барабанили по железу деревянными гета и орали во всю глотку, выкрикивая по именам приятелей с кавасаки.

— Как это не ваша? — возмутился Сачков. — Товарищ лейтенант, разрешите, я клеймо покажу?

Он стал подтягивать кавасаки, чтобы показать надпись на круге, но Колосков тихо сказал:

— Отставить. Все равно зона не наша. Малый вперед!

Мы молча отошли от высокого борта, а свежак, сильно накренивший японские пароходы, понес нам вдогонку крики и хохот. На носу «Осака-Мару» загромыхала лебедка: травили цепь, чтобы якорь плотней лег на дно.

Колосков смотрел мимо краболова на берег. Дымка, почти всегда скрывавшая глубинные хребты, исчезла. Открылись даль-

ние иссиня-белые конусы сопок — верный признак близкого шторма.

— Эх метет! — сказал Колосков, думая о чем-то другом.— А ведь, пожалуй, раздует. Баллов на восемь... А?

— Проскочим, — ответил боцман спокойно.

— А если на якорь?

— Однако, выкинет... Грунт очень подлый.

— Именно... В ноль минут. Приготовьте десантные группы.
Гуторов все еще не мог понять, куда гнет командир.

— Одну?

— Нет, три. Все свободные от вахты могут отдыхать. Домино отберите, пусть спят.

И Колосков, утопив щеки в сыром воротнике, снова нахохлился, не замечая, что даже мартыны, тревожно курлыча, потянулись в дальние бухты, прочь от угрюмого моря.

3

В шесть часов вечера на кавасаки сорвало крышку машинного люка. Мотор захлебнулся, мотопомпа заглохла, и «Смелый» взял арестованных на буксир.

Маленькая низкобортная посудина поплелась за нами, дергая трос, точно норовистая лошадь узду,— трое японцев едва успевали откачивать воду ковшами и донкой.

Буксировка сразу сбила нам ход. Легче проплыть сто метров в сапогах и бушлате, чем тащить кавасаки в штормовую погоду. Мы ползли, как волы, как баржа, как время в больнице, а ветер тормошил Охотское море и рвал парусину на шлюпках.

Было уже довольно темно, когда мы сдали кавасаки на морской пост возле реки Оловянной. Люди устали и озябли. Плащи, камковые бушлаты, даже тельняшки были мокры. За ужином один только Широких, вздыхая от сочувствия к ослабевшим, попросил добавочную банку консервов. Остальные по очереди отказались от холодной свинины с бобами.

— Баллов восемь верных,— грустно определил кок, убирая тарелки.

...Море пустело на наших глазах. Пароходы, принимавшие первую весеннюю сельдь, бросили погрузку и уходили штормовать. Лодки наперегонки мчались к заводам. Всюду на мачтах чернели шары — знаки шторма, и отчаянные камчатские курибаны, стоя по горло в воде, удерживали на растяжках кунгасы.

Нам предстояло провести всю ночь в море, так как западный берег Камчатки отличается отсутствием бухт и удобных заливов. На сотни километров размахнулся здесь низкий, тундровый бе-

рег с галечной кромкой, усеянный остатками шхун и позвонками китов.

Однако Колосков решил иначе. Потушив ходовые огни, мы снова повернули на юг и вскоре увидели огни пароходов. «Осака-Мару» третью корпуса заслонял сиабжеица, поэтому казалось, что у берега стоит пароход иеобычиой длины. Все огни на «Осака-Мару» были погашены, только на мачте, освещая то барабаны лебедок, то фигурки матросов, раскачивалась лампа в железиом намордиике. «Осака-Мару» поднимал на борт последние кунгасы своей огромной флотилии.

Темнота скрадывает расстояние, вероятно, поэтому мне показалось, что пароходы подошли к берегу значительно ближе, чем прежде.

Я поделился своими соображениями с Колосковым.

— Так оно и есть, — сказал он одобрительно, — хомут спасли, а кобыла сгорела...

И тут же пояснил:

— ...на ходу флотилию на борт не взять... Вот и решили сползти ближе к берегу. Благо грунт крепче, да и мыс прикрывает.

— Значит?

— Только не спешите, — сказал Колосков, — определимся сначала...

На малых оборотах мы подошли еще ближе к заводу, и, пока радист определялся по береговым ориентирам, лейтенант объяснил десанту задачу. На катере остается только бессменная вахта. Остальным предстояло подняться на пароходы, отобрать управление и, обеспечив командные точки, ждать дальнейших распоряжений со «Смелого» — ночью фонарем, днем флажками.

Предстояло захватить целый завод — человек пятьсот ловцов и матросов, возбужденных арестом кавасаки и, несомненно, чувствующих себя в безопасности на палубе корабля. Попытки арестовать краболова были и прежде, но каждый раз они заканчивались односторонними актами, судом над каким-нибудь шкипером и долгой дипломатической перепиской. Это была нелегкая операция даже днем, а темнота сильно затрудняла задачу.

Мы решили подойти сначала к краболову и высадить десант с подветренного борта, пользуясь штормтрапами, по которым поднимались ловцы.

— Зря за оружие не хватайтесь, — сказал Колосков. — Стойте лицом. Помните, что японцы всегда на спину бросаются. А главное — выдержка. Пуля не гвоздь — клещами не вытащишь.

Колосков был прав: ветер оказался нашим союзником. Краболов мог выйти в море, только подняв на борт флотилию, а сделать это при сильной волне и шквалистом зюйде было трудно даже для опытных моряков. Лодки жались к наветренному борту, тросы трещали и рвались, а те, кому удалось оторваться от воды раньше других, раскачивались в воздухе, вырывая из рук матросов оттяжки. На наших глазах погибли два больших пятитонных кунгаса. Один затонул, ударившись о борт «Осака-Мару», другой, поднятый до уровня палубы, сорвался с гака и рухнул в воду с десятиметровой высоты.

Мы подошли к «Осака-Мару» с наветренного, ничем не освещенного борта. Шквал накренил пароход с такой силой, что наружу вышла крашеная суриком подводная часть. Оголенный винт медленно хлестал по воде, видимо, капитан, не надеясь на якоря, удерживал «Осака-Мару» машиной.

Когда мы подошли к краболову, погрузка ловцов была уже закончена и штормтрапы подняты на борт.

Лейтенант приказал подняться по выброске. Нас то подбрасывало так, что открывалась вся палуба краболова, то уносило далеко вниз, к подножию борта, глухого и высокого, точно крепостная стена.

Все кранцы были вывешены вдоль причального бруса, шесть краснофлотцев веслами и футштоками отталкивали «Смелый» от краболова. И все-таки временами наш катер вздрагивал и трещал так, что поеживался даже Широких.

Наконец боцману удалось закинуть на тумбу петлю.

Прыжок вверх. Удар плечом о борт. Море, взлетевшее за нами вдогонку, и мы вдвоем с Гуторовым уже вытаскивали на палубу «Осака-Мару» старательно пыхтящего мокрого Косицына... Зимин и Широких поднялись последними. «Смелый» — ореховая скорлупа рядом с «Осака-Мару» — прыгал далеко внизу.

— Следить за семафором! — крикнул Колосков. — Якоря не снима-а...

Больше мы ничего не слышали. Катер отлетел куда-то в сторону. Рявкнула и обдала пылью волна. Мы кинулись наверх, на ходовой мостик, чтобы захватить радиорубку и управление кораблем.

Все это произошло настолько быстро, что некогда было даже перевести дыхание. Когда капитан поднялся на мостик, все было кончено: Широких скручивал проволокой петли на дверях радиорубки, а переговорная труба доносила голос Косицына, наводившего порядок в машине. Он сообщал, что главный механик от

непривычки немного психует, а все остальные в порядке. Пару хватает, кочегары на месте.

Капитан бегал рысцой от борта к борту, ожидая конца разговора. Я с трудом узнал старнчка — он был затянут в черный китель с поперечимн эполетамн, а два ремня вперехлест и сбнвшаяся набок большая фуражка прндавалн ему несуразно воннственный вид.

— А вам что здесь нужно? — спроснл боцман н закрыл трубу пробкой.

Капитан был нспуган и взбешен. Он открыл штурмаискнй столнк н, ворча, стал тыкать в карту длнннын ногтем. Выходило, что «Осака-Мару» стоит чуть ли не в десяти милях от берега.

— Господин капитан счнтает поведение погранннчной стражн ошибочным, — пояснил переводчик.

— Дальше, дальше, — сказал Гуторов скучным голосом, — это нам нзвестно.

— Господин капитан предупреждает о тяжелых последствнях.

— Благодарю... Это каких же?

— Господнн капнтан приказывает оставнть корабр...

— Ну так вот что, — сказал Гуторов, рассердясь, — приказываю тут я. Юкинасайте в кубрик... Айда назад... Подпншем без вас.

Краболов спал, когда мы спустились на заводскую площадку. Ннзкий железный зал без иллюминаторов, с чугунными столбнками посреднне, казался бескрайним. Резнновые ленты, уставленные консервнымн банками, тянулнсь от чанов к закаточным станкам-автоматам. В глубине зала выснлись черные, еще горячие автоклавы, похожие на походные кухни.

Всюду вндиелнсь следы только что обработанного улова: в стоках, вдоль бортов, краснела крабовая скорлупа, нз темноты тянуло острым, чуть терпкнм запахом сырца, а на шестах в сушнлке виселн сырые халаты.

Вслед за намн, бормоча что-то непонятное, шел переводчнк. Но мы не нуждались в объяснениях — тысячи полуфунтовых банок, готовых к отправке, лежали на складе.

Шнроких взял одну нз них и стал разглядывать этикетку. Огненный краб карабкался на снежную сопку, держа в клешне медаль с названием фнрмы.

Вндя, что Широких с трудом разбирает незнакомую надпнсь, переводчик помог:

— Это... сделано в Японин...

— Украдено в СССР, — поправил Гуторов сухо.

— Извнните... не понимау... Чито?

— А это вам судья объяснит.

Мутное, теплое зловоние просачивалось в цехи из трюмов корабля. И чем дальше отходили мы от железной, чисто вымытой коробки завода, тем навязчивей становился густой смрад.

Два крытых перехода, устланных деревянными решетками, соединяли завод с кормовыми трюмами. Конец правого коридора замыкала подвешенная на рельс железная дверь. Гуторов отодвинул ее в сторону, и мутная, застарелая вонь хлынула нам навстречу.

Мы стояли на краю кормового трюма, превращенного в общежитие «рыбаков». Четыре яруса опоясывали глубокий колодец, на дне которого смутно проступали бочки и ящики.

Люди спали вповалку на нарах, прикрытые пестрым тряпьем. Всюду виднелись разинутые рты, усталые руки, голые торсы, блестевшие от испарины. Сон был крепок. Даже рев вентиляторов, даже тяжкие удары воды, от которых гудела громада завода, не могли разбудить «рыбаков». Очевидно, хозяева экономили свет — два карбидовых фонаря мерцали далеко, на дне корабля. А все этажи, наполненные храпом, бормотаньем, влажным теплом сотен людей, и бочки в глубине трюма, и тусклые огни, и тряпье на шестах раскачивались мерно и сильно, точно железная люлька, которую с присвистом и хохотом качает штормяга.

Мы вернулись на мостик и стали ждать семафора со «Смелого». Между тем ветер повернул «Осака-Мару» кормой к берегу. Море с шумом мчалось мимо нас, гребни с разбегу взлетали на палубу, и брызги, твердые, как пригоршни камней, стучали по брезентовому козырьку перед компасом.

Справа, в пяти кабельтовых от краболова, чернел низкий корпус снабженца, слева, вдоль берега, далеко на север уходили огни рыбалок и консервных заводов. На шестах у приемных площадок тревожно светились красные фонари — берег отказывался принимать катера и кунгасы. Ходовых огней «Смелого» мы никак не могли различить — очевидно, катер укрылся от ветра за бортом парохода.

— Интересно, во сколько тут побудка? — спросил Гуторов.

— Вероятно, в шесть, — сказал я, — а какая нам разница?

— Вопить будут... А может, и хуже, если спирта дадут. Народ дикий, шальной...

— А если не выпускать?

— Нельзя... Гальюн на корме.

Я разделял опасения боцмана. Одно дело, когда на крючок попадает плотва, и другое, когда удилище гнется и трещит под тяжестью пудового сома. Никогда еще «Смелый» не задерживал краболовов. Целый поселок — полтысячи голодных, озлоблен-

ных качкой и нудной работой парней — дремал в глубине «Осака-Мару», готовый высыпать на палубу по первому гудку парохода.

Один Широких не выказывал признаков беспокойства. Он стоял за штурвалом и медленно жевал хлебную корку. Вероятно, он нисколько не удивился бы, попав в боевую рубку японского крейсера.

— Как-нибудь сговоримся, — сказал он спокойно.

На рассвете подошел «Смелый». Ныряя в воде, словно чирок, он приблизился к нам на полкабельтовых и подал флажками приказ: «Снимитесь с якоря. Следуйте мной. Случае тумана держитесь зюйд 170°. Траверзе мыса Сорочьего встретите «Соболя». Будьте осторожны командой».

Боцман «Осака-Мару» нехотя вызвал матросов. Пятеро парней в белых перчатках шевелились так, точно у них в жилах вместо крови текла простокваша. Боцман зевал, матросы почесывались. Глядя на эту канитель, Гуторов возмущенно сопел. Наконец якорь был выбран, и боцман скомандовал: «Малый вперед!»

...Через два часа мы подошли к мысу Сорочьему. Шторм стих так же внезапно, как начался. Сразу погасли гребни. Свист, улюлюканье, хохот ветра, стоны дереза, треск тугой парусины, хлеставшей железо наотмашь, стали смолкать, и вскоре дикий джаз заиграл под сурдинку. Славный знак: березы на сопках расправили ветви, голодные топорки и мартыны смело летели из бухт в открытое море.

Возле мыса Сорочьего к нашему каравану примкнул катер «Соболь». Это дало нам возможность усилить десант. Трое краснофлотцев были переброшены на снабженец, пять — на «Осака-Мару». Кроме того, Колосков высадил на краболов нашего кока, исполнявшего во время операций роль корабельного санитара. По правде сказать, мы не ждали пользы от Кости Скворцова. То был маленький, безобидный человечек, разговорчивый, как будильник без стопора. С одинаковой страстью, схватив собеседника за рукав, рассуждал он о звездах, о насморке, о политике Чемберлена или собачьих глистах. Нашпигованный разными историями до самого горла, кок болтал даже во сне.

— Вот это посудина! — закричал он, вскарабкавшись на борт «Осака-Мару». — А где капитан? Молчит? Ну, понятно... Знает кошка... Лейтенант здорово беспокоился, как бы чего не вышло с ловцами... Сколько их? Тысяча? А? Я полагаю, не меньше... Косицын в машине? Травит, конечно! Бедный парень... Я думаю, из него никогда не выйдет моряка...

Увидев в руках кока тяжелую сумку, Широких сразу оживился.

— Значит, кое-что захватил?

— Для тебя? Ну еще бы, — ответил с гордостью Костя. Он открыл сумку и показал нам пачку бинтов, бутыль с йодом и толстый резиновый жгут.

— Ешь сам! — сказал Широких, обидясь.

К счастью, у Скворцова отлично работали не только язык, но и руки. Быстро отыскав камбуз, он потеснил японского кока и принялся колдовать над плитой.

5

Наш караван растянулся миль на пять. Впереди, отряхиваясь от воды, точно утка, шел «Смелый», за ним ползли черные утюги пароходов, и в конце кильватерной колонны, чуть мористее нас, светился бурун катера «Соболь».

Туман, провожавший нас от Оловяниной, перешел в дождь. Радужная мельчайшая изморось оседала на палубу, на чехлы шлюпок, на брезентовые, сразу задубевшие плащи. Слева по борту тянулся ровный западный берег Камчатки с тонкими черными трубами заводов и крытыми толем навесами. Справа лениво катились к горизонту рябые от дождя складки воды.

Мы двигались вдоль самого оживленного участка Камчатки. Шторм стих, и тысячи лодок спешили в море, к неводам, полным сельди. Некоторые проходили так близко, что видно было простым глазом, как ловцы машут руками, приветствуя нас.

На одной из кавасаки рулевой, служивший, видимо, прежде на флоте, бросил румпель и передал нам ручным телеграфом: «Поздравляем богатым уловом».

В самом деле, улов был богат. Первый раз мы вели в отряд не воришку кавасаки, не рыбацкую шхуну, а целый заводище, на палубе которого разместится сто таких катеров, как «Смелый» и «Соболь».

Мокрая палуба «Осака-Мару» по-прежнему была пуста. Видимо, японцы свыклись с мыслью об аресте и решили не обострять отношений; только матрос и второй помощник капитана — оба в желтых зюйдвестках и резиновых сапогах — прохаживались вдоль правого борта, поглядывая то на катер, то на белый конус острова Шимушу, едва различимый в завесе дождя. Чего они ждали? Встречного японского парохода, кавасаки, полицейской шхуны, которая постоянно бродит вблизи берегов Камчатки, или просто следили за нами? Время от времени матрос подходил к рынде, укрепленной на фок-мачте, и отбивал склянки.

За всю вахту офицер и матрос не обменялись ни одним словом. Оба они держались так, как будто на корабле ничего не случилось. Офицер позевывал, матрос стряхивал воду с брезентов и поправлял иа лодках чехлы.

Равнодушие японцев, шум винта, ровный, сильный звук колокола — все напоминало о спокойной, размеренной жизни большого корабля, которую ничто не может нарушить. Но каждый раз, точно отвечая «Осака-Мару», к иам долетал ясный, стеклянно-чистый звук рынды нашего катера.

...Было шесть утра, когда мы наконец подошли к мысу Лопатка и стали огибать низкую каменистую косу, отделяющую Охотское море от Тихого океана.

Сквозь шум моря и дождя доносилось нудное завывание сирены. Берег был виден плохо, и я, чтобы не наломать дров, стал отводить «Осака-Мару» в сторону от камней.

В этот момент Широких толкнул меня под локоть.

Справа по носу наперерез нам шли два японских эсминца. Они выскочили из-за острова Шимушу, где, очевидно, караулили нас после депеши краболова, и теперь неслись полным ходом, точно борзые по вспаханному полю.

Одновременно с появлеиием военных кораблей на палубу «Осака-Мару» стали высыпать «рыбаки». Никогда я не думал, что краболов может вместить столько народу. Они лезли из трюмов, бортовых надстроек, спардека, изо всех щелей и вскоре заполнили всю палубу, от кают-компании до носового шпиля. Передние махали эсминцу платками, задние становились на цыпочки, влезали на лебедки, винты, на плечи соседей. И все вместе орали что было мочи... Палуба походила бы на базар, если бы не обилие коротких матросских ножей и угрожающие лица ловцов. Все они, задрав головы, с любопытством поглядывали на нас.

Я взглянул на свой катер. Скорлупа, совсем скорлупа, а пушчонка — игла. Но сколько достоинства! Он шел, не прибавляя и ие убавляя хода, и как будто вовсе не замечал сигналов, которые ему подавал головной миноносец (что делалось на «Соболе», я не видел, так как его закрыл правый борт мостика).

Гуторов, обходивший посты, быстро поднялся наверх и теперь старался разобрать сигналы с эсминца.

«Стоп машину... Лягте... Лягте... немедленио дрейф!»

— Вот пижоны! — сказал с возмущением Костя. — Смотрите! Да что оии, спятили?

На обоих эсминцах с носовых орудий снимали чехлы.

Узкие, с косо срезанными мощными трубами, острыми форштевнями, с бурунами, поднятыми выше кормы, хищники вы-

глядели весьма убедительно. Ловко обойдя наш небольшой караван, они сбавили ход и пошли рядом, продолжая угрожающий разговор:

«Почему захватили пароходы? Считаете своим призом?»

Я взглянул на «Смелый». Молчание. Палуба пуста. На пушке чехол. Колосков расхаживал по мостику, заложив руки за спину.

— Почему мы не отвечаем? — спросил Костя, волнуясь. — Смотрите, орудийный расчет на местах...

— Правильно не отвечаем, — сказал боцман.

— Почему же? Ведь у нас даже не сыграли тревоги.

— Правильно не сыграли, — повторил боцман.

Эсминец подошел к «Смелому» на полкабельтовых. Были отлично видны лица матросов, стоявших у пушек и торпедных аппаратов.

— Это же очень серьезно, — сказал Костя, волнуясь. — Что они делают? Это пахнет Сараевом (весною он прочел мемуары Пуанкаре и теперь напоминал об этом на каждом шагу).

— То Сараево, а то Камчатка, — резонно ответил Широких.

— Это выстрел Принципа. Конфликт! Боюсь, мы развяжем такое...

— А ты не бойся.

Не получив ответа, эсминец вышел вперед, на наш курс, и попытался подставить корму под удар «Смелому». Колосков, повернув влево, сбавил ход, эсминец оторвался, потом снова встал на дороге. «Смелый» повернул вправо.

Так, зигзагами, то делая резкие развороты, то почти застопоривая машины, они прошли девять миль. На нашем языке это называлось игрой в поддавки.

В это время второй миноносец шел рядом с «Осака-Мару», беспрерывно подавая один и тот же сигнал: «Возвращать пароход», «Возвращать пароход».

Все население «Осака-Мару» толпилось на палубе. Матросы в ярко-желтых спецовках, подвижные, горластые кунгасники, ловцы в вельветовых куртках и резиновых сапогах, мотористы флотилии, лебедчики, рулевые, щеголеватые кочегары, резчики крабов с руками, изъеденными кислотой, — все они, одуревшие в душном трюме, азартно обсуждали шансы катеров и эсминцев.

Игра в поддавки не дала результата. Тогда, сбавив ход, эсминцы подошли к «Смелому» с обоих бортов и так близко, как будто собирались сплюснуть маленький катер.

«Соболь» все время замыкал караван. Увидев новый маневр японцев, он тотчас вышел вперед и сыграл боевую тревогу.

На правом эсминце подняли сигнал: «Предлагаю командирам

катеров явиться для переговоров». «Смелый» ответил: «Разговаривать не уполномочен».

Минут десять все четверо шли кучно, образовав что-то вроде креста с отпиленной вершиной, за которым зигзагами тянулась пенистая дорога. Затем эсминцев точно пришпорили. Они рванулись вперед и, сильно дымя, пошли к северу.

Костя, заметно притихший во время эволюций эсминцев, снова оживился.

— Ага! Ваша не пляшет! — закричал он, торжествуя. — А, что я говорил? Главное — выдержка! Уходят... Чес... слово, уходят!

— Не думаю, — сказал боцман серьезно.

Толпа стала нехотя расходиться.

Набежал туман и закрыл буруны миноносцев. Вскоре исчез и «Смелый». Нос краболова с массивными лебедками и бортовыми надстройками лежал перед нами неподвижный и черный, точно гора.

Сбавив ход, мы стали давать сигналы сиреной. Судя по звуку, берег был не дальше двух миль — эхо возвращалось обратно на девятой секунде.

....Обедали плохо. Консервы, которые Скворцов разогрел в камбузе, издавали резкое зловоние. В одной из банок Широких нашел кусок тряпки и стекло, я вытащил обмылок.

— Вы отходили от плиты? — спросил Гуторов.

— Нет... то есть я только воды накачал.

— Тогда ясно... Выкиньте за борт.

Днем мы ели шоколад и галеты, вечером галеты и шоколад. Никто не чувствовал голода, но всем сильно хотелось спать: сказывались качка и тридцать часов вахты.

Караван продолжал продвигаться на север. Через каждый час «Смелый» возвращался назад и заботливо обходил пароходы. Я всё время видел на мостике клеенчатый капюшон и массивные плечи Колоскова. Когда он отдыхал, неизвестно, но сиплый басок его звучал по-прежнему ровно. Лейтенант все время интересовался работой машины и предлагал почаще вытаскивать Косицына на свежий воздух.

6

Эсминцы ждали нас возле острова Уташут. Заметив караван, они разом включили прожекторы. Два голубых длинных шлагбаума легли на воду поперек нашего курса. Миновать их было нельзя. Один из прожекторов встретил «Смелого» и тихонько пошел вместе с катером к северу, другой стал пересчитывать

суда каравана. Добежав до «Соболя», он вернулся обратно н ударнл в лоб «Осака-Мару».

Свет был так резок, что я схватился рукой за глаза. Вести корабль, ориеитируясь на головной катер, стало почтн невозможно. Я не видел ни берега, ни сигиальиых огней. Все по сторонам дымного голубого столба почериело, обуглилось. Передо миой на уровие глаз, вызывая резкое раздражеиие, почтн боль, висел зеркальный, нестерпимо сверкающий диск.

Весь корабль был погружен в темноту. Один только мостик, накаленно-белый, высокий, выступал нз мрака. Это сразу поставнло десантную группу в тяжелое положенне. Каждое наше двнжение, каждый шаг были на внду миноносцев и иаселения «Осака-Мару».

Японцы это отлично учитывалн. В течение получаса они разглядывали нас в упор, изредка отводя луч на корму или иа нос. От сильного света у меня сталн слезиться глаза. Тогда Гуторов приказал бросить управлеиие и перейти на корму к запасному штурвалу. На мое место, чтобы не вызывать подозрения, встал Широких. Минут десять мы радовались, что перехитрили эсминец, ио луч быстро перебежал иа корму и иащупал меия за штурвалом. Я был выиуждеи снова вернуться на мостик под коивоем луча.

Так возникла у иас маленькая маиевренная войиа с перебежками, маскировками, взаимными хитростямн и уловками, война, в которой огневую завесу заменял свет прожектора.

Прячась за шлюпками, скрываясь между веитиляциоииыми трубамн и надстройками, я перебегал от штурвала к штурвалу, и вслед за мной огромными прыжкамн мчался голубой луч.

Вскоре мие стало казаться, что с эсмиица видиы мои позвоики под бушлатом. Свет бил иавылет. Ои заглядывал в глаза сквозь сомкнутые веки, искал, преследовал, жег. В течение нескольких часов десаитиую группу ие покидало мерзкое ощущение дула, направлеиного прямо в лоб.

Силясь рассмотреть катушку компаса, я невольно думал, как славио было бы дать пулеметиую очередь... одну... коротенькую... прямо по зеркалам, в иаглый, пристальиый взгляд.

В два часа иочи прожектор погас, н мы услышали стук моторки. Два офицера с эсминца пытались подняться по штормтрапу, который им выбросил кто-то из комаиды. Их отогнали от левого борта, но они тотчас перешли иа правый н стали кричать, вызывая капитана «Осака-Мару».

Мы ие смогли сразу помешать разговору, так как капитан отвечал офицерам через иллюмииатор своей каюты. «Гости» иа чем-то настаивали, старичок говорил односложно:

— А со-дес... со-со... А со-дес со-со...

Катер отошел только после троекратного предупреждения, подкрепленного клацаньем затвора.

— Эй, росскэ! — закричали с кормы. — Эй, росскэ, худана! Иди, дурака, домой...

— Дикой, однако, народ, — сказал Широких с презрением, — ни тебе деликатности, ни понятия...

Наступила тишина. Караван двигался в темноте, казавшейся нам особенно густой после резкого света прожекторов.

Море слегка фосфоресцировало. Две бледно-зеленые складки расходились от форштевня «Осака-Мару» и гасли далеко за кормой. От мощных взмахов винта далеко вниз, в темную глубину, роями убегали быстрые искры. Млечный Путь рождался из моря, полного искр, движения, пены, слабых летучих огней, пробегающих в глубине.

Впечатление портили японские эсминцы. Потушив огни, хищники настойчиво шли вместе с нами на север. Впрочем, теперь они не пытались завести разговор с краболовом.

Мы уже начали привыкать к опасным соседям, как вдруг с головного эсминца взлетела ракета. Одновременно на краболове и снабженце потух свет.

— В чем дело? — крикнул вниз Гуторов.

Никто не ответил.

— В машине!

— Уо...а-га-а-а... — ответила трубка.

Что-то странное творилось внизу. Кто-то громко приказывал. Ему отвечали нестройно и возбужденно сразу несколько человек...

Пауза... Резкий оклик... Два сильных удара в гулкую бочку... Крик, протяжный, испуганный, почти стон... Грохот железных листов под ногами. И снова долгая пауза.

— В машине!

На этот раз трубка ответила голосом нашего моториста.

— Ушли, — объявил Косицын.

— Кто?

— Все ушли... сволочи...

Мы кинулись вниз, в темноту, по горячим трапам, освещенным сбоку «летучей мышью».

Внизу было тихо. Из темноты тянуло кислым пороховым дымком.

— Я здесь, — объявил Косицын.

Сидя на корточках около трапа, он стягивал зубами узел на левой руке. Возле него на полу лежал наган.

— Ушли, — сказал он, морщась, — через бункер ушли. Дверь в кочегарку была открыта. Четыре топки, оставлен-

ные японскими кочегарами, еще гудели, бросая отблески на большие вертикальные шатуны, уходившие далеко в темноту.

Зимин, голый по пояс, бегал от одной топки к другой, подламывая ломом раскалеииую корку.

На куче угля лежал мертвый японец в короткой синей куртке с хозяйским клеймом иа спиие. Мииут пять назад он спустился на веревке по вентиляцнонной трубе и напал иа Коснцыиа сбоку в то время, как тот пытался уговорить кочегаров.

Удар ломиком пришелся в левую руку: от кнсти к локтю тяиулась рваиая, еще мокрая раиа...

— Что я мог сделать? — спросил Косицыи, точио оправдываясь.

— Правильио, правильно, — сказал боцмаи, хотя было видно, что и ои смущеи неожидаиным оборотом.

Я закрыл мертвого брезеитом, а Гуторов перевязал Косицыну руку.

— Одии ушел... видио, раиеиый...

— Вот это ты зря, — сказал боцман.

Посоветовавшись, мы решили не убирать труп из кочегарки. Вынести мертвого наверх, на палубу, озиачало взорвать всю массу «рыбаков» и матросов, возбуждеииых водкой и грозным видом эсмиицев.

После этого мы вызвали «Смелый», и лейтенант на ходу поднялся на борт «Осака-Мару».

Разговор продолжался ие больше минуты, потому что эсминцы сиова включили прожекторы, а на палубе стали появляться группы враждебио иастроеиных ловцов.

Лейтеиаит сказал, что наша тактика правильиая, и предложил перебросить с палубы в кочегарку двух краснофлотцев. Сам ои людей дать не мог, потому что «Смелый» был оголеи до отказа.

— А собак не дразиить, — сказал ои, уже вися иа штормтрапе. — Будут хамить, ие замечайте: главиое — выдержка.

Катер фыркнул и скрылся, а мы сиова осталнсь одни.

Палуба «Осака-Мару», пустыиная еще минут десять назад, быстро заполнялась ловцами. Люди выбегали с такой стремительностью, точно по всему кораблю сыгралн тревогу. Всюду мелькали карбидные фоиарики и огоньки коротеньких трубок. Слышалнсь возбужденные голоса, свистки, резкие выкрики.

Японские рыбаки — подвижный, легко возбудимый народ. Достаточно угрожающего двнжеиия, грубого окрика, даже просто неловкого, иеуверенного движения, чтобы толпа, сознающая свою силу, перешла от криков к активиому действию.

Вскоре появились пьяиые. Выиужденный простой лишал «ры-

«баков» грошового заработка, толпа видела в нас источник всех бед, поэтому шум на палубе возрастал с каждой минутой. Многие бросали на нас угрожающие взгляды и даже откровенно показывали ножи.

Ловцы группировались кружками, в центре которых на лебедках, кнехтах или бухтах канатов стояли крикуны. Я заметил, что в середине самой шумной и озлобленной группы мечется окровавленный человек с повязкой на голове. Он вопил по-женски пронзительно и все время тыкал рукой в нашу сторону.

Пройти по палубе на нос или корму, где находились четверо краснофлотцев, уже было нельзя. Наши посты превратились в островки, отрезанные от срединной части корабля.

Стало светать. Кучки ловцов слились в одну глухо шумящую толпу; она беспокойно ворочалась, сжатая мостиком и высокой надстройкой на баке.

Ловцы, вылезающие из трюмов, напирали на стоящих впереди, некоторые вскакивали даже на плечи соседей, а все вместе, подогреваемые крикунами, вели себя все более угрожающе.

Кто-то застучал по палубе деревянными гета — толпа поддержала обструкцию грохотом, от которого загудела железная коробка парохода.

Смутное чувство большой, неотдалимой опасности охватило меня. Так бывает, когда вдруг темнеет вода и зябкая дрожь — предвестница шквала — пробегает по морю.

Я взглянул на товарищей. Боцман упрямо разглядывал берег, мрачноватый Широких — компас, Костя — пряжку на поясе.

Все они делали вид, что не замечают толпы.

7

— Что же теперь будет? — спросил Костя тревожно. — Ведь это очень серьезно... Надо как-то их успокоить... сказать... Смотрите — ножи... Это бунт.

Был виден уже маяк Поворотный, когда головной эсминец поднял сигнал:

«Руки назад держать не могу. Принимаю решительные меры от имени императорского правительства».

Одновременно второй эсминец поставил дымовую завесу и дал выстрел из носового орудия. На обоих катерах сыграли боевую тревогу. «Смелый» ответил: «В переговоры не вступаю. Немедленно покиньте воды СССР».

С этими словами он развернулся и полным ходом пошел навстречу эсминцу. Не знаю, на что надеялся лейтенант, но чехол

с единственной пушки был снят и орудийный расчет стоял на местах. Следом за «Смелым», осев на корму, летел «Соболь».

Больше я ничего разглядеть не успел. Едкое желтое облако закрыло катера и скалу с чугунной башенкой маяка.

— Надо действовать! Смотрите, они лезут на бак!

— Тише, тише, — сказал Гуторов.

Он глядел мимо заводской площадки на бак, где находились краснофлотцы Жуков и Чашин. Утром мы еще сообщались с носовым постом, пользуясь перекидным мостиком, укрепленным над палубой двумя штангами. Теперь мостик был сброшен возбужденной толпой. Человек полтораста, подбадривая друг друга свистом и криками, напирали на высокую железную площадку, где стояли двое бойцов.

Им кричали:

— Худана. Росскэ собака!

— Эй, баршевика!.. Слезай!

Какой-то ловец в матросской тельняшке и ярко-желтых штанах влез на ваиты и громко выкрикивал односложное русское ругательство.

— Ссадил бы я этого попугая, — объявил Костя, — да жалко патрона...

— Тише, тише... — сказал боцман. — Эх зря...

Случилось то, чего все мы одинаково опасались. Жуков не выдержал и ввернул крепкое слово с доплатой. Это было ошибкой! Несколько массивных стеклянных наплавов, на которых крабозаводы ставят сети, полетело в бойцов. Один шар разбился, попав в мачту, другой ударил Жукова в ногу. Не задумываясь, он схватил шар и кинул его в самую гущу ловцов. Толпа ответила ревом.

Я увидел, как стайка вертких сверкающих рыбок взметнулась над палубой. Жуков схватился за плечо, Чашин — за ногу. Короткие рыбацкие ножи со звоном скакали по палубе вокруг краснофлотцев.

По правде сказать, я уже давно не смотрел на компас. Жуков, сидя на корточках, расстегивал кобуру левой рукой. Чашин, задетый ножом слабее, стоял впереди товарища и целился в толпу, положив наган на сгиб руки.

Костя схватил боцмана за рукав:

— Что ж это, товарищ начальник?.. Скорее... надо стрелять!

Нас окатили горячие брызги... Раздался рев, низкий, могучий, от которого задрожали надстройки.

Гуторов не выпускал из рук оттяжку гудка. «Осака-Мару» ревел, давясь паром, и скалистый берег отвечал пароходу тревожными голосами.

Толпа замерла. Оторопелые «рыбаки» смотрели наверх, на облако пара, на коротенькую, решительную фигуру нашего боцмана, как будто кричащего басом на весь океан:

— Полу-ндра... Ух вы!.. А ну берегись!

Это было как раз то, что нужно. Выстрел только бы подхлестнул «рыбаков», а гудок, неистовый, не терпящий никаких возражений, хлынул сверху, затопил палубу, море, сразу сбив у нападавших азарт, и гудел в уши — угрюмо, тревожно, настойчиво: «Полу-унд-ра, полу-ундра, полу-ндра».

Когда пар иссяк, на палубе стало совсем тихо. Так тихо, что слышно было, как плещет вода.

Сотни ловцов смотрели на боцмана, а Гуторов, одернув бушлат, подошел к трапу и сердито сказал:

— Вы эти босяцкие штучки оставьте... Моя думал — ваша есть люди. А ваша есть байстрюки, тьфу! Просто сволочь. Тихо! Слушай мою установку. Ваша гуляй в трюм, мало-мало спи-спи... Наша веди корабль. Ежели что, буду карать без суда.

Вероятно, никогда в жизни боцман не говорил так пространно. Кончив речь, он не спеша высморкался в платок и, обернувшись к Скворцову, сказал:

— Ступайте на бак, пока не очухались... Быстро!

С той стороны не звали на помощь, но видно было, что одному Чашину с перевязкой не справиться. Он разорвал на раненом форменку и, не выпуская нагана, быстро, точно провод на телефонную катушку, наматывал на Жукова бинт.

— Есть! — ответил Костя. — Я... я иду!

Он подошел к трапу, который спускался прямо в настороженную враждебную толпу, и нерешительно взглянул вниз.

— Я иду... Я сейчас, — повторил он торопливо, — сейчас, товарищ начальник, вот только...

Он отошел к штурвалу и, присев на корточки, стал рыться в сумке.

Палуба загудела. Ничто не портит дела больше, чем нерешительность. Острым, враждебным чутьем толпа поняла и посвоему оценила колебания санитара. Кто-то визгливо засмеялся. Парень в желтых штанах снова засуетился сзади ловцов.

Оцепенение прошло. Немыслимо было пробиться на бак сквозь толпу, покрывавшую палубу плотнее, чем семечки подсолнуха. Оставался единственный путь — пройти над палубой, по массивной, окованной железом стреле, с помощью которой лебедчики поднимают на борт кунгасы. Прикрепленная одним концом к мачте, она висела почти горизонтально над палубой, упираясь другим свободным концом в ходовой мостик. Такая же стрела тянулась от мачты дальше к носу, а обе они образовали узкую

дорожку, протянутую вдоль корабля на высоте десяти-двенадцати футов.

— Да-да... я сейчас,— бормотал Костя.— Где же он?.. Вот... нет, не то... Я сейчас...

Беспомощными руками он рылся в сумке, хватаясь то за марлю, то за бинты. Торопясь, вынул пробку, залил руки йодом и, совсем растерявшись, стал вытирать их о форменку.

— Готово? — спросил Гуторов.

— Да-да... Кажется, все... Как же это? Вот только...

Я не узнал голоса Кости. Он был бесцветен и глух. Губы его дрожали, как у мальчишки, готового заплакать. На парня было стыдно, противно смотреть. Я отвернулся...

Гуторов глядел мимо Кости на мачту.

— Только так, — сказал он себе самому.

— Товарищ начальник... я сейчас объясню... я не мо...

— Можешь, все можешь, — сказал боцман спокойно. Он приподнял Скворцова под мышки, поправил на нем сумку и, прошептав что-то на ухо, подтолкнул парня к барьеру.

— Я не...

— А ты не гляди вниз, — сказал Гуторов громко, — ногу ставь весело, твердо, гляди прямо на Жукова... Перевяжешь, остаешься с ними...

Гуторов ничего не требовал, ничего не приказывал оробевшему санитару. Он говорил ровнее, мягче обычного, с той спокойной уверенностью, которая сразу отрезает пути к отступлению. Боцман даже не сомневался, что размякший, растерянный Скворцов способен пройти узкой двадцатиметровой дорожкой.

Не знаю, что он прошептал Косте на ухо, но деловитое спокойствие боцмана заметно передалось санитару. Он выпрямился, развернул плечи, даже попытался через силу улыбнуться.

— Главное, рассердись, — посоветовал боцман. — Если рассердишься, все возможно.

Костя перелез через барьер и пошел по стреле. Сначала он двигался медленно, боком, придвигая одну ногу к другой. Балка была скользкая, сумка тянула набок, и Скворцов все время порывисто взмахивал руками. Лицо его было опущено — он смотрел под ноги, на толпу.

На середине балки он поскользнулся и сильно перегнулся назад. Внизу заревели. Костя зашатался сильнее...

Я зажмурился — на секунду, не больше... Взрыв ругани... Чей-то крик, короткий и острый, как нож.

Балка была пуста... Санитар успел добежать до мачты. Обняв ее, он перелез на другую стрелу и пошел тихо-тихо, точно боясь расплескать воду.

Теперь он оторвал глаза от толпы... Он смотрел только на Жукова... Он шел все быстрее и быстрее, потом побежал, сильно балансируя руками, твердо, чуть косолапо ставя ступни...

Взмах руками, прыжок — и Костя нагнулся над Жуковым.

Тут только я заметил, что Гуторов положил пулемет на барьер и держит палец на спусковом крючке.

Увидев, что Костя добрался счастливо, боцман сразу отдернул руку и вытер потную ладонь о бушлат.

— А я бы свалился, — признался он облегченно. — Вот черт, циркач!

— Однако здорово его забрало.

— Что ж тут такого, — сказал Гуторов просто, — и у пулемета бывает задержка... Смотри... Что это?.. А, ч-черт!

«Осака-Мару» медленно выползал из дымовой полосы, и первое, что я заметил, были снежные буруны японских эсминцев.

Распарывая море, хищники с ревом удалялись на юго-восток, а следом за ними, перескакивая с волны на волну, лихо неслись «Смелый» и «Соболь».

— Не туда смотришь! — крикнул Гуторов. — Вот они.

Над моей головой точно разорвали парусину.

Тройка краснокрылых машин вырвалась из-за сопки и, рыча, кинулась в море.

И снова гром над синей притихшей водой. Сабельный блеск пропеллеров. Знакомое замирающее гудение не то снаряда, не то басовой струны.

Шесть истребителей гнали хищников от ворот Авачинской бухты на восток! К черту! В море!

На палубе «Осака-Мару» стало тихо, как осенью в поле. Пятьсот человек стояли, задрав головы, и слушали сердитое гуденье машин. Оно звучало сейчас как напутственное слово бегущим эсминцам. Краболов повернул в ворота Авачинской губы. Бухта с опрокинутым вниз конусом сопки Вилючинской и розовыми клиньями парусов казалась большим горным озером.

Мы обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на эсминцы. Они шли очень быстро, так быстро, что вода летела каскадами через палубу.

Вероятно, это были корабли высокого класса.

В. ЦЫБИН

КАМУШКИ

Сразу за высокими, забеленными теплым тополиным пухом избами Калиновки начинается Громовое ущелье: узкое, отгороженное от неба высокими вершинными снегами.

Старинное преданье говорит, что когда-то сюда провалился верх неба со всеми тучами и грозами. И теперь время от времени поднимается гром и грохочет.

Отсюда, со дна Громового ущелья, хорошо видны большие и блеклые дневные звезды. Только нужно зайти за скалу, где темно, и долго смотреть вверх, в узкий каменный просвет.

«Ночные звезды — далекие, космические, что ли, — неторопливо вдумывался Назаров, — а эти дневные — от матушки-земли. В них тяготение, потому что земля их тянет к себе. С того и падают они — и на земле уже становятся белыми, как мрамор, камешками. Если ударишь по этому камню, искры так и посыплются. Камни эти кремневые. Звездные. Для украшения земли...»

И вправду, здесь, в ущелье, на

дне грохочущей горной речушки нет-нет и блеснет белая каменная блестка и вновь померкнет. А если долго и пристально смотреть, то под желтоватым наплывом пены увидишь, как горят и переливаются самородной белизной круглые, обкатанные водой камни.

Назаров опускает руку в воду и шарит по скользким и холодным голышам — вот руку что-то обожгло: ага, тот самый, кремневый, искристый! Он с трудом достает эти камешки, то желтовато-тусклые, то темные, заросшие какой-то противной слизью, то розоватые и тяжелые, и только иногда настоящие белые, на мгновенье вспыхивающие в ладони прозрачно-молочным свечением.

Назаров чувствует ладонью, как медленно оттаивает в них ледяная остынь.

...Еще до сих пор дневные звезды кажутся похожими на эти белые камни, лежащие на дне реки Красной.

Сразу же при входе в Громовое ущелье высится Календарь-гора, предсказывающая погоду. Если над ней к вечеру станет зависать хотя бы клочок облачка — это к дождю, если ясный и чистый виднеется снег на вершине, будет вёдро.

Сегодня над Календарь-горой ни одной облачной снежинки, над острием вершины слепило свежей и прозрачной синевой.

Медленно поднимается вверх по склону лошадка Ивана Карповича. И чем выше поднимается она в гору, тем чище, прозрачней и просторней становится день, тем новей и синее зябкое небо над головой. И хотя слегка холодит от близости снежных вершин над головой, все равно душно от высокого, пеклого солнца.

Меж розового пыланья медуниц и желтого — заячьей капусты и уже успевшей отцвести материнки вьется узкая, еще приметная тропка, тесно прижимающаяся то к кустам барбариса, то к огромным камням — все дальше и выше по нагорью, к развесистому, почерневшему от времени и высоты карагачу, который все зовут деревом гостей...

Вскоре показалось и это черное дерево. Конь, почуяв лиственную прохладь, вдруг приподнял голову и заковылял чуть быстрей, грузной, перевалистой трусцой.

Назаров пустил коня пастись, а сам присел возле спрятанного в большой лопухастой траве ручейка. Зеленоватая блеклая вода негромко шелестела точно так же, как листва на дереве, и белые мелкие волнушки на воде были похожи на вороха опавших белых и текучих листьев. Назаров знал, что этот ручеек должен начинаться где-то возле корней старого дерева: под деревьями, в траве, любят прятаться птицы и родники.

И Назаров представил, что этот родничок очень похож на ласточку — столько было в нем уютного, домашнего. И ему захотелось, как когда-то в детстве, подсмотреть, откуда же берет начало этот родничок.

Торопиться было некуда — солнце еще стояло в зените. Назаров осторожно раздвинул траву, но ничего не увидел; тогда он заглянул под обнаженные корни карагача: что-то блеснуло ему в глаза — это выпрыгнул из травы солнечный зайчик, за ним выпрыгнул другой, третий, четвертый...

— Ого! — засмеялся Назаров. — Солнечные зайчики! Нашли, где прятаться!

Под большим корнем, обсыпанный легким песком с желтинками, в небольшом углублении, похожем на ласточкино гнездо, покрытый солнечными блестками шевелился родничок. И на самом донышке — круглый белый листочек струи. Назарову стало понятно, почему родничок так глубоко под корнями таится — слишком слабый, чтобы выжить в одиночестве.

Он осторожно прикрыл ручеек травой — так он делал в горах, когда находил птичьи гнезда. Теперь ему стало хорошо и спокойно — так всегда бывает у человека возле чужой беззащитной жизни.

Тень под карагачем уменьшилась до размеров попоны. И чтобы подольше удержать в себе спокойное, чистое настроение, Назаров прилег под деревом и закрыл глаза.

И вспомнилась Ивану Карповичу его давняя, убереженная только памятью жизнь...

«Чудно все это, — дремно думает он, — вроде бы большую жизнь прожил, а вроде бы она не моя. Вроде бы кто-то рассказал мне о своей жизни, и теперь я вспомнил ее». И медленно из забытья, из какой-то странной отдаленности возвращалась к нему прежняя жизнь; и Назаров понимал, что вспоминать — это печалиться сердцем... И горше всего было вспоминать Ольгу такой, какой она была, когда ждала его домой с поля; припозднится Иван Карпович, а она уже сама не своя: набросит на плечи полушалок — и в поле, навстречу к нему спешит, торопится.

— Ты чего это? — удивляется Назаров. — Тебе же нельзя волноваться, ведь ребенка ждешь.

Блеснет из-под век краешек нежной ее лукавинки и, ничего не пообещав, тут же погаснет. Насупится, словно обиженная, прижмется щекой к плечу — так и шагает с ним до калитки.

«Жизнь у меня такая была верченая, Ваня, — признается она ему дома, — никто меня не любил — ни мачеха, ни отец.

Все внушали — дуриушка. И сама я себя ие любила, верила — не за что меия любить. А вот ты взял и полюбил. И я теперь себя красивой почувствовала. Это оттого, что любишь».

Лишь заходила речь о будущем ребеике, у Оли как-то страино отмякали в уголках рта остатки теплого, нечаяиного сиа, словно, пока она возвращалась с ним домой, поспала на ходу возле его плеча.

А ночью, когда она, положив обе ладони себе под щеку, спала, Назаров тихо приваживался к ней в изголовье и придирчиво долго смотрел, привыкая к тому новому, появившемуся теперь у нее во сне. Губы плотно сжаты, словно она сдерживает в себе крик. А вот новая, незнакомая морщинка. Если бы Назаров мог, снял бы ее с лица, как паутинку.

И вот Календарь-гора скрылась сначала вершинами, а потом красновато-серыми склонами в облаках. Долго стояла она, словно окутанное белым цветением неведомое дерево. И когда облака сошли, явилась оиа в снегу, небывало ослепительном и обильном. Вскоре появился в семье у Назарова Николенька. Теперь целый деиь в доме хлопоты и суета — то соску ему подай, то взбей мыльную пеиу в корытце, то высоко, под потолок, подбрасывай его и кричи: «Выше, выше лети!»

Николеиька, подлетая под матицу, жмурит глазки и что-то лопочет, словио все поиимает.

— Ну вот, бормота, летаешь? — улыбается мать. — Летай, летай! Авось высоко потом полетишь.

— Летун! — восхищается Иван Карпович.

А весной, в первую оттепель, когда кора на деревьях только набухла, хозяйство Назарова прибавилось — ожеребилась Стрела. Кобылица была уже старой. Когда ей люди при случае смотрели в зубы, то качали головой и быстро отходили в сторону. Стрела жалела этих людей, не умеющих поиимать чужую старость. Она и сама знала, что постарела, но с достоинством держалась перед жеребцами в табуне, куда ее все чаще и чаще отпускали. Обыкновенно она паслась на пастбище на отшибе, а если молодые жеребята пытались подразнить ее, она задавала им такую трепку, что те, уже став сильными и взрослыми, почтительно махали ей гривами.

На последний свой год жизии в табуне Стрела неожиданио стала жеребой. Бока у нее округлились, а по гриве высыпали веселые гладкие блестки. А потом у нее появился жеребенок, слабый, покрытый кое-где клочками шерсти. Ноги у него расползались в стороны, когда он пытался встать, а на толстых

губах постоянно висела от забывчивости и неопрятности зеленоватая слюна.

Жеребенок был худым и поправлялся медленно. Так всегда — тот, кого не любят, долго остается маленьким. Назаров жалел жеребенка и носил ему то кусочек каймака, то лепешку, то яблочную кожурку.

— Тише, Буран, — говорил ему Назаров, — не спеши. Ты жуй вот так, медлеино, тогда будешь думать, что много съел.

И жеребеиок слушался его, жевал не спеша, закрыв глаза. А может, это он делал от слабости, или такой уж у него был характер. Потом чуть-чуть приоткрывал глаза, и сквозь длинные ресницы сочилась беспомощная нежность раннего одиночества. И Буран снова закрывал глаза и терся боком о ногу Назарова — это жеребенок вспоминал, что когда-то он был слабым.

Прошло лето, шерсть на жеребенке стала гладкой н длинной.

— Ну вот, мать, — говорил Назаров, — лошадку для Николеньки Стрела принесла.

В ту пору выбрали Назарова председателем сельсовета. Уполномоченный из города громко щелкнул замком на новеньком портфеле, сказал со смешком:

— Вникаешь? Даже портфель сейчас должен стрелять, поскольку чрезвычайный момент! Басмачн объявились. И мы должны укреплять ряды Советской власти, как классово сознательные люди над прочими элементами...

— Здорово говорншь, товарищ уполномоченный, — отгадывал умный разговор Назаров. — Вы сами знаете, какие у нас мужикн — степенные, с подковыркой, все бубнят — не поймешь к чему: «Белый цвет — студеный, черный — похоронный, а красный — беспокойный, смутьянный!»

— А ты кто? — строго спросил уполномоченный и вновь щелкнул замком портфеля. — Ты сознательный бедняк и обязан лнквидировать в себе такие речи.

— Так-то оно так, — мялся Назаров, — конечно, когда слышишь: «Голь, как моль, — все повыест». Это оскорбление классового сознаиия. Только люди-то темные, не по злобе, а по отсталостн.

— Ты, Назаров, как самый бедный н как самый сознательный, будешь здесь местной властью, — вдруг построжал уполномоченный. — Вот с басмачами справимся н выберем тебя законной Советской властью. А пока... — тут уполномоченный достал из портфеля большую, с железной ручкой печать.

«Ага, ставить печать! — догадался Назаров. — Сначала подуть, а потом прихлопнуть...»

Вечером того же дня наведался к Назарову сам Григорий Захарыч Блохин, мужик степенный, с чувством достоинства: ведь как-никак домина вровень с верхушками тополей, а во дворе коней целый табун. Что и говорить, Блохин мужик ухватистый — сила!

Блохин долго скреб ногами в сенях, откашливался, оправлял полы пиджака, наконец ступил через порог. Огляделся не спеша, прицелился:

— Живешь, Иван Карпыч, не шибко!..

— А мне и так нравится, — сказал Назаров, а про себя подумал: «Ишь, и имя-отчество мое вспомнил!»

— Пришел я к тебе, Карпыч, о справедливости поговорить, как ты власть теперь, — хитро прищурился Блохин, — о правде, значит.

— Разные правды бывают: твоя правда идет шагом, а моя — рысью; твоя — рысью, моя — галопом; твоя — галопом, наша — в намет. Нашу правду ныне на ваших бегунах не обскачешь.

— А ты знаешь, — насупился вдруг Блохин, — я уже второй год не смеюсь, все плачу... И все потому, что я своего добра не хозяин... Думаю, что поладим с тобой, Иван Карпыч, по справедливости.

Блохин степенно поднялся, надел картуз на голову, показал глазами на Олю.

— Конечно, мать, конечно, тяжело... Решили мы подкинуть тебе пудиков десять... Так сказать, взаимообразно...

Словно кипятком плеснули в лицо Назарову: не помнил, как схватил за шиворот Блохина, как распахнул дверь настежь.

Блохин медленно поднялся с сугроба, отряхнул пиджак от снега и тихо, словно для себя одного, процедил:

— Смотри, власть как качели — сегодня вверху, завтра внизу... Все вспомнится, все...

По вечерам возле Калиновки высокие текучие туманы, они плывут с вершины на вершину, плывут как птицы, когда они соскучатся по земле, где родились; и желтые звезды всходят по всему небу, крупные и плоские. И тогда не верится, что есть на земле, кроме них, еще люди с их горем и праздничной печалью жизни.

«Моя правда — Оля, моя правда — Николенька, моя правда — все люди, — поется в душе у Назарова. — Жить бы так долго — тыщу лет, и любить всех, и ничего больше не желать себе, кроме мирового счастья».

— Ты сирота, я сирота, — шепчет ему в ухо Оля. — А вместе мы — жизнь...

«Вот н прибавилась иаша семья, — заботливо перебирает в памяти события последннх дней Назаров. — Коленька подрос вместе со своим жеребенком. Только человек сам не растет — растить его нужно... Вои Буран — уже настоящий конь. А Коленька еще ползает, ползун...»

Поздно ночью в окно кто-то сильно забарабанил. Открыл Назаров дверь — в дверях Тишка Сергеев, комсомольский секретарь; лица на нем нет, одно белое пятно.

— Быстрей собирайтесь, Иван Карпович, Блохин на нас банду навел!

— Ты смотри, цыц, без паники! — прицыкнул Назаров, а сам кннулся к лошадям.

В сырой, пропахшей слежалым сеном темноте Назаров вслепую вытянул руки н наткиулся на теплый, влажио-гладкий круп Стрелы. Спустя мгновенье Стрела уже лизала, сочио причмокнвая, руки Назарову шершавымн губами. Слышно было, как над сухимн, горячечными иоздрямн Стрелы клубнлся пахнущнй жеваной травой пар. И Назаров почувствовал себя таким сильным и решительным, словио в груди у иего стучало не одно, а иесколько сердец.

Назаров вывел нз коиюшии Бурана — по длинной шее скакуна текла тяжелая, лнвневая грива. Назаров погладил у него за ушами — по тонкому крупу коня пробежала мелкая щекотная дрожь... Стрела снова потянулась к Назарову губамн н капнула ему на руку теплой слюной.

Пока Назаров седлал коня, Оля наскоро оделась, завернула ребенка в ватное одеяльце.

— Быстрей, быстрей! — торопил Тихон Сергеев и от волнеиия, должно быть, перекидывал тяжелую виитовку с рукн на руку.

Назаров помог жене взобраться в седло.

Тихо, в поводу провелн коией задами в балку, а оттуда к гориой тропе, ведущей мимо Календарь-горы к далекому городу. Всадники пустилн коней рысью. Впереди Сергеев на сельсоветском Мыштаке, потом Оля с ребеиком на Буране, а замыкающим был Назаров.

Буран шел привычным, ровным шагом, только морда у него слегка задрана вверх и тонкие ушн неподвижно навострены, словно он на их кончнках нес и боялся уронить капельки горной, прохладной тишины.

Странное дело, здесь, рядом, банда, за спиной — смерть, а Назаров спокойио, даже с какой-то тягучей ленцой думает о

Тишке Сергееве: «Вон как парень вырос за эти годы! Грамотным стал, сознательным. А раньше-то — смех, балаболка и только! Бывало, поедем в город без рубля в кармане. «На что жить будешь?» — «Сны продам, вот и деньги будут. Снов у меня хоть отбавляй — за ночь по пять-шесть вижу! И покупают!» Так и сидит у базара, улыбчивый, веселый, и шапкой накрывает следы прохожих; мол, там, где след, там и сон... А вот теперь выпрямила забота. Стал человеком... Со своим счастьем».

Назаров знал, что жизнь и счастье редко идут вместе, а чаще бегут рядом, как две обочины одной дороги.

В небе над вершинным снегом уже чуть-чуть отбеливало; предутренние сырые звезды уже заволакивало волглой облачью; и казалось, вместе с тягучим рассветным туманом стлалась над мокрой, похожей на листы капусты, травой изморозная, ознобная тишина...

Впереди Назарова едет Ольга, старательно прижимая к себе кокон из теплых одеялец, откуда выглядывало любопытное, шустрое личико Коленьки.

Путь лежал к Календарь-горе, потом по склонам этой горы над шумящей где-то далеко внизу Красной.

Когда совсем рассвело, всадники только подъезжали к подножию Календарь-горы. Кони пошли медленней. Назаров опустил поводья: он знал, что теперь конь сам найдет тропинку, которая вилась по голой северной боковине Календарь-горы, поднимаясь все выше и выше.

Внизу, в долине, видно, заметили беглецов — раздались выстрелы. Со склона горы было видно, как по долине заметались конные, потом, сбившись кучкой, направились на рысях в их сторону.

— Это погоня! Не уйти нам, Иван Карпыч! — тяжело вздохнув, сказал Тихон Сергеев. — У них кони свежее наших. А у иных по запасному в поводу.

Кони прибавили шагу, но как ни торопились, погоня слышалась все ближе и ближе, пока беглецам не стало ясно, что им не уйти — скоро застучат по камням, засвищут пули басмачей!

Тихон Сергеев спешился.

— Я здесь их подожду, — и он показал рукой назад. — Попробую задержать.

— Не надо, Тиша! — сказал Назаров.

— Все равно погибнем. Чем все, лучше я один. Я уже так решил — и бесповоротно.

Назаров понимал, что отговаривать Сергеева бесполезно. Он наскоро обнял его и, не оглядываясь, тронулся выше по тропинке.

Тихон остался один. Он не спеша высыпал патроны перед собой, пододвинул к громадному камню, нависшему над дорогой, еще несколько камней, чтобы уберечь себя до тех пор, пока не кончатся пули. Он еще никогда не стрелял в людей, другие стреляли, а он не успел, потому что не умел стрелять на ходу, когда они атаковали белых, и сейчас не представлял себе, как это он будет целиться в голову или в сердце ползущего на него врага. Ему было страшно оттого, что еще несколько минут — и ему придется убивать людей. За себя Сергееву не было страшно, о себе он забыл и думать. Да и все его молодое, здоровое существо подчинялось одной, нестерпимо отважной вере в собственное бессмертие. Для Сергеева жить значило еще быть бессмертным.

Сергеев расстелил за камнями шинель, приладил винтовку и стал ждать, смутно надеясь, что вдруг все обойдется, что басмачи повернут назад и ему не придется убивать.

Внезапно вспомнилось родное село Калиновка в весеннюю пору, когда арыки под вишнями полны до краев опавшего цвета, и он со своим братишкой Сенькой барахтается в этих волглых, клейковатых лепестинках: он швыряет горстью цветочные лепестки в Сеньку, а Сенька — в него, и оба смеются до упаду, как оглашенные.

Так неторопливо и деловито ждал чужой и своей смерти Сергеев. И когда из-за глыбы камней показались один за другим несколько всадников, Сергеев не спеша прицелился в переднего, под белую цепочку, свисающую на грудь, выстрелил. Всадник, судя по цепочке, картинно ниспадающей на грудь, — главарь, продолжал как ни в чем не бывало ехать вперед. Сергеев слыл за отличного стрелка и знал, что и сейчас не промахнулся, и на мгновенье его охватило отчаянье — сколько в них ни стреляй, они неуязвимы. Но вдруг, как будто кто-то резко толкнул всадника сзади, он повалился на гриву своего коня. И то, что он не взмахнул руками, не схватился за грудь, не крикнул, а грузно свалился вперед, не успев почувствовать своей смерти, убедило Сергеева со всей страшной очевидностью в том, что это он, Сергеев, виновен в смерти этого главаря с цепочкой.

И вот засвистели ответные пули, иные совсем рядом ударились о камни и, тонко тенькнув, отскакивали от них...

Огонь по Сергееву все больше усиливался, а сектор обстрела увеличивался — басмачи расползались в стороны, стремясь завести края полукруга за спину Тихону. Одни приближались короткими перебежками, а другие в это время старались отвлечь внимание Сергеева своими выстрелами. Уже слышны их голоса — теперь Сергееву нельзя было поднять головы.

И вдруг он почувствовал, как что-то больно хлестнуло его по лицу — так в лесу, бывало, больно хлестнет сухой веткой. Сергеев хотел подиести руку к лицу, но рука не поднялась, в глазах у иего померкло — и вдруг из иих посыпались во все стороны мелкие белые снежинки, посыпались, покатились...

Последиим упорным движеиием к жизии Сергеев схватил левой рукой камешки, но оии не поддавались, и сколько он их ни греб, все было мало. Прощальным смертным взглядом увидел Сергеев высоко-высоко над собой непорочно белую вершину Календарь-горы, похожую иа огромиое белое дерево.

Назаров еще не успел выехать на горную тропиику, вьющуюся над пропастью Громового ущелья, как до него донеслись выстрелы: сиачала одииокие, потом посыпались друг за другом дружио и густо. Эхо гортанно повторяло сухой их треск и передавалось от горы к горе.

«Как там Сергеев? — боязливо думал Назаров. — Держится? Смелый человек Тиша, справедливый. Как это так? Чужой человек умирает за чужого человека!..»

Оля, не останавливая коня, поправила одеяло на Коленьке, оглянулась — какие у иее глаза!

— Это Сергеев, да? — тихо спросила оиа.

— Ои мне сказал: «Чем все, лучше я один».

Потом вдруг сразу стало тихо. Назаров с замирающим сердцем ждал, чтобы раздался хотя бы одии выстрел. И только где-то далеко, возле окраины вечного сиега, спешило, торопилось еще не угасшее эхо перестрелки.

«Хоть бы что-нибудь случилось такое, чтобы Сергеев остался живым! — так тоскливо думал он. — Ведь ему от силы восемнадцать-девятиадцать лет...» И вдруг ои вспомнил, как смотрел им вслед Сергеев, когда остался иа повороте горы, — чуть-чуть виноватo, и губы у иего дрожали то ли от жалости, то ли оттого, что слегка озяб. А Оля чувствовала в себе горькую материнскую печаль, оберегающую всякую жизнь от забвеиия и смерти.

Чем дальше, тем уже, тем незаметней и обломанней тропинка. Вот оиа уже боязливо прижалась к камеиной крутизие, обвилась вокруг иее иад самой пропастью. Сверху холодные снега нависают; далеко виизу разбивает свои волны о камни река Красная — ее почти ие видио, только сиизу, из ущелья, поднимается грузный грохот. Если чуть-чуть перегнуться иад про-

пастью, то можно увидеть огромные, развесистые кусты брызг, опадающие в гуле и грохоте с влажным и грозным шуршанием.

Кони, почуяв под ногами пропасть, стали ступать осторожнее. Всадники отпустили поводья: теперь коням нельзя мешать, малейшее неверное или отвлекающее движение — и можно сорваться.

Назаров вспомнил, что Буран не знает этой тропинки, всех ее извивов, и нужно было ему ехать на Стреле впереди. Но теперь уже поздно: как поменяешься местами, если тропа, втиснутая в гранит крутизны, не шире двух конских копыт? Сейчас нужно молчать. Малейший лишний звук — конь вздрагивает, и тогда все пропало — гибель. Главное, добраться до поворота горы, а там крутизна пойдет в уклон.

Назарову не нравилось, что их кони идут вплотную, что, судя по всему, недавно здесь прошел дождь, и камни скалы стали гладкими и скользкими. Он старался придержать Стрелу, чтобы они не мешали друг другу, но сделать это было трудно — Стрела инстинктивно спешила быть поближе к Бурану, как будто чужая жизнь могла охранить его от случайностей.

...Буран шел ровно и уверенно, не торопясь, глядя прямо перед собой. Только по тому, как наструнены его ноги и навострены кончики ушей, можно было судить, как ему трудно.

Уже недалеко до поворота — два-три шага. И вдруг из-под копыт Бурана обломился край тропинки — конь поскользнулся и стал заваливаться задними копытами в пропасть. Это произошло в какое-то мгновение, Назаров даже не успел понять, что ему делать.

Ольга, откидываясь назад вместе с конем, последним, нечеловеческим усилием успела бросить на руки столкнувшемуся с ними Назарову ребенка.

— Держи! — только и успела крикнуть она.

В смертельном испуге дико заржал Буран и полетел вместе с всадницей в пропасть.

Назаров еле удержался в седле, качнулся. Стрела рванулась вперед, в каком-то немыслимом скачке перепрыгнула опасное место.

За поворотом тропинка стала широкой. Назаров остановил лошадь и, крепко прижимая к груди Коленьку, осторожно спешился. Потом положил ребенка возле скалы, а сам, ухватившись за куст барбариса, росший на краю крутизны, свесился над пропастью, но ничего не увидел. Только над большими валунами густо клубилась белая тьма.

Где-то за горой, за темным изгибом пропасти, снова прогремели выстрелы, и Коленька заплакал.

Назаров поднял ребенка, откинул угол одеяла, и на него взглянули заплаканные, с какой-то нестерпимой печалинкой глаза его Оли...

Только теперь поверив, что жены не стало, Назаров застонал, почувствовав в себе больное, одинокое сердце...

Шли дожди всю весну. Земля, укрытая белой облачью, терпеливо ждала тех дней, когда сможет принять в себя теплые, живые семена пшеницы... Потом вдруг враз разъяснило, и, огибая с двух сторон Календарь-гору, потянулись к северу журавли и гуси, издали похожие на большие, облетевшие с какого-то неведомого дерева листья. А Календарь-гора белела своими ясными вершинными снегами. И от этих снегов исходил такой тепло-влажный свет, что казалось, будто иа вершиие горы зацвели неудержимым, проливным цветением густые вишиевые сады.

В глазах потемнело. Померкла степь. Померкло около гостеприимного дерева. Все стало вдруг одинаковым, как небо летом над горами. Все стало степью. Все озвучилось степью. И тогда, чтобы испытать себя на правду и печаль, Назаров спросил у гор:

— Скажите, где моя Оля?

«Она в тебе!» — ответили горы.

И Назаров смутился от невеселой правоты этих слов. Ои видит бредущего по степи человека, старого-старого, как снег на зимней Календарь-горе. Идет, окутанный с головы до ног то ли пылью, то ли ковыльным распылом. Издалека видно его, а станешь присматриваться, когда он подойдет ближе, — иет его. Каким-то неподвластным ему чутьем чувствовал Назаров, что нужно окликнуть этого человека — это очень важио, чтобы узнать в нем самого себя.

Открыл Назаров глаза, и грустно стало, что не сумел он удержать в себе сиа и оттого не услышал ответа. И он заплакал, словно обманутый в чем-то главном и таинственном.

А когда совсем устал от грусти, увидел он что-то черное — без рук, без ног, без глаз, без лица — катится, как перекати-поле от одной вершины к другой.

Догадался Назаров, что это эхо — то давнее эхо перестрелки. Но эхо не вернуло ему голоса Оли...

Назаров очнулся и увидел, что солнце уже перевалило за полдень. Нужно было собираться. Он нагнулся к зарослям травы и долго отыскивал тот давний родничок, из которого выпрыгивали солнечные зайчики. Родничок еще струился, похожий чем-то на пламя новогодней свечи.

— Ну беги, беги! — ласково сказал ему, как живому, Назаров, почувствовав в себе оттого, что жив этот родничок, уверенное спокойствие за все сущее на земле.

Потом он прошелся вдоль ручейка, вытекавшего из родника, — он знал, что по всему течению этого ручейка лежат белые самородные камушки. Белые, как день, камушки, из которых можно высекать кремнем искры.

Назаров нагнулся и стал собирать эти камушки в старую торбу: он подбирал их не спеша, один к другому, чтобы были гладкие и без единого пятнышка. Он собирал долго, пока не наполнилась торба, тогда он оседлал коня и тронулся туда, где за Календарь-горой звенело от речного грохота холодное ущелье и где теперь гудели гудки паровозов.

На том самом повороте, где когда-то погибла его мать, а теперь шла колея железной дороги, Николай Назаров, высунувшись из кабины паровоза, увидел с двух сторон шпал ровные линии, выложенные из ослепительно белых, невиданных здесь камушков.

«Интересно, откуда? — подумал Николай. — Вчера еще их не было здесь. Значит, недавно».

Мелькнула фигура старика на неторопливой клячонке, спешащего куда-то по старой, еще довоенной дороге.

«Да это же отец! — узнал Николай. — Это он откуда-то привез белые камушки, выложил ими поворот дороги. Сдавать стал старик, а все-таки молодец», — нежно думал об отце Николай.

А поезд летел, подобно реке, громыхая, подняв над собой свое собственное облако — длинное, густое. И если посмотреть сверху, с горы, где когда-то была тропинка, то могло показаться, что он тянет за собой какое-то огромное лохматое дерево...

Каждое лето приезжает сюда, в ущелье, на памятный поворот старик Назаров, спешивается, садится возле огромного замшелого валуна и о чем-то долго и забывчиво думает. Может быть, о Блохине, давным-давно похороненном в каком-нибудь безвестном ущелье.

Не торопясь поднимается с торбой в руках на железнодорожную насыпь, и начинается работа — камешек к камешку, белые, словно точеные, укладывает он по бокам шпал, продолжая ту линию, которую он начал десять лет назад.

В ущелье сумрачно, сгущаются тени, а высоко над горами, даже выше Календарь-горы, еще плавает день, ясный, прозрачный, без единого облачка.

— Оля, — тихо шепчет старик, — вот я и пришел к тебе. Я уже старый, Оля. Ты теперь бы меня и не узнала, Оля...

Он неторопливо спускается с насыпи, и сердце его наполнено горькой нежностью к прошлой жизни.

ОБ АВТОРАХ

У истоков добра и света

Первый учитель...

Нет честного сердца, которое не встрепенется, не переполнится теплом и благодарностью при этих словах. Каждый вспомнит о человеке, который научил его читать и писать, знать свою Родину, понимать, что происходит на земле. Воспоминания эти бесконечны, как бесконечна признательность тем, кто заложил в нас восприятие жизни, которое формирует завтрашний день. И суть совсем не в том, кто был твоим первым наставником, отец или мать, школьный преподаватель, мастер на производстве или просто сосед по дому. Важно то, что он обогатил тебя не только знаниями, профессиональным опытом, но и передал частицу своей души. В самом начале повести «Первый учитель» автор заметит, что эта тема «кажется мне настолько огромной, что я не могу ее объять», и призывает учителя в соавторы, ибо речь идет о познании глубинных процессов, происходящих в жизни страны и человека, о непреходящих вопросах поиска истины.

Чингиз Айтматов умеет поведать людям о событиях, отдаленных десятилетиями так горячо и страстно, словно все это происходило только вчера. Настоящий писатель всегда стремится увидеть не только общее, но и частное, понять не только смысл великих исторических поворотов, но и то, что происходит в сознании, в сердце отдельных людей, тех, кто собственно и создает историю. У киргизского народа есть мудрая пословица: «Только взобравшись на гору, увидишь пройденный путь». «Первый учитель» — это наше героическое прошлое, осмысленное с позиций современности. Это повесть о том, как закладывались первые камни в фундамент светлого здания, в котором мы живем сегодня. В памяти пожилых людей она воскресит картины минувшего, позволит мысленно окинуть взглядом пройденный путь, собственные дела и свершения. А молодежи поможет лучше познать прежнюю жизнь, труд и борьбу отцов и дедов, всего старшего поколения. Она как бы приблизит и оживит ту эпоху, которая даже для людей среднего возраста стала уже историей. Как и многие другие произведения писателя, повесть «Первый учитель» утверждает те социальные идеи и моральные ценности, высокую ответственность человека перед жизнью во всем ее многообразии, которые составляют суть обновления мира на новых, коммунистических началах. И тем самым помогает зримо ощутить, прочувствовать и лучше понять трудную, но мужественную и прекрасную историю нашего народа, революционное прошлое и настоящее великой ленинской партии.

Шел шестой год Советской власти... Это было время сотворения нового мира, когда на пустырях возникали города, а в рабочих бараках, крестьянских избах и войлочных юртах росли будущие академики, стахановцы, герои Великой Отечественной войны. Открывались рабфаки и трудовые коммуны, организовывались колхозы, возводились первенцы новой индустрии — Волховстрой и Шатура, реализовался план ГОЭЛРО. И все это для того, чтобы знания были доступны для всех, как солнце, чтобы

потомки землепашцев и пастухов могли изучать кибернетику и наслаждаться творениями Толстого и Гёте, а сложность мысли и тонкость чувствований все более становились достоянием каждого.

Ленинские идеи — прометеев огонь XX века, искры которого долетели в те далекие дни до маленького киргизского аила и на суровом ветру разгорались пламенем новой жизни. В маленькой школе, открытой для аильской детворы комсомольцем Дюйшеном в заброшенной, с зияющими щелями конюшне, где партами служила солома на полу и дощечки на коленях — гуманистическая суть и глубина социалистического преобразования жизни, увиденная и рассказанная писателем. В этой небольшой повести — острейший социальный конфликт, сложное переплетение человеческих судеб, неистовая борьба двух противоположных начал: света и тьмы. Предки Дюйшена и его учеников кочевали со своими стадами и табунами, ловили рыбу, пахали землю. Но книги и знания были им недоступны. «Степь и песок, песок и степь, поросшая саксаулом и колючкой, жгучее солнце, печальные становища Киргизии, подернутые мглой песчаной метели» — таким предстал этот край перед русским исследователем прошлого века (см.: «Живописная России», «Отечество наше», т. X, изд. 1885 г.).

Очистительная буря Октября спасла киргизов и другие народы окраин Российской империи от национальной катастрофы, от разорения и вымирания. Смысл жизни, исканий и открытий Дюйшена в борьбе против веками тяготевшего над его народом проклятья — темноты и бесправия. Путь первого учителя тернист и труден...

Вернувшийся с фронтов гражданской войны, Дюйшен послан комсомолом в родной аил учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. Неожиданно для себя он встретит глухую стену непонимания со стороны взрослых. «Нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение», — скажут ему на сельской сходке. Да, в ту пору стремительные темпы революции нередко вступали в прямое разногласие с косностью и веками укоренившимися привычками. Снося оскорбления и насмешки односельчан (а иные и до конца дней своих по достоинству не оценят его человеческого подвига), Дюйшен один будет ремонтировать, готовить для школы старую мазанку, а когда занятия начнутся и подступит зима, станет на руках переносить детей через ледяную, обжигающую ноги речку. Но этот малограмотный парень, сам с трудом читающий по слогам, идет своим путем с непоколебимой верой в правоту и конечную победу великой ленинской правды: для построения новой жизни нужны не только рабочие руки, но и знания, инициатива миллионов в больших и малых делах, стремление больше видеть и понимать в окружающей жизни, разбираться в подлинных и мнимых ценностях.

Сам плоть от плоти своего народа, Дюйшен хорошо знает, что люди труда больше всего не любят фальшь и быстро ее распознают. Понятно и доходчиво объяснит он своим землякам: «Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как и вы, говорить, зачем нам нужна

школа, зачем нам нужно учение, то дела Советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла и жила». Ученикам же своим многократно повторит: «Все лучшее еще впереди». И сделает это так, что они, забыв о холоде и голоде, о том, что нет учебников и не хватает бумаги, поймут, что перед ними открывается новый, неслыханный и невиданный мир.

Первое, что увидела переступившая порог приспособленного под школу сарая аильская детвора, был отпечатанный на простой плакатной бумаге ленинский портрет. Осунувшийся, с рукой на перевязи, ласково и внимательно Ильич смотрел со стены на первых школьников, а его мягкий, согревающий взгляд словно говорил: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Одним из первых слов, выведенных неумелыми и озябшими детскими руками, было имя вождя революции. О Ленине Дюйшен рассказывал своим ученикам так, словно видел его своими глазами. Суровой горечью и сжимающей сердце скорбью пронизано описание пришедшей в школу вести о кончине Ильича. «В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур, в тот скорбный час и мы, маленькая частица народа, затаив дыхание торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем. Там, в не ведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, мы прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем». А старый Картанбай, утешая в эти тяжелые дни Дюйшена, мудро и просто скажет: «Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови: от отцов к сыновьям». Так занималась заря нового мира. Такими воспитал своих учеников Дюйшен. Так люди учились мерить жизнь по Ленину. И любимая ученица Дюйшена, став прославленным академиком, будет думать и говорить о «способности по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин». Прямо или косвенно тема Ленина, ленинской правды и ленинского отношения к людям проходит через всю повесть. Это небольшой по объему, но дорогой нам вклад в Лениниану советской литературы.

Несмотря на жестокую борьбу и неравенство сил, столкнувшихся в маленьком аиле, у Дюйшена ни разу не возникает чувства безысходности. Вера в торжество великой цели уничтожения всех видов эксплуатации, рабства и невежества укрепляет и закаляет его, помогает переносить все невзгоды. Герой повести принадлежит к людям того неповторимого поколения, юность которого была озарена пламенем великой революции и наполнена высочайшим сознанием гражданского долга. Они были разведчиками человечества. Безграничны их душевная щедрость, чистота помыслов и неутоленная жажда счастья. Пройдут годы, Дюйшен увидит идеалы его и многих других беззаветных рыцарей революции воплощенными в делах и свершениях последующих поколений. Первый учитель, первый коммунист аила Куркуреу уйдет на фронт защищать от фашизма свой народ, свою правду и тех, кого он учил азам грамоты. А после войны будет так же честно работать колхозным мирабом и на склоне лет — почтальоном. Но навсегда останется верным своим принципам, что бы ему ни приходилось делать: учить детей, защищать Родину или развозить колхозную почту.

«Первый учитель» — повествование о сложном процессе нравственного обогащения человека социалистическим гуманизмом. Делом и словом своим коммунист ленинского призыва Дюйшен помогает сироте Алтынай избавиться от прежних представлений о женской судьбе, утвердиться в новых понятиях о взаимоотношениях с миром, в котором ей предстоит жить. Социализм открыл перед учениками Дюйшена возможности не только для обретения материального благополучия, он раздвинул их духовный горизонт, пробудил интеллект, дал сознание не только своих прав, но и обязанностей.

Во многих произведениях Айтматова идеал духовной красоты, нравственной силы и человечности — в женских образах. Может быть, поэтому и «Первый учитель» — светлая и грустная, героическая и до последней детали достоверная история о «первом настоящем наставнике детворы в киргизском аиле» рассказана его любимой ученицей Алтынай. Мудрость и боль, чуткое восприятие женского сердца позволяют писателю сделать скупую ткань повествования тонкой и сквозь дымку воспоминаний наполненной глубоким смыслом и чувством.

Алтынай пройдет через самое страшное испытание, которое может выпасть на долю не только пятнадцатилетней девушки, но и женщины вообще — надругательство, насилие, попрание человеческого достоинства. Отживающий мир попытался превратить Алтынай, как и многих до нее, в рабыню телом и душой. Исторгнутым из глубины души проклятьем прозвучит ее возглас: «Пусть содрогнется черный мрак тех времен!»

Но Алтынай перешагнет через судьбу тысяч и тысяч своих предшественниц. Потому что новые ветры уже подули в горах Тянь-Шаня и долинах Семиречья. Потому что юным сердцем и разумом своим она уже прикоснулась к новому миру добра и света. Потому что рядом с ней учитель Дюйшен. Это он в самую страшную пору согреет девушку теплом своего сердца, посоветует смыть грязь унижения и поругания в бурном потоке светлой горной речушки, укажет путь возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам. И, провожая в город, нежно скажет: «Прощай, огонек мой!» Он сам зажег этот огонек. И всю жизнь Алтынай будет помнить и чувствовать высокую ответственность перед своим первым учителем, не отступать, преодолевать трудности. Так люди через годы и десятилетия несут на себе отпечаток личности близких и старших своих современников. Жизнь и дела академика Алтынай Сулеймановой станут продолжением жизни и нерукотворным памятником полузабытому односельчанами учителю Дюйшену.

Писатель не берется показать трагизм жизни, ее противоречия, жестокие порой будни. Отдельные страницы «Первого учителя», других его рассказов и повестей полны возвышенной печали. Не все удается и не все воздается их героям. Не сидит в президиуме собрания на открытии заложенной его подвижническим трудом новой школы-интерната первый учитель аила Дюйшен, не доплывет до синей кромки Иссык-Куля и не сядет на белый пароход маленький герой «После сказки», не увидят потерянных на войне сыновей старики Момун и Чордон («Свидание с сыном»).

Жизнь народа, его горести и радости, повседневный труд, вся его великая и непростая судьба для Айтматова — не «пред-

мет» отображения. Он сам частица и представитель народа, по праву говорящий от его имени. Только писатель, живущий одной с народом жизнью, понимает всю меру своей ответственности перед ним.

Поэтому в лиричных, полных добрых чувств произведениях Айтматова всегда идет бой с эгоизмом, лицемерием и стяжательством, бескомпромиссная борьба против мещанского «мурла» аильного или столичного, но всегда сытого, самодовольного, не верящего в высокие истины и романтику, а потому все более жадного и алчущего. Как бы между прочим, он открыто и резко прозвучит в притче из повести «После сказки»: «Худо, когда люди не умом блещут, а богатством. Еще в древности люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня — безрассудство». Но для того, чтобы мерзость прошлого была до конца познана и разоблачена, писатель оценивает его с высоты достижений настоящего, равняя настоящее по будущему.

С этих позиций подходит Айтматов и к проблеме, которую принято именовать «проблемой поколений». Ведь сама повесть «Первый учитель» — это неизгладимое и бережно хранимое в нашей памяти воспоминание о прошлом, подготовившем, очищающем и проверяющем на прочность сегодняшний день. «У всего живого есть своя весна и своя осень», — говорит Алтынай Сулейманова. Видимо, не случайно эта тема так часто возникает в рассказах и повестях Айтматова, а одни из любимых героев писателя — старики и дети. Кто-то сказал, что старость прекрасна, когда она воспринимается как осознанная необходимость. Но для писателя «проблема поколений» — не в разобщенности и отчужденности людей, возраст которых различается двадцатью, тридцатью годами. Айтматов дает ясный и честный ответ на этот вопрос: отдай грядущему все лучшее, что есть у тебя, и пусть будущие поколения не забывают и будут достойны лучших своих предшественников. Такую жизненную позицию может занимать только художник-коммунист, серьезно и ответственно думающий о том, что мы оставим в наследство идущим на смену поколениям, в чьи руки передадим все завоеванное и накопленное, весь жар души, свою любовь и ненависть, могучую созидательную силу и разящую врага убежденность правоты.

Выступая на XV съезде ВЛКСМ, Леонид Ильич Брежнев говорил: «Каждое новое поколение революционеров решает новые исторические задачи и находит для этого соответствующие методы, свой стиль борьбы и жизни, который никто другой за него выработать не может. Надо не копировать героев прошлого, а перенять существо их закаленных революцией характеров, перенять их революционную страстность, их глубокую коммунистическую убежденность, беззаветную преданность великому делу нашей партии, их огненный романтизм и неугасимую ненависть к врагам революции»*. Нынешняя молодежь живет в иных условиях, ее жизненный опыт отличается от накопленного предыдущими поколениями. Молодые, воспитанные в нашей жизни, на наших идеях, проверяют их сегодняшней действительностью, своим собственным опытом, бережно храня величие и благородство революционных традиций, у истоков которых стоял

* Сб. «О коммунистическом воспитании трудящихся», с. 52.

Ленин. Продолжать и развивать эти традиции — значит верно служить делу народа, интересам людей труда и идти вперед дорогой отцов, никогда не терять ощущения духовной преемственности и непрерывной связи с теми, кто закладывал основы, возводил и защищал светлый мир добра и справедливости, в котором завтра будет жить все человечество.

Сегодняшний читатель вновь и вновь обращается к написанному Айтматовым, чтобы лучше понять своих современников и самого себя. Познание самих себя и своего прошлого все в большей степени становится нравственной потребностью, примечательной чертой нашего времени. В «Первом учителе», повествующем о событиях, более чем полувековой давности, на каждой странице — современное ощущение и понимание мира. В изменившихся условиях, в иных формах и при другом соотношении сил, но и сегодня идет бой между добром и злом, эгоизмом и истинным товариществом, душевной красотой и моральным уродством, дерзанием и рутиной. И если писатель заглядывает в прошлое, то не для того ли, чтобы лучше понять, как правильно жить и поступать сегодня.

Такие книги делают читателя сильнее, чище, непримиримее ко всем остаткам зла на земле. Сложный и просторный мир мыслей и чувств учителя Дюйшена, академика Алтынай Сулеймановой и других героев Айтматова неповторим и в то же время близок нашим современникам. Выстраданная ими убежденность и высокая гражданственность сегодня — главное мерило подлинной ценности советского человека.

Дюйшен и Алтынай дороги нам своим подвижничеством ради высокой общечеловеческой цели, верности долгу, отвращением к насилию, умением идти трудным путем первопроходцев, сопереживать горю другого, чувствовать красоту природы во всей ее величественной простоте. Каждый раз, встречаясь с такими героями в литературе и думая об их судьбе, невольно спросишь себя: а ты бы смог? В этом вернейший признак подлинной литературы, воздействующей на читателя через потрясение человеческих чувств. Таков мужественный реализм Айтматова, сочетающий идейную глубину, жизненную правду и простоту с высоким профессионализмом. Он помогает лучше осмыслить органическую взаимосвязь нашей жизни с тем прошедшим, но незабываемым временем. Как глоток свежего воздуха, как светлая струя родниковой воды, как правдивая, порой горькая, история жизни, рассказанная в повести «Первый учитель», еще раз напоминает и утверждает, что в центре всех знаний, политических противоборств, произведений искусства и достижений науки был, есть и всегда будет Человек. Повседневная жизнь проста, но она диктует и свои непреложные законы: чему бы ты ни поклонялся сегодня, завтра она неумолимо спросит: не только чем жил, но и во имя чего жил. И в этом вопросе прошлое и настоящее всегда рядом.

Высокое горение души, беззаветная преданность ленинской правде жизни, самоотверженность в большом и малом передал своим ученикам Дюйшен. Все это было устремлено к одной цели: перестроить жизнь своих земляков, сделать ее более достойной. И пусть этого морального права — учить всегда — будут достойны те, кто входит преподавать в просторные светлые классы современных школ, в оборудованные по последнему

слову техники институтские аудитории или на лекторскую кафедру. И если однажды усталость или жизненная невзгода приглушат их вдохновение, пусть вспомнят одержимость учителя Дюйшена, его проникновенную веру в труд, добро и знания.

И еще об одном хочется сказать в связи с повестью «Первый учитель» — взволнованным рассказом о возникновении маленькой школы в далеком киргизском аиле. В 1919 году Владимир Ильич Ленин писал: «Для всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч миллионов людей будет иметь практическое значение отношение Советской рабоче-крестьянской республики к слабым, доныне угнетенным народам». (Соч., изд. 4, т. 30, с. 17.) Таков был ленинский наказ Дюйшену и другим «товарищам коммунистам Туркестана». И они его с честью выполнили. Но еще многим народам земли предстоит пройти этот проверенный исторической практикой и возведенный социалистическими странами в ранг государственной политики путь из глубины вековой отсталости и кабалы в мир добра и справедливости, света и разума. В наши дни, видя, как юноша из Гаваны учил грамоте пожилых гуахирос, мы говорим про себя: «Спасибо тебе, Дюйшен!» Когда в джунглях Южного Вьетнама хрупкая женщина читала вслух газету бойцам армии Освобождения, мы думали: «Здравствуй, Алтынай!»

Великая схватка противостоящих классов не только не кончилась, она продолжается и становится все сложнее. Для философии и литературы угнетателей разных эпох характерен один общий пункт: человек не может быть ни предметом любви, ни даже предметом сочувствия, а определяющее его бытие тенденция — «воля к власти», стремление к превосходству над другими. Взращенный на этих идеях фашизм нес гибель жизни, смерть нациям, крушение культурам.

Не случайно и ныне на этой мировоззренческой платформе сходятся пути многих новейших философских и социологических теорий буржуазии, этика и эстетика мира капитализма. Но этот мир обречен. Он навсегда утратил стабильность, превратился в мир хронического кризиса, мир без будущего. Ему противостоят и побеждают оптимистическая, человеколюбивая и жизнеутверждающая философия марксизма-ленинизма, высокие духовные ценности, созданные веками прогресса и укрепленные опытом социализма. Завершается тяжкий и долгий период «предыстории человечества». Однако сохранятся и будут жить в памяти людей миф о Прометее, легенда о Данко и айтматовская повесть о первом учителе киргизского аила.

Чингиз Айтматов вошел в нашу многонациональную литературу стремительно и звонко. Опубликованная в Москве в 1958 году повесть «Джамиля» сразу же привлекла внимание своей свежестью, чистотой и каким-то особым доверием к человеку. Читатель сразу услышал в его произведениях голос доброго друга, готового делить все горести и радости. В 1962 году за книгу «Повести степей и гор» автор был удостоен Ленинской премии. Сегодня его произведения издаются на многих языках в нашей стране и за рубежом, ставятся в театре, кинематографе и на телевидении, передаются по радио. Читатель ждет от писателя нового большого романа.

В народном признании его книг — счастливый удел и долгая жизнь прозы Айтматова. В последней повести «Ранние жура-

ли» он продолжает тему борьбы во имя добра, справедливости и человеческого достоинства с той же страстью и убежденностью, на которые способен лишь писатель-гуманист, наш современник и единомышленник. Многое из написанного Айтматовым зовет к действию, к великой правде борьбы, к утверждению правды.

Творчество Айтматова имеет глубокие национальные корни. Но «дым Отечества» для писателя — это и свет ленинских идей, и первая школа аила, сказания стариков. Могучий Енисей и два тополя, посаженные Дюйшеном и Алтынай, — все то, что для советского человека объединяется великим понятием — Родина. Такие корни постоянно и повсеместно дают ростки, которые, расцветая, приносят щедрые плоды под добрым солнцем и в чистом воздухе нашей страны, ставшей подлинным Отечеством счастливых поколений.

А с этим связано самое дорогое: дети и будущее.

Л. Мосин

Именем справедливости

Двое людей, один, умудренный опытом, Павел Григорьевич Демидов, другой, усыновленный им мвльчик Вовка, переименованный Демидовым в Гриньку, ведут разговор о жизни, о земле, о человеке. Демидов утверждает, что все на белом свете — от земли, которая трудится на человека. И наставительно говорит:

«— Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе — человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?

— Ага.

— Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет никогда у тебя душа... какую бы подлую люди ни сделали тебе подлость».

Сорвавшееся последнее признание заставило Павла Григорьевича долго объяснять сыну свое понимание добрых и подлых людей, пытаться ответить на вопрос, где же провести грань между этими понятиями. В конце концов Гринька устал от этой отцовской диалектики «с одного боку, с другого боку». И он заключает: «По справедливости надо действовать».

«— Справедливость... Это тоже, сынок, штука мудреная, много сторон имеет. Каждый ее по-своему, видно, понимает...» В конце концов так и не удовлетворив «допросчика», Демидов заставляет сына спать...

В этой сцене из повести «Жизнь на грешной земле» не только ее главный смысл, но, думается, и суть самого творчества Анатолия Иванова, известного у нас в стране и за рубежом своими романами «Повитель», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов». Собственно в каждом из них на конкретном жизненном материале писатель показывает поиск этой самой справедливости в жизни на нашей святой и грешной земле, разбуженной к такому поиску очистительным громом Великого Октября.

Не каждому из героев его произведений, как и Павлу Григорьевичу Демидову, удалось определить даже для себя понятие справедливости. Одни просто и не пытались ее искать,

думая, что обрели ее раз и навсегда. А когда она не сходнлась в своих представлениях с теми иовшествами, которые несло с собой время, оии оказывались ее злостнымн врагамн, как, скажем, Петр и Григорий Бородины в романе «Повитель», Константин Жуков и Серафима Клычкова в романе «Тенн исчезают в полдень», купец Кафтанов и Демьян Ииютин в ромаие «Вечный зов». Другие долго и мучнтельно брели каждый своей тропой, через муки прозрення, к этой самой справедливости новой жизни. Таким путем не по своей вине — трудным, трагичным — шел к разговору с сыиом и Павел Григорьевич Демидов. Он нутром вроде бы ощущал, что правда действительио сильнее кривды, добрых людей больше, чем злых, а вот в чем же справедливость... Вот и получалось «с одного боку, с другого».

А писатель знает ее н отвечает на этот вопрос опять же всем своим творчеством и всем ходом двнжения повествовання о жизни доброго, сметливого человека, которому судьба уготовила нелегкие нспытания в путн. Именио за эту справедливость нашего государственного и общественного строя, основанных на подлинной человеческой гуманности, сражались с царизмом, белогвардейцамн, контрреволюцией, с фашнстами любнмые герои Анатолия Иванова — Марья Воронова н Захар Большаков, редактор Смирнов и сын Жукова-Морозова в романе «Тенн исчезают в полдень», Антон Савельев н Полнкарп Кружилнн, Яков Алейников и Паикрат Назаров, сыновья Кружнлнна и Назарова в романе «Вечный зов». Онн утверждалн ее, эту справедлнвость, совершая порой ошнбки, горькне, непоправнмые. Но н нарушення этой справедливости н иарушающие ее бесснльны перед правдой жизни, правдой неумолимого движення нсторни. Вот в чем фнлософский смысл всего созданного пнсателем и повестн «Жнзнь на грешной земле» в особенности, нбо она как раз н пронизана этой философской мыслью.

Но философия тогда действенна, когда она обеспечеиа жизиенной правдой. Для художника эта правда всегда результат лнчного опыта и познания исторнн в соотиесенности ее с пережитым. Сам Анатолнй Иванов неоднократно подчеркнвал мысль о том, что он, деревенский мальчншка, выросшнй в далеком сибирском селе, рано оставшийся без отца третьнм ребенком иа руках матери, вряд ли бы смог стать не только пнсателем, ио и постичь грамоту, еслн бы на родиой земле ие было Советской власти. За этими словами стонт постигнутая сердцем справедливость, которую нспытали и нспытывают поиыне, не замечая и не отдавая подчас себе отчет в этом, большинство советских людей.

И уж коли зашел разговор о какнх-то биографнческнх данных писателя, то, вндимо, следует кратко продолжить его. Биография во многом похожа на жизни его сверстников, вступнвшнх в отрочество свое, когда иачалась Велнкая Отечествениая война. Учась в школе, он работал в колхозе. После войны окончил десятилетку и поступнл в Алма-атинскнй государствеиный университет на факультет журналистики. Потом служил в Советской Армии, работал в военной печатн. После демобнлнзацин работал редактором районной газеты. И вот тут-то и начал писать.

Писательская биография, уже иеповторимая, непохожая, началась с 1954 года, когда в журнале «Крестьянка» был опу-

бликован его первый рассказ «Дождь». Потом были написаны другие рассказы, среди которых, несомненно, выделяется — «Алкины песни». На основе его было написано либретто и поставлена опера в Новосибирском оперном театре.

Но настоящее признание пришло к Анатолию Иванову после появления его романа «Повитель» (1958 г.).

«В романе «Повитель», — рассказывает сам автор, — я попытался ответить прежде всего себе — что же происходит в нашем новом, социалистическом обществе с людьми — последними могиканами старого мира, насквозь прожженными неуемной жаждой частной собственности? Люди эти (в романе Григорий Бородин) порою знают и любят землю, умеют работать и, пойми они смысл революции и времени, много полезного смогли бы сделать для общества, а значит, и для себя. Но в том-то и дело, что многие из подобных людей не в состоянии увидеть этот великий смысл и, пораженные своей неизлечимой болезнью, задыхаются в ненависти к новому времени, к новому обществу, доходят в своих поступках до маразма и в конце концов как личности умирают, погибают».

Собственно, к такой категории людей, видимо, принадлежит и Денис Макшеев в повести «Жизнь на грешной земле». Причем мы только по одному штриху, предположительно, по слухам, знаем о его социальном прошлом — он сын лабазника в Красноярске, лишенный лабаза революцией. Казалось бы, штрих, но он очень важен в художественном мире А. Иванова, выводящего непременно нравственное в человеке из его социального. Причем каждый раз писателя интересует не только цельность и завершенность натуры героя, но наряду с этим и его идейные убеждения. Причем эти две стороны человеческой личности взаимопроникнуты, а данные в диаматике, они и дают нам «диаграмму» рождения, складывания и завершения характера.

В отношении Дениса эта «диаграмма» дается фрагментарно, в силу логики соприкосновения с ним Демидова. Но каждое такое соприкосновение дает основание Павлу Григорьевичу убеждаться во все большей и большей деградации этого человека. И помогает ему в этом как раз убежденность в собственной правоте, за которой стояла правда нашей жизни.

А. Иванов уже в ранних рассказах обнаружил познание одного из важных принципов реалистического искусства. Он заключается в том, что любой реалистически воспроизведенный персонаж непременно стоит перед выбором своего пути, своей дороги в жизни, даже тогда, когда, казалось бы, жизнь определила твой путь. Но есть еще духовный выбор, выбор совести. Помните, Мария спрашивает, почему Павел не оставил Дениса в проруби, а помог ему выползти? Ведь никто же этого не видел? «Да-а... — говорит ей Павел. — А сам-то бы я забыл, что ли, об этом? Взял бы, да и забыл?» Так что и здесь остается этот выбор. Причем перед героем нет трех дорог с традиционным камнем, где согласно обозначенному маршруту он мог бы выявить какую-то одну ведущую черту характера. Выбор пути героя реалистического произведения всегда требует мужества, ибо в пути нужно будет отстаивать свои принципы, свою позицию, свою гражданскую сущность.

Ну если относительно, скажем, для Захара Большакова в романе «Тени исчезают в полдень» или Антона Савельева в рома-

не «Вечный зов» все сказанное вроде бы верно, то какое отношение это имеет к Павлу Демидову? Напротив, писатель все время подчеркивает и его чудаковатость, и какое-то отсутствующее присутствие в лагере, в плену. В чем, собственно, принципы, позиция? Есть, правда, позиция — терпеливость и самооправдание в том, что не отомстил Макшееву.

Действительно, может показаться, что писатель где-то нарочито усиливает, подчеркивает терпеливость своего Павла Демидова, нарушая вроде бы правду развития характера, логику его проявлеиия в действии. Порой даже до самоосуждения героя в своей гаденькой доброте. И все это во имя якобы выработанной им самим программы своего поведения: «хоть и несправедливо обошлась с ним судьба, а *надо доказать, что он человек все же, человеком и останется*» (курсив мой. — *Б. Л.*). Причем иастойчиво, с удивительным упорством он претворяет данное самому себе обещание в жизнь, наступая на горло своей жажде мщения, которая буквально иногда сжигает его.

Но не так проста сама по себе эта жизненная программа героя. И вовсе ие писательский диктат определяет ее. Чутьем художника А. Иванов уловил и силой слова воспроизвел одну из самых корениых и традиционных свойств русского национального характера. Сложность и тяжесть судьбы на протяжении долгой истории обусловили в ием, в русском народе, в русском человеке это свойство — терпение. Но ие терпение всепрощенчества, а осознание той необходимости, которая приведет в конечном счете к торжеству справедливости. Отсюда берут свои начала в Павле Демидове, как и во многих характерах героев А. Иванова, и, пожалуй, наиболее отчетливо в Панкрате Назарове, Иване Савельеве в романе «Вечный зов», к склонности к размышлениям, раздумьям, философскому осмыслению действительности. Именно таковы раздумья, высказываемые вслух или «идущие» вереницей мыслей про себя, Павла Григорьевича о гармоничном начале природы, о нерасторжимой связи человека с землей, о нескончаемом борении добра и зла. Его склонности к раздумьям поддерживаются и встретившимся на его пути председателем райисполкома Агафоиовым, который, кстати, утвердил Демидова в суждении о подлинной справедливости, которая может быть постигнута тогда, когда человек в нашем обществе «обнаружит в себе человека».

Если исключить высоту надежд на будущее, то тогда нельзя понять и принять способности человека стойко переносить лишения, тяжкие испытания. А высота эта определялась той самой справедливостью, о которой человек слагал сказки, легенды, во имя которой шел на правый бой с иноземными захватчиками и боярами и крепостниками.

Вера в справедливость, когда она нашла свое научное обоснование в трудах вождей и теоретиков пролетариата, обрела конкретную цель для своей реализации, воплощения в жизнь посредством пролетарской, социалистической революции. Вот почему истинны слова о том, что наша революция была выстрадана народом и по духу своему, по содержанию своему была подлинно народной. Терпение тем самым было своеобразным аккумулятором духовной энергии человека и народа. Потому что вечным огнем души горела в нем вера в победу истинной справедливости.

Нигде герой А. Иванова не допускает и мысли о несправедливости революции, новой жизни, не возводит собственную «покатившуюся под откос» по навету Дениса Макшеева судьбу во вселенскую несправедливость. Народное чутье подсказывает ему, что не Денис Макшеев и подобные ему «человеческие выродки» определяют ход событий, движение истории. Напротив, они пользуются «сбоями» в движении нашего общества, когда на какое-то мгновение казалось, что накал правды, справедливости, законности ослабевал. В полутьме, в сумерках, можно было не только ограбить человека, но и ранить душу, искривить судьбу, зажечь свое «волчье око» и жить обманом. Свет жизни не оставит следа ни от сумерек, ни от «волчьего ока». Тот самый свет, что принесла с собой на нашу землю Правда Революции.

Стало быть, терпение и склонность к раздумьям отнюдь не означают пассивности, непротивления или озлобления. Скорее эти свойства дают возможность человеку осознать истинное понимание добра, справедливости, которые он должен воплотить в дело, претворить в жизнь. И не только в том, чтобы посадить дерево, не только в традиционном: «учитель, воспитай ученика», но в главном — человек, вырасти человека. Не вырастишь ты, вырастит общество, вырастит на принципах справедливости и гуманизма, как это произошло с сыновьями Григория Бородина и Константина Жукова. А когда ты, казалось бы, изломанный, но не сломленный, искрученный, но не вывернутый, а оставшийся при этом человеком, видишь свою цель в том, чтобы оставить людям по себе память в судьбе другого человека, тогда ты человек, органично связанный с нашей правдой, человек, слитый воедино с самим обществом высшей справедливости, каким является наше, социалистическое общество. В этом невысказанное прямо, но выраженное в посвящении повести М. А. Шолохову родство судеб Андрея Соколова и Павла Демидова. А потому частная судьба вбирает в себя судьбу народную. И когда художник именно так воспроизводит жизнь своего героя, он даже в малой форме достигает высот эпического начала, которое и выводит его к обобщениям, которые позволяют говорить не просто о частной судьбе Андрея Соколова, а о судьбе человека, не просто о жизни Павла Демидова, а о жизни на грешной земле. На той земле, где все созидается или отрицается именем завоеванной в труде и в борьбе человеческой справедливости.

Бор. Леонов

Постижение подвига

По-разному складываются писательские судьбы, начало которых связано непременно с выходом к своей теме, к своему герою. Одни сразу находят «себя», свой мир и свою тему в литературе, другие — после долгих лет упорных поисков. Вадим Кожевников принадлежит к числу первых. Он вступил в литературу в конце 20-х — начале 30-х годов, отмеченных невиданным героизмом мирного созидания нового общества, который нес в себе, несомненно, отсвет великих побед революционных лет Октября и гражданской войны. Причастность к жизни революционного народа была определена уже с самого детства писате-

ля, который родился в 1909 году в далеком Нарыме в семье ссыльных революционеров. О своем детстве он рассказал в романе «Заре навстречу». Там, в кругу родителей и их боевых товарищей, постигал будущий писатель нравственные истоки подвига, свершающегося в борьбе за новый социальный строй. А в 20-х годах, будучи студентом Московского университета, своим трудом постигал суть героического в созидании социалистического общества. С командировочными удостоверениями «Комсомольской правды», журналов «Огонек» и «Смена» он ездил по стране, видел и находил подлинных героев своего времени, которые затем становились героями его рассказов — «Гневное море», «Гудок», «Сорок труб мастера Чибирева» и др.

Ранние рассказы Вадима Кожевникова рождаются как бы из двух источников. Одного: увиденного, услышанного от бывалых людей, бывших фронтовиков, красных партизан, и другого: испытанного самим художником, пережитым в жизни и труде. Это же можно обнаружить и тогда, когда мы обращаемся к его повестям 30-х годов, созданных буквально накануне войны: «Степному походу» и «Мальчик с окраины».

Повесть «Степной поход» идейно-тематически связана с циклом рассказов писателя о партизанах и первоконниках, которые были написаны в начале тридцатых годов. Среди них такие, как «Пироги», «Акварели», «Веселый человек» и др. Пожалуй, наиболее характерным здесь предстает рассказ «Акварели» (1933).

Жизнь свела автора с председателем райсовета, человеком скупым на слова. И внешне он был суров. С ним автор познакомился, когда собирал материалы о Первой Конной.

«Этот человек прошел в ее рядах все фронты. О подвигах его рассказывали удивительные истории. Вот одна из них.

В районе оперировала крупная банда. Руководил ею ветеринарный фельдшер. Отрядом «крестьянского интернационала» называла себя эта банда.

Отправившись в банду один, он назвал себя делегатом, потребовал созвать митинг. На митинге он прочел приговор, вынесенный главарю банды за грабежи и убийства. И тут же, обернувшись, застрелил фельдшера из нагана.

Он был рядовым конником, и путь его от бойца до председателя райисполкома — путь труда, упрямой учебы».

В героях своих рассказов о первоконниках, участниках гражданской войны видел В. Кожевников истоки героизма трудовых будней, улавливал в преемственности подвига сам пульс эпохи, а в современниках обнаруживал черты прямых наследников старших поколений революционеров.

Собственно говоря, этот принцип соотнесения героики боев и героики труда навсегда останется в его творчестве и превратится в основной принцип «проявления» характера героя, особенно во всем, что создал художник после Великой Отечественной войны. Но ведь именно этот творческий «почерк» обнаруживался уже в рассказах 30-х годов, затем в рассказах о героях Великой Отечественной и прежде всего в его капитане Жаворонкове и радисте Михайловой, с которыми мы познакомились в рассказе «Март — апрель», а затем в таких широкоизвестных его произведениях, как «Знакомьтесь, Балуев!», «День летящий», «Щит и

меч», «Особое подразделение», «В полдень на солнечной стороне».

Эта соотнесенность подвигов ратного и трудового являлась критерием в оценке подлинности человеческого в характере персонажей, а само жизнеописание человека-борца становилось утверждением подлинного героизма. В таком служении народу выработался и новый тип советского художника с его эстетической и гражданской программой творчества, о чем сказал В. Кожевников так: «Советский писатель — не наблюдатель жизни, а активный ее строитель. Свою профессию писатель не может рассматривать только как личное дело, он должен находиться всегда в боевой готовности, чтобы по призыву партии и государства перестроить свою творческую работу в том направлении, в каком на новом историческом этапе устремляются усилия всего народа. Советский писатель относится к своему творчеству как к трудовому подвигу, исполненному духом самоотверженности, ибо талант — это и есть способность к длительному трудовому напряжению в борьбе за совершенство».

За этими словами писателя был уже и собственный опыт. В частности, опыт работы над повестью «Степной поход». Она создавалась в годы, когда в небе Европы сгустились тучи войны, к которой готовилась фашистская клика Германии, когда об этом в полный голос заговорила советская литература словами Горького и Макаренко, Островского и Лавренева, Вишневского и многих других. Писатели звали соотечественников к духовной мобилизованности. К этому звала и повесть «Степной поход», посвященная подвигу рабочих-железнодорожников в годы гражданской войны.

История создания повести была такова. В канун десятилетия Первой Конной Вадим Кожевников получил задание от редакции «Огонька» побывать на месте боев С. М. Буденного под Царицыном, съездить на родину легендарного командарма, повстречаться с его родными, близкими и боевыми друзьями. Заручившись, помимо редакционного удостоверения, мандатом самого Семена Михайловича, молодой писатель побывал на местах боев, встретился с бывшими бойцами Первой Конной, которые оказали ему, «человеку Буденного», радушный прием, открыли перед ним всю правду минувшего в откровенных доверительных рассказах о прожитом и пережитом. Многое узнал В. Кожевников в ту поездку и о мужественных рабочих-железнодорожниках станции Котельниково, об их подвигах в годы войны.

«Я нашел редкие документы и записи, — вспоминает писатель, — рассказывающий о том, как железнодорожники станции Котельниково, собрав красные отряды, двинулись на помощь осажденному Царицыну. — На практике осуществлялась одна из великих ленинских идей об авангардной роли рабочего класса. Тогда я воочию увидел, какую организующую роль в местных условиях выполняли железнодорожники, представители рабочего класса».

Эти события, запечатленные самими участниками в своих записках, и многое из того, что было услышано и увидено В. Кожевниковым во время поездки по Сальским степям, составили основу повести «Степной поход», которая вышла в свет в 1940 году.

Шел 1918 год. Героически оборонялся Царицын, окруженный

врагамн. Кольцо осады сжималось. Требовалась помощь. И о том, как органнзовывалась оиа, как ковалась победа, рассказывала история подвига рабочих-железнодорожннков станции Котельнниково Владнкавказской железной дороги.

Во главе с большевиками-лениицами — машинистами Андреевым, Костнным, недавно демобнлнзованным Никнтой Мальцевым — котельниковцы не только превратнлн станцию в боевую крепость на железной дороге, но н сумели, вопрекн подрывной деятельиостн виутрипартийиых врагов н предателей, объедннить в регулярную часть Красной Армии разрозненные партизанские отряды из казаков н ииогородних.

Первые же страницы повести вводят в тревожиую обстановку станцнонной жизни. Начальннк станцин Котельниково Алексей Петровнч Маслюков обеспокоен отнюдь не положением дел на фронте. Его больше волнует то, что ревком игнорирует его «указаиия», не выполияет его «распоряжения», не считается с его положением. Маслюкову автор уделил большое внимание потому, что его ннтересовал тнп соцнал-предателя, тот самый тип, который был продолжен н окончательно завершен в зловещей фигуре Георгня Савнча в романе «Заре навстречу».

Для таких, как Маслюков и Савич, важна не революция во нмя счастья, свободы Роднны, народа, а онн сами в ней, точнее — их место в жизнн, которое можно получить посредством н своей «революциониой» репутации.

С предателями революцни, с партизанщнной, с открытымн врагами — белобандитамн генерала Гнилорыбова, с голодом, с разрухой приходнлось вестн борьбу ревкомовцам станцнн Котельниково.

Вот как выглядела общая обстаиовка, в которой выиуждены были жнть н сражаться железнодорожннкн.

«Ревком постаиовил послать иаиболее сознательных рабочнх в стаиицы для укреплеиия властн Советов. Костин знал, какую огромную ответственность он прннял на себя.

На станции стояли эшелоны, груженные хлебом. Их нужно срочно отправнть в Царицын для голодающих Москвы и Пнтера. Банды разрушали пути и связь, приходнлось держать наготове постоянные ремонтные бригады н эшелонам приходнлось придавать охрану нз тех же железнодорожников. Охрана мостов, нефтекачек, водокачек, пакгаузов также ложнлась на железнодорожииков. Онн же дежурнли в окопах, сооруженных вокруг станцин. Люди требовалнсь всюду. Железнодорожникн, выполняя свои повседневные служебные обязанностн, почтн все числились за какимн-нибудь постами обороны. Людн ходили на работу с оружнем н после работы отправлялнсь не домой, а в свои отряды, где проходилн военное обучение, или в окопы. Отправка большой группы рабочнх в станицы н к партизанам снльно ослабляла обороноспособность станцнн.

Но иного выхода не было. Оставалось либо с помощью этих рабочих создать в стаиицах мощные резервы из бедняцкого крестьянства н казачества, либо ждать, пока сплотившиеся кулакн разгромят Советы н обрушатся на одинокие пролетарские островки железиодорожных станций».

Видимо, сам пнсатель понимал некоторую инородность в ткани произведеиия такой ннформацнн. И тем не менее пошел на это, нбо такая «сводка» с места событий привносила в повество-

вание необходимое для прозы В. Кожевникова ощущение исторической подлинности, достоверности происходящего. На протяжении всей повести он еще неоднократно будет прибегать к этому приему. И тогда, когда будет рассказывать о том, как были вовлечены в борьбу женщины, как были отбиты банды от станции, каким изнурительным был поход отряда котельниковцев и партизан на помощь Царицыну. И, кстати, там, где писатель следует жизненной логике развития действия, там он убедителен и точен.

Особое внимание В. Кожевников уделил героям, в которых явственно проступало «средоточие» главных сил революционных событий, что позволяло яснее представлять сам смысл происходящего. Это ревкомовцы во главе с Василием Костиным, станичники-казаки, представленные стариком Храмовым с сыновьями, и, наконец, партизаны во главе с прославленным командиром Афанасием Дитюком.

Сегодняшнему читателю эта повесть расскажет не только о том далеком прошлом, где в битве с врагами революции во всей своей мощи и красе раскрылся героический характер человека революции, но и раскроет те самые движущие силы непобедимости народа, которые выстояли перед огненным смерчем войны, накатившейся на нашу землю в июне 1941 года. Она еще раз подчеркнет непреходящее значение важной роли партии, рабочего класса в истории страны, которые и сегодня определяют наше победоносное шествие к вершинам коммунизма.

Родина наша высоко ценит созидательный труд. В том числе и труд художника. В. М. Кожевников за повести «Особое подразделение» и «Петр Рябинкин» удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Роман «В полдень на солнечной стороне» отмечен первыми премиями ВЦСПС и Союза писателей СССР и Министерства обороны СССР.

В канун 57-й годовщины Великого Октября группе писателей, в том числе и В. М. Кожевникову, Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в развитии советской литературы, активную общественную деятельность и в связи с 40-летием со дня образования Союза писателей СССР было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Отвечая на высокую награду Родины, писатель говорил: «Мы, писатели, должны еще раз внимательнейшим образом проверить готовность своего арсенала средств художественной выразительности, чтобы быть на высоте тех огромных задач, которые поставила перед нами, работниками литературного фронта, наша партия».

Л. Борисов

Антология героического рассказа

В этом томе приложения «Подвиг» редакция вновь предлагает вниманию читателей «Антологию героического рассказа». Подобный раздел появился в нашем приложении год назад и вызвал к себе интенсивный интерес. В обширной почте, поступившей в адрес приложения, содержались многочисленные просьбы продолжить это начинание. Поэтому редакция с удовольствием идет навстречу пожеланиям своих подписчиков.

Предлагаемая «Антология» хронологически более объемна, она не имеет столь четкой привязанности к определенному периоду истории нашей страны. Если попытаться сформулировать ведущую тему этой подборки, то прозвучит это так: «В жизни всегда есть место подвигу».

КОНСТАНТИН СИМОНОВ. «В свои восемнадцать лет». Размышления о подвиге комсомольца Анатолия Мерзлова. Известный советский писатель не случайно дал такой подзаголовок своему очерку. Ему, всю свою писательскую жизнь имевшему дело с военной темой и с ее неотъемлемой составной — героикой, подвигом, необходимо было самому осмыслить, «составить собственное представление о происшедшем, а главное, о тех нравственных выводах, которые из этого следуют...». Поводом к этому был вопрос, содержавшийся в ряде писем, пришедших в «Комсомольскую правду» после опубликования корреспонденции о подвиге Анатолия Мерзлова. Задававшие этот вопрос соглашались с тем, что да, это мужественный поступок, но имелся ли смысл в смертельном риске, стоило ли рисковать человеческой жизнью ради спасения техники — трактора, соизмерима ли цена того и другого?

Вопрос, как видим, непростой и категорично на него сразу не ответишь. Тем более что авторы его искренни в своем сострадании и сердечной боли. Поэтому для писателя прежде всего было необходимо ощутить самому, а затем передать и другим ту нравственную атмосферу, ту духовную среду, в которой вырос и сформировался Анатолий Мерзлов. Симонов делает это просто и убедительно. Он находит в отношении родителей к своему совсем еще юному сыну важнейшую и определяющую черту — уважение. Горе их глубоко, оно с одинаковой силой и с одинаковой болью существует в них и когда они говорят о сыне и когда молчат о нем: «Мать и отец погибшего Анатолия, люди стойкие и глубокие. И пока я говорил с ними, мне через них, через их человеческие личности, через их взгляд на жизнь, через их собственное отношение к поступку погибшего сына постепенно открывалась и личность того восемнадцатилетнего юноши, которого я уже никогда не увижу и никогда не спрошу, как он сам-то смотрит на свой поступок — стоило ли рисковать своей молодой жизнью из-за «железки», как выразился о тракторе автор одного письма...» И далее: «Родители Анатолия Мерзлова говорили о своем сыне с уважением. Это слово точнее всего определяет то главное чувство, которое стояло за всем, что они рассказывали. Не умиление, не восхищение, а именно уважение. Он рос в их семье и вырос в человека, которого они уважали. Уважали его отношение к людям и к делу, к младшему брату и сестре, к молоденькой жене, к товарищам. Они уважали его за то, как он работал, с какой любовью и ответственностью относился к порученному ему делу и как к части этого дела — к тому старенькому, но отремонтированному им и безотказно работавшему трактору, который он решился спасти от огня. Они не изумлялись и не восхищались этим поступком своего сына. Они испытывали к своему сыну более прочное и сильное чувство — чувство глубокого уважения».

В данном случае весьма значительно и важно то обстоятельство, что над поступком восемнадцатилетнего парня размыш-

ляет человек, за плечами которого Халхин-Гол и Великая Отечественная, который в полной мере знает цену истинному и неистинному и потому имеет право определять и оценивать. Тридцать суток боролся Анатолий Мерзлов со смертью, и никто ни разу не услышал от него ни одного слова жалобы или отчаяния. Его первый вопрос был: «Как трактор?» Ему сказали неправду, которая была в тот момент необходимой правды. Для него было очень важно: цел ли трактор? И здесь писатель говорит с читателем коротко и по-солдатски точно, как бы проводя незримую прямую линию от подвига мирного к подвигу военному: «Если бы это было для него неважно, он бы не спрашивал. О неважных вещах в таких случаях редко спрашивают». И мы не можем не почувствовать убедительную силу личного опыта, стоящую за этой простой и жесткой интонацией.

Для писателя самым главным было убедиться — и он убедился в этом, тем самым убедив и нас, читателей — в том, что смертельный риск, на который пошел Анатолий, спасая свой трактор, не был бездумным, импульсивным поступком. Машина, в которую он вложил столько души и труда, стала как бы частью его самого, и спасал ее человек, владеющий собой, твердый и решительный, понимавший всю меру опасности, но веривший, что сумеет вывести трактор из огня, ибо «самообладание было воспитано в нем всею недолгою жизнью, а мгновенность решения обусловлена обстоятельствами». Он считал, что должен спасти трактор и может это сделать. Ему некогда было измерять степень риска. Очевидно, в этом и заключается нравственная сущность подвига, поступка, который тому, кто его совершает, меньше всего мыслится в это мгновение своей жизни героическим.

«В поступке Мерзлова, — пишет Симонов, — есть нечто, ставящее его в моем сознании в один ряд с солдатами, заставляющее думать о нем, как о человеке, не только готовом первым броситься в огонь, спасая свой трактор, но и при других обстоятельствах готовом первым подняться в атаку. Кстати, первому подняться в атаку — это почти самое трудное, если не самое трудное на войне...»

ВИЛЬ ЛИПАТОВ. «Генка Пальцев, сын Дмитрия Пальцева». Писатель Липатов по рождению сибиряк, и этим все или почти все сказано о его героях. Именно о героях, о тех, кого писатель помещает в центре нравственного климата своих произведений. Они чужды какой-либо позы, они в высшей степени надежны и основательны. Их отношение к жизни является отношением к делу, которым они заняты. Это люди прямой проекции, одинаково цельные по характеру в бытовых и рабочих ситуациях, которые, собственно, для них и не являются разъемными. Его тяготение к герою личностному, к человеку значительному по духовному складу своему очевидно и художественно оправданно. Один из его героев — деревенский детектив, участковый Анискин — особенно полюбился читателям. И надо признать, что они, безусловно, правы в своем отношении к этому человеку, созданному творческой фантазией писателя и его умением видеть и помнить.

Полюбился участковый Анискин и автору, ибо, кроме по-

вести «Деревенский детектив», персонаж этот присутствует и в целом ряде рассказов. В частности, и в том, который предлагается читателям в настоящем томе.

Характерной особенностью писательской манеры Липатова в обрисовке характера и портрета своего героя является своеобразная «дегероизация» его. Он «грандиозно толст»; его ноги, обутые в валенки, «действительно походили на слоновьи»; он «прицыкивает пустым зубом»; платок свой, завернув в него обломок кирпича, бросает ребятишкам, чтоб те его намочили, «размахнувшись по-бабьи»; руки он «неторопливо выкладывает на пузо»; глаза у него «выкатываются по-рачьи»; ноги переставляет он «по-слоновьи нелепо» и т. д.

От Анискина исходит спокойная и уверенная сила. И Липатов мастерски изображает это. И собственной авторской интонацией, и своеобразием речи самого Анискина, подчас косноязычной, но тем не менее удивительно точной и существенной.

Но, может быть, самое главное и самое удивительное в Анискине то, что не регламентировано его прямыми обязанностями. Да, он и сам потрясен преступлением Генки Пальцева: тридцать два года он участковый, кражи были, драки были — убийств не было; да, он бесстрашно идет прямо на пистолет, ибо на его стороне более сильное оружие — правота и правда. Полуграмотный участковый Анискин подлинный педагог и учитель жизни. В гораздо высшей мере, чем учитель по образованию и по должности Владимир Викторович. До всего есть дело Анискину. Он чувствует себя хозяином на земле. Он добр практически, а не отвлеченно: «Думалось участковому о разной разности — у Колотовкиных потерялся теленок, пятый день нету; Мурзины ждали сына из армии в отпуск и потому вполне свободно могли настраиваться на варку самогона; в первой бригаде колхоза запропастились две бороны — старых, но ловких для конской запряжки; у Панки Волошиной опять ночевал Ванька-тракторист, парень на двадцатом году, которого родители собирались женить; рыбак дядя Анисим приторговывал на сторону запрещенной к лову стерлядью...»

Был Анискин молод в героическое время, когда не на жизнь, а на смерть с кулачьем драться пришлось. Отец Генки Пальцева, Дмитрий Пальцев, по ряду деталей (имея в виду только этот рассказ) в кулацкой банде был, смерти избежал, но, как был подкулачником, так им и остался. И сына своего вором и бандитом взрастил. Разговаривает с ним Анискин, а сам все дальше и дальше уходит от него: «Вот уж совсем далеко-далеко дрожал заупокойный голосок Генки, застилались туманом его слова; частой, как бы комарной сеткой весь покрылся он — уже не тело и голова жили отдельно друг от друга, а Генкин отец — Дмитрий Пальцев — сидел в темной милицейской комнате. Он сидел, смотрел на Анискина глазами русской богородицы, и под участковым вдруг покачнулась табуретка, уплыл из-под ног пол... Пахнуло сырой прелью оврага, ударила в зрачки большая зеленая звезда; ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов; заболел под левым соском звездчатый шрам, и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови, что текла в зеленый луч звезды...» Стрелял Дмитрий Пальцев в Анискина, стрелял. Потому нет в сердце участкового страха, а только горечь: «Ну на какой

хрен, Генка, ты есть такой? Вот на что ты есть такой, Генка?»

И еще деталь: когда участковый Анискин шел брать Генку Пальцева, «по-молодому пела далекая гармошка... Гармошка пела волнующее: рассказывала, как собирались комсомольцы на гражданскую войну, как пожал он подруге руку и глянул в девичье лицо; про небольшую рану, про мгновенную смерть рассказывала гармошка, и остановился Анискин, так как о его молодости, о нем самом пела гармошка...».

Та же прямая линия, которая связывает в Анискине личное с общественным, связывает его молодость с сегодняшним днем — героику времени с повседневной и малозаметной героикой быта текущих дней.

ЕВГЕНИЙ НОСОВ. «Красное вино победы». Имя писателя Носова неотделимо от современной литературы, повествующей о прошлом и настоящем деревенской жизни. Урожденец Курской области, он навсегда впитал в себя цвета и запахи родной земли. Его письмо подробно и подлинно. Глаз писателя, помноженный на глаз художника (а Носов — художник) позволяет ему добиваться удивительной точности изображения. Он абсолютно органичен с землей среднерусской деревни, и достоверность его писательской манеры такова, что описываемое им становится осязаемым для читателя: поле шумит, как поле, луг пахнет лугом и свет ощущается как свет и хмарь как хмарь. Умение воссоздавать на листе бумаги живой ландшафт позволяет Носову находить яркие краски и полнокровные подробности, которые говорят о жизни людей в деревне, о сложных хозяйственных и психологических сдвигах, происшедших и происходящих в ней. Главной темой творчества Евгения Носова является психологическая взаимосвязь человека, обрабатывающего землю, и земли, кормящей его.

Но, кроме этого, писатель знает, что такое война: в 1943 году восемнадцатилетним юношей он ушел на фронт. И этот этап не мог не найти отражения в его творчестве.

Рассказ «Красное вино победы» — своеобразный сплав двух линий в писательской практике Носова. ...Весна 45-го года. Госпиталь в Серпухове. Пал Будапешт. Взята Вена. Палатное радио не выключается даже ночью. Вот-вот окончится война и придет победа — все чувствуют это. Все — десять загипсованных и замотанных бинтами солдат в палате госпиталя. Но перед тем, как пройти по полям войны, они все ходили также по полям — пахали, сеяли, убирали хлеб, косили сочную траву, занимались простым и великим крестьянским трудом. И в преддверии победы их мысли и чувства обращены туда, откуда они ушли в огонь войны. В палате представлена едва ли не вся география страны: Урал, Алтай, Пенза, Сибирь, Мезень, Волга, Молдавия, Курск. Еще гремят под Берлином последние залпы, а здесь, в палате Серпуховского госпиталя пахнет весенней свежевспаханной землей — так живо и ясно представляет себе каждый из них свой край, свой завтрашний несмертельный труд.

В центре этой группы стосковавшихся по земле людей — солдат Копешкин. У него перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки. Он замурован в сплошной нагрудный гипс, голова прибинтована к лубку. Он лежит только навзничь, и обе

руки загипсованы до самых пальцев. Практически он абсолютно недвижим. На войне Копешкин справлял иехитрую крестьянскую работу — был в нзвозе, возил за батальоном солдатскую поклажу, ухаживал за лошадьми. Одиажды нарвались иа немецкую батарею, и те нх разметали в дым...

И наступнл час Победы. И к госпиталю устремнлись люди со всего города — онн не могли одни переживать эту радость. И Дед, начальнhк госпнталя, распоряднлся выдать в палаты вина, и начхоз расстарался — достал его. И чемодаиное настроеине в палате, и возбужденио-гордые разговоры — чей край богаче и краше. И только Бородухов заметил средь веселого этого гомона, как шевелит пальцамн Копешкин, как он тоже силится сказать, что у него, в Сухом Жнтеие, ие хуже, чем где-либо: «Хорошо тоже...» — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкниа... Копешкин пытался еще что-то сказать о свонх местах, но не смог, обессилел и только облизал иепослушные губы».

Стояла где-то там, в иеведомом краю, не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами — сказалось, что никто из них ничего не знал об этой самой пензенской земле — копешкинская деревенька с загадочным названнем — Сухой Жнтень, вполне реальная, зримая, н для самого Копешкнна — центр мироздания...

Носов стронт рассказ настолько реально, что ни на мгновение не возникает ощущеиня, что это все же не просто воспоминанне, а именно рассказ, хотя и на строго документальной основе, но рассказ с точиым соблюденнем закономерностей этого жанра. И самого себя он вводит в ткань рассказа просто и органично, ибо так это и было — не прибавнть н не убавнть.

Он пытается представнть себе эту копешкннскую деревию н машннально чиркает караидашом по клочку бумагн: «Нарисовалась бревеичатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калнтки, похожее иа переверкутый веник. Ннчего больше не придумав, я потяиулся и вложнл эту неказистую картинку в руки Копешкииа. Тот, почувствовав прикосновеиие к пальцам, разлепил векн и долго со вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал: «Домок прнбавь... У меня домок тут... На дереве...» Я понял, забрал лнсток, прирнсовал над деревом скворечник и вернул картинку. Копешкин, одобряя, еле заметио закивал заострившимся иосом... Прислонениая к рукам Копешкнна, до самых сумерек простояла моя картинка, н я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родиую избу. Мне казалось, что Копешкин тнхо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестиом для остальных Сухом Жнтеие. Но Копешкина уже ие было...»

Именно здесь выявляется художественная плоть и сущиость рассказа. Автор рнсует не просто копешкинскую избу о три окна н с домком на дереве перед домом. Это образ Россин. И будь на месте Копешкнна Бородухов, или Саша Самоходка, или Саенко, илн Бугаев — каждый нз них узнал бы на этом рисунке свой дом.

Унеслн нз палаты солдата Копешкнна, дожившего до Дня Победы и ушедшего в землю тем же дием. Но осталась и в ре-

альности и запечатленная в рисунке (или в слове!) копешкинская изба со скворечником перед калиткой. За то, чтобы она стояла на земле и он сам, и его товарищи по палате, и миллионы других солдат заплатили своей кровью — самым красным вином Победы.

АНАТОЛИЙ БЫСТРОВ. «Мать». У поэта Евгения Евтушенко есть такие строки в одном из ранних стихотворений: «Вся жизнь моя да будет подвигом, рассредоточенным во времени...» Можно оставить декларативно-обетную первую половину без внимания — точна другая: по смыслу и по форме. Подвиг, рассредоточенный во времени... Да, есть подвиг — поступок, и он высок и достоин памяти людской. Но есть и подвиг —жизнь человека, который не столь ярок и заметен и потому нуждается в дополнительном высветлении. И не менее, чем первый, заслуживает поклонения и славы.

Епистимия Федоровна Степанова родила за свою жизнь дочь Валентину и девятерых сыновей — Александра, Федора, Павла, Василия, Илью, Филиппа, Ивана, Александра (в память старшего), Николая. Сама она скончалась в 1969 году, в феврале. Ее хоронили с воинскими почестями рядом с величественно-скорбным обелиском, на котором начертаны имена всех ее девятерых сыновей...

Александр: старший сын, погиб в 1918 году. Ему было 17 лет. Сам атаман принял участие в избиении сына активистов бедноты — Степановых. Саша замешкался на хуторе, и здесь его схватили казаки. Его изуродовали, а затем расстреляли.

Федор: к моменту боевых действий на Халхин-Голе был командиром взвода. Геройски погиб в 1939 году, защищая советскую землю от японских захватчиков.

Павел: командовал взводом в 141-м гаубичном артполку 55-й стрелковой дивизии. Огнем встретил фашистов на границе в первый день войны. Судьба его неизвестна.

Василий: первый вожак комсомольцев хутора. С первых дней войны считался пропавшим без вести. Потом выяснилось — партизанил на Днепропетровщине. Взят в плен и расстрелян карателями в декабре 41-го.

Илья: кадровый военный, командир роты 70-й отдельной танковой бригады. Погиб 14 июля 1943 года на Курской дуге.

Филипп: красноармеец 699-го стрелкового полка. Умер в лагере «Форелькруз» под Падерборном.

Иван: комсомольский работник. Окончил военное училище, воевал с белофиннами. К началу Отечественной — командир пулеметного взвода 310-го стрелкового полка. В 41-м пропал без вести. Впоследствии стало известно, что воевал в партизанском отряде в Белоруссии. Его выдал предатель. Расстрелян карателями.

Александр: младший — «мизинчик», как его называли в семье. На фронт ушел последним из братьев. Добровольцем, в сентябре 41-го. Писал матери: «Мама, почему Вы тоскуете о нас? Наоборот, Вам надо гордиться тем, что у Вас столько сыновей на фронте с оружием в руках защищают любимую Родину. Скоро, мама, мы возвратимся домой с победой». Погиб при форсировании Днепра. «Патроны кончились. Тов. Степанов продолжает в упор расстреливать наседающего врага из личного

оружия. Уже свыше 15 солдат и офицеров убиты, враг наседает. Тов. Степанов погибает от взрыва собственной гранаты, вместе с ним гибнет от взрыва группа фашистских мерзавцев» (из наградного листа). Двадцатилетнему коммунисту, старшему лейтенанту А. М. Степанову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай: единственный, вернувшийся с войны. Пролежав несколько месяцев в госпитале, умер дома. Просил перед смертью, чтобы не оркестр играл на похоронах, а чтобы кто-нибудь сыграл на баяне походный марш.

Очерк Анатолия Быстрова в чем-то перекликается с очерком Константина Симонова. Семья Степановых была в центре сельской жизни. Даже за водой люди шли к ним, хотя колодец был в каждом дворе. Атмосфера их семьи — атмосфера совести, честности, доброты, бескорыстия, благородства. В этих простых истинах — высокие нравственные установки личности, которые выдержат — и выдержали! — самые суровые испытания. Это духовные истоки подвига.

«Мать жила в каждом из своих девяти сыновей и они все жили ею. Девять раз она повторилась в них. Как же велик ее девятикратный подвиг!

Простая русская женщина, она лежит у огня вечной Славы...»

СЕРГЕЙ ДИКОВСКИЙ. «Главное — выдержка». Если попытаться определить сущность творческой манеры Диковского-писателя и Диковского-журналиста — а он и в той и в другой своей ипостаси ставил перед собой одну и ту же конечную цель, — то можно, пожалуй сказать так: он искал и находил героическое в обыденном и обыденное в героическом. Диковский стремился раскрыть природу подвига, роль нового, социалистического сознания в поведении людей, в их отношении к труду и своим обязанностям, во взаимосвязи друг с другом. Он писал жизнь такой, какой видел — без лакировки, без сглаживания противоречий. «Сила художника, — утверждал Диковский, — проявляется прежде всего не в описании, а в осмысливании жизни».

Герои писателя — это люди долга и мужества, которое они черпают в сознании своей ответственности. В частности, такими людьми стали для него моряки-пограничники, о которых он написал шесть рассказов (задумана была книга) под общим названием «Приключения катера «Смелый». В этих рассказах действуют одни и те же герои — экипаж сторожевого пограничного катера, охраняющего советские воды и богатство от японских браконьеров, оснащенных первоклассной техникой. Борьба с ними требует сноровки, воинской выучки, мужества и выдержки. Этот цикл рассказов — наиболее совершенное художественное произведение писателя. В предлагаемом читателям рассказе, равно как и в других из этого цикла, Диковский создает для своих героев такие ситуации, в которых проявление мужества тесно сопряжено с преодолением собственных слабостей. И в этом заключается один из важнейших художественных принципов писателя — показывать не ходульных героев, а правдиво изображать самых обыкновенных людей, но которые силою обстоятельств попадают не в рядовые ситуации. И за этой правдой описания стоит другая правда — правда рождения муже-

ства и характера, сознание своего долга и ответственности государственного масштаба — правда побудительной причины героических поступков. Крохотный катер с единственной пушчонкой и два японских эсминца, которые удирали так быстро, «что вода летела через палубу. Вероятно, это были корабли высокого класса». Несколько советских пограничников на борту «Осака-Мару» и полутысячная толпа японских рыбаков, готовая к нападению. В конечном счете это моральное столкновение двух миров, один из которых терпит закономерное психологическое поражение. Кроме того, это просто интересно читать, настолько сочно и ярко написаны эти рассказы, настолько художественно убедительно показан исполненный романтики, риска и сложности быт морских пограничников.

ПАВЕЛ НИЛИН. «Модистка из Красноярска». Рассказ этот написан Нилиным еще до войны на материале гражданской войны в Сибири. Как и в рассказе Евгения Носова «Красное вино победы», здесь довольно явственно звучит тема искусства в героическом освещении.

После неудачного боя с белыми под Дударями бойцы двое суток идут через тайгу, идут из последних сил. И когда наконец набредают на жилье, то только один их них сумел забраться на печь, остальные полегли на полу. Мало того что бойцы потерпели поражение, мало того что исчерпаны после боя и перехода через тайгу все физические возможности, мало того что народ во взводе случайный, недавно собранный необстрелянный; самое главное в том, что наступила апатия, расслабленность. Надо скоро кому-то идти в ночное охранение, а не хочется: «...действительно, какие уж они теперь бойцы! Одежонка у них рваная, валенки разбитые, тела истомленные. Им бы домой сейчас. Да и домой-то едва ли они доберутся в таком состоянии».

И вот в избе появляются еще двое — старичок и юноша: Авдей Петрович Икринцев и неразлучный с ним племянник Ванюшка Ляйтишев. Они тоже, как и все, совершили этот переход через тайгу, но сохранили бодрость духа. Когда Икринцев укорил бойцов, что не положено военным людям сидеть без движения и походить по обличию на французов под Москвой в 1812 году, то все почувствовали себя немножко виноватыми перед стариком, у которого и полушубок и шапка были в порядке, будто не из тайги он вышел, а приехал с ярмарки, да и молодцеватый вид его внушал уважение.

В сущности, Авдей Петрович и Ванюшка, вдвоем, иронией и собственным бодрым видом добиваются того, что, возможно, и командирским окриком не сразу добьешься, — они поднимают боевой дух у бойцов. А затем Ванюшка Ляйтишев озорно разыгрывает Семена Галкина. Он так талантливо и убедительно изображает «модистку из Красноярска», которая на приглашение погреться и покушать говорит: «— Боюсь я вас, товарищи военные. Вдруг вы меня обескуражите...», и Семен Галкин «покупается» на этот розыгрыш. Полчаса назад Ванюшка сказал обиженному Семену, что тот, если он, Ванюшка, захочет, может очень сильно его полюбить. И Семен теперь пылко объясняется «модистке» в любви... Конечно, все кончается общим безудержным весельем. И «в избе стало светло, просторно и весело. Об-

щий смех взбодрил людей, освежил». Самобытный артист сыграл крохотную, но живую роль, поставил мини-спектакль. А когда веселье немного улеглось, старик Захарычев сказал Авдею Петровичу: «Артист». — «А что вы думаете? — не скрывая гордости, ответил Авдей Петрович. — Свободно может быть артистом. Ведь не все же артисты от бога приехали, некоторые и пешком пришли...»

Но комическую ситуацию тут же, без всякого перехода, сменяет трагическая. Внезапно вспыхивает бой, и Ванюшка умирает от тяжелой раны в живот. И в тот момент, когда он умер, в сенях раздался хохот. Это кто-то рассказал только что зашедшим бойцам, как Ванюшка Ляйтишев ночью показывал модистку из Красноярска. Захарычев одернул их, но Авдей Петрович говорит: «— Пусть смеются. Не мешай им — они солдаты... — А на рассвете следующего дня весь отряд передвинулся на Вятскую заимку, чтобы там соединиться с отрядом Субботина и начать наступление на Дудари. И на Вятской заимке во время ночевки бойцы опять вспоминали эту модистку из Красноярска, как ее показывал Ванюшка Ляйтишев. И опять смеялись. И никто, даже дядя, не вспоминал вслух о смерти Ванюшки. Будто смерти этой вовсе и не было...»

Остается после смерти солдата Копешкина образ его дома, за который он воевал по-крестьянски добросовестно и муки переносил стоически.

Остается после совсем юного Ванюшки Ляйтишева образ сыгранной им в тяжелую для бойцов минуту «модистки из Красноярска», некая своеобразно прозвучавшая «теркинская» нота, которая незримо сопутствовала разгрому белых и под Дударями, и дальше. Которая стала неотъемлемой составной частью героического подъема боевого духа. И в конечном счете — победы.

ВЛАДИМИР ЦЫБИН. «Камушки». Владимир Цыбин успешно работает и в жанре поэзии, и в жанре прозы. Плодотворность и качественность его творчества обусловлены его писательским талантом и человеческой основательностью. Его привлекает внутренний мир изображаемых им характеров, неявные мотивы, которые движут поступками героев и формируют их жизненное состояние. Отличительной чертой Цыбина является также любовь к природе, ко всему, что имеет живое дыхание. Единение с землей для него целостно и органично. Поэтическое видение окружающего мира не изменяет ему и тогда, когда он обращается к прозе.

В этом томе приложения мы предлагаем читателям рассказ из сборника «Капели», в котором соединены два временных плана — настоящее и далекое прошлое, не перестающее быть, не стирающееся из памяти героя, наполняющее его сердце «горькой нежностью к прошлой жизни».

Сквозной образ родничка, текущего глубоко под корнями, позволяет читателю понять и принять близко к сердцу неизбывное горе Ивана Назарова и в то же время восхититься мужеством и стойкостью человека, не сломленного этим горем. Ручей прячется под корнями карагача потому, что он слишком слабый, чтобы выжить в одиночестве. И, найдя его, Назаров осторожно прикрывает родник травой: «Теперь ему стало хорошо

и спокойно — так всегда бывает у человека возле чужой беззащитной жизни».

Здесь, много лет назад, уходил Иван Назаров со своей молодой женой Олей и ползунком-сыном от бандитской погони. Здесь, в начале горной тропы, остался навсегда комсомольский секретарь Тихон Сергеев, решивший, хоть на малый срок, да задержать бандитов, не дать им настигнуть председателя сельсовета Ивана Назарова. Здесь, рядом с поворотом горной тропы, что не шире двух конских копыт, сорвался в пропасть молодой жеребец Буран, на котором сидела Ольга, в самый последний момент успевшая бросить ребенка мужу, и белая клубящаяся тьма поглотила ее.

Теперь на том самом повороте, где погибла жена Ивана Назарова, проходит колея железной дороги, а из кабины паровоза, бегущего по ней, выглядывает Николай Назаров — их сын. Каждый год они встречаются с отцом здесь, на этом памятном для них повороте. Каждый год Иван Назаров выкладывает вдоль колеи линию из белых камней, которые он достает со дна реки Красной, линию, которую он начал десять лет назад. Горное эхо не возвращает ему голоса Оли, которая живет в нем навсегда, горько и нежно. Горы доносят до него лишь давнее эхо перестрелки...

Все они — Иван Назаров, Ольга, Николай и горы — соединены между собой невидной, но неразрывной нитью бывшего и сущего.

На малом пространстве рассказа Владимир Цыбин сумел эмоционально воссоздать значительный отрезок времени, ничуть, казалось бы, не стесняя себя экономией слов и лапидарностью фразы. Ему удалось главное — перекинуть надежный мост из времени во время, из прошлого в настоящее, из состояния Назарова на конской тропе до состояния Назарова у колеи железной дороги: «Назаров... долго отыскивал тот давний родничок, из которого выпрыгивали солнечные зайчики. Родничок еще струился, похожий чем-то на пламя новогодней свечи. «— Ну беги, беги! — ласково сказал ему, как живому, Назаров, почувствовав в себе оттого, что жив этот родничок, уверенное спокойствие за все сущее на земле».

Вс. Лессиг

СОДЕРЖАНИЕ

Под редакцией
О. ПОПЦОВА, Э. ХРУЦКОГО

Ч. Айтматов. «Первый учитель». Это рассказ о борьбе за новую жизнь в киргизском селе в первые годы революции.

А. Иванов. «Жизнь на грешной земле». Повесть Анатолия Иванова рассказывает о жизни советской деревни.

В. Кожевников. «Степной поход». Повесть переносит читателя в героический восемнадцатый год. Герои ее — бойцы и командиры Красной Армии.

Антология героического рассказа. В ней собраны рассказы советских писателей, посвященные подвигу наших современников.

Приложение к журналу «Сельская молодежь», т. 3. М., «Молодая гвардия», 1976. 384 с. 79 коп.

Редактор-составитель Э. Хруцкий
Обложка Е. Суматохина
Рисунки Е. Суматохина, В. Елецкого, Н. Михайлова, О. Вуколова
Оформление А. Шипова
Художественный редактор Н. Михайлов
Технический редактор Л. Коноплева

Сдано в набор 22/VII 1976 г. Подписано к печати 26/X 1976 г. А05193. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Печ л. 12 (усл. 20,16). Уч-изд. л. 23,9. Тираж 300 000 экз. Цена 79 коп. Зак. 1402.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 60 к.